

АНАТОЛИЙ МАРКУША

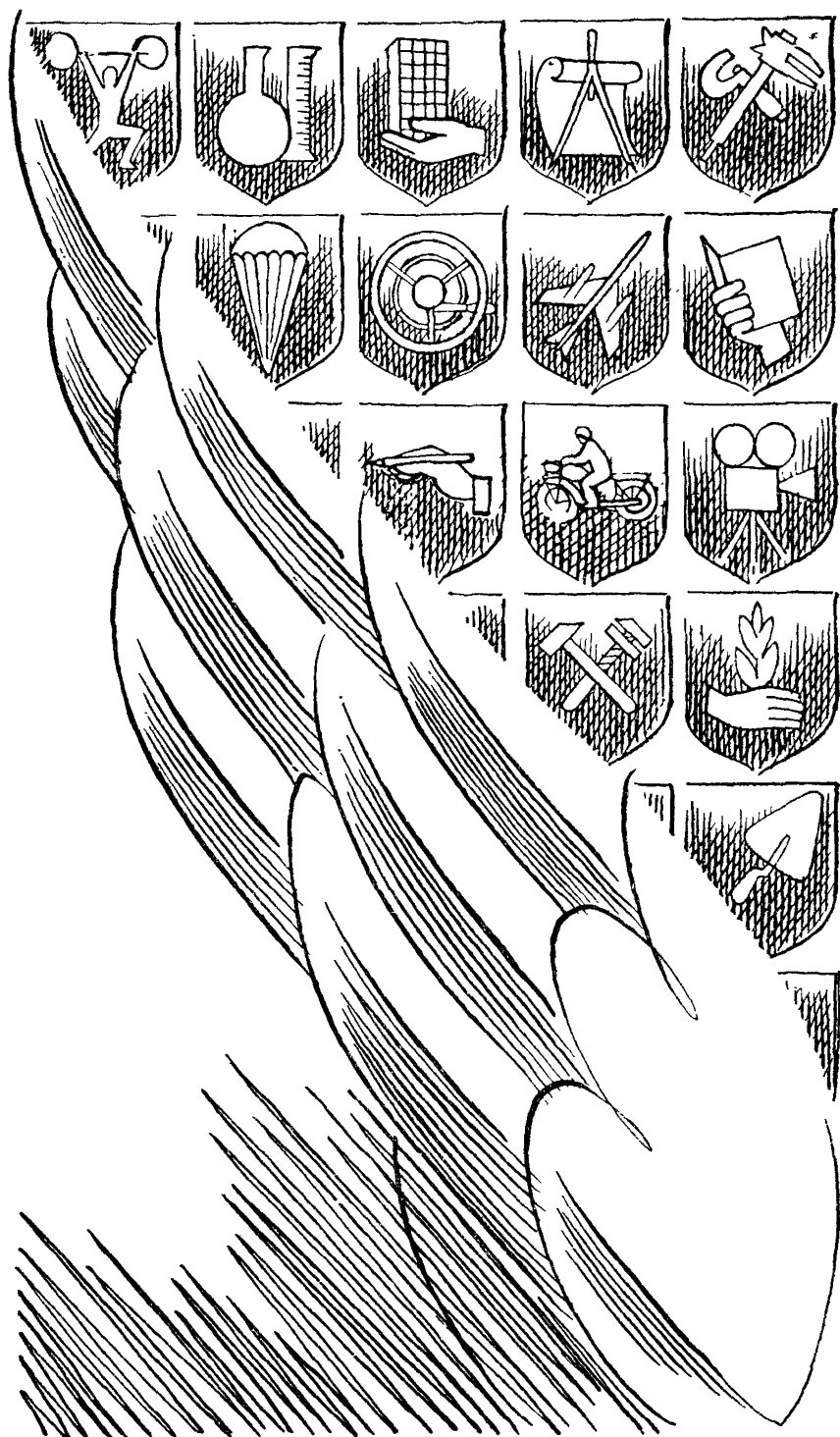
ЩИТ ГЕРОЯ



МОСКВА 1982

*Мастерство — оно в тебе.
В твоём сердце, в твоей голове,
в каждой частице тебя.
И талант тоже в тебе.*

Э. Хемингуэй



АНАТОЛИЙ МАРКУША

ЩИТ ГЕРОЯ

КНИГА, РАССКАЗЫВАЮЩАЯ
О ВСТРЕЧАХ
С ОЧЕНЬ РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ,
ЗНАКОМЯЩАЯ ЧИТАТЕЛЯ
С ПРОШЛЫМ И НАСТОЯЩИМ
ЕЕ ГЕРОЕВ
И, КАК НАДЕЕТСЯ АВТОР,
СПОСОБНАЯ ПОМОЧЬ МОЛОДЫМ
ПРОЛОЖИТЬ ВЕРНЫЙ КУРС
В ЖИЗНИ...



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1980

Маркуша А. М.

М27 Щит героя: Книга, рассказывающая о встречах с очень разными людьми, знакомящая читателя с прошлым и настоящим ее героев и, как надеется автор, способная помочь молодым проложить верный курс в жизни... — М.: Мол. гвардия, 1980. — 224 с., ил.

60 коп. 50 000 экз.

В новой повести писатель рассказывает о подростке, ищущем трудный путь к рабочему классу, путь, проходящий через профессионально-техническое училище. Прошрое, настоящее, будущее, сплавленное в единое целое, учит молодых людей честной, принципиальной жизни.

**ББК 84Р7
Р2**

**М 70302—014 63—60—31—79. 4700000000
078(02)—80**

Вот уже двадцать с лишним лет пишу я книги. Пишу преимущественно для молодых. И двадцать с лишним лет получаю письма от мальчишек и девочек, девушек и юношей. Писем пришло за эти годы около сорока тысяч, и едва не в каждом втором вопрос: как прожить жизнь с толком?.. как найти свою позицию в отношениях с коллективом, с друзьями, с родителями?.. можно ли отступать от принятого решения, а если можно, то в каких случаях?.. откуда берутся подлецы?.. что лучше, прощать или мстить за причиненное зло?..

И это лишь малая толика вопросов, что волнуют читателя.

Вопросы, вопросы, вопросы...

И отвечать на них рискованно: напишешь, как отрубил, с полной определенностью, а читатель сразу взъерошится — учит! Молодые очень не любят, когда их пытаются учить, особенно категорично и строго. Не ответишь — тоже худо: читатель вполне может подумать: «И все-то он врет, толкуя о добром отношении к людям, о теплоте дружеского участия. Какая доброта, какое участие могут быть, когда на простое письмо не ответил, на прямой вопрос не пожелал откликнуться».

И выходит — не отвечать нельзя.

Но как отвечать?

Молодым нужен опыт. И с этим согласны все — и бывшие подростки, выросшие в академиков, генералов, знатных рабочих и хлеборобов, и подростки нынешние, которым еще только предстоит стать новыми Гагариными, Карповыми, Плисецкими, Стахановыми... Даром, что ли, чуть не каждый день слышишь от молодых: «Если бы я тогда знал...» Или: «Ну кто мог предположить, что оно так кончится?»

В основу этой книги положен подлинный, неприукрашенный, самый истинный опыт. И единственное, о чем и мечтал, придавая этому опыту форму книги: пусть написанное пригодится мальчишкам, девочкам, всем-всем моим друзьям, и в первую очередь тем из них, кто очутился сегодня на распутье: налево пойдешь... направо пойдешь...

Конечно, чужой опыт не в состоянии заменить опыт собственный, но у этого опыта — чужого — есть одно безусловное достоинство: ошибки, совершенные кем-то, промахи, допущенные другим, куда легче оценивать объективно, чем свои собственные прегрешения. И это укрепляет мою веру: прочтенное может сослужить кому-то свою добрую службу: помочь не наломать дров в жизни, правильно сориентироваться в затруднительной ситуации, сохранить выдержку в критическую минуту. И если так случится на самом деле, если «Щит героя» кого-то защитит, заслонит, прикроет, и буду по-настоящему счастлив: ведь книги для того только и существуют на свете, чтобы помогать людям.

АНАГОЛИИ МАРКУША



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ...

Признаюсь в давнишней слабости — много лет я собираю и бережно храню географические карты. Для непосвященного карта что? — пестрый лист плотной бумаги, прорисованный голубыми венами рек, забрызганный кляксами озер, залитый морями и океанами, процарапанный тоненькими линиями шоссейных дорог. Непосвященному карта мало что говорит: Волга впадает в Каспийское море; Эльбрус возвышается над уровнем океана на 5642 метра; в Сибири лесов много, а в Средней Азии лесов нет...

Для человека посвященного картографические знаки превращают карту в живого собеседника, собеседника, способного и обрадовать, и огорчить, и многое напомнить. Карты помогают думать, учат любить землю, они вселяют тревогу за судьбы людей и мира...

В тот вечер передо мной лежали карты центральной части России, и я медленно «продвигался» от Владимира к Москве, стараясь проследить путь, которым прошла, проехала героиня моего будущего очерка. Взгляд мой скользил по извилям Оки и Клязьмы, по убывающим зеленым массивам, по четким квадратикам торфяных разработок, пока не достиг причудливого, расчлененного на многоугольнички с ответвляющимися во все стороны лучиками дорог изображения Москвы.

— В Москву, — кругло обкатывая «о», рассказывала Анна Егоровна Преснякова, — я пришла из деревни. Все молодые девчонки тянулись в город. И неудивительно: Аксеново наше без электричества еще существовало, без клуба, и нам казалось — город все равно что рай!

Рассказ Пресняковой я записал почти дословно. И занял он две тетради. Но живая запись всего лишь материал, из которого надо еще строить.

Было поздно, когда я решил сложить карты и закончить работу. И тут на глаза мне попался потертый, местами даже почерневший лист полетной пятикилометровки, лист Сталинграда.

Полустершимся простым карандашом были на листе этом отмечены артиллерийские позиции, жирно охвачены красным взятые в окружение части, крестами перечеркнуты полевые аэродромы. Это была старая карта моего друга и командира. Теперь Пепе — так звала его вся наша воздушная армия — уже нет в живых. А карта вот жива...

Ко мне эта пятикилометровка попала уже после войны. Петя подарил.

— На, держи на память, — и написал на верхнем обрезе листа: «Человек должен стремиться вдаль». — Когда-нибудь в му-

зей сдашь. Еще и заработаешь. Говорят, за ценные экспонаты большие премии дают.

Теперь я смотрю на потраченный временем сталинградский лист и вижу не карту — Пепе. Он был светлоголовым, летом волосы его выгорали чуть не до седины. Он был плотным, каким-то очень прочным человеком. И летал он как птица, и в полку никого больше так не любили, как Пепе. Хотя характер был у него далеко не сахар — взрывной, вспыльчивый, самолюбивый. Ему многое прощали за смелость, а еще больше за честность. Пепе был из тех, кто умрет, но не обманет, на куски даст себя разорвать, но не предаст.

Мне ведь совсем не о том надо думать, очерк-то предстоит не о Пепе писать, а об Анне Егоровне Пресняковой, но выпал из пачки старых карт сталинградский лист и повел меня совсем в другую сторону.

Неохотно складываю карты. Ложусь и долго не могу уснуть.

Видится Пепе. Он взлетает по тревоге, не успев надеть шлемофон, и его мягкие светлые волосы треплются, будто пламя на ветру. Он энергично разворачивается над самой землей и, прижимаясь к верхушкам густого соснового леса, берет курс на переправу. Иду следом за ним. Летать ведомым у Пепе трудно. Он маневрирует резко и неожиданно, моргнешь — оторвешься, а попробуй потом что-нибудь сказать, пожаловаться — усмехнется, сожурит свои синие глаза и выдохнет:

— Трудная у тебя жизнь, но ведомый — щит героя! Терпи!

Кто летал на войне, знает: ведомому могли простить упущенного немца, бывает — не достать! Но потерю командира в бою не прощали. Потому и придумал кто-то: ведомый — щит героя...

Утром решаю поехать в Парк Горького. Хочу походить по тихой набережной, не спеша рассказать себе, о чем буду писать. Это давняя привычка — прежде чем садиться к столу, «прослушивать» себя...

Набережная оказывается действительно пустынной. Прохладно. С Москвы-реки тянет низовой легкий ветерок.

Вызываю в памяти голос Анны Егоровны:

— Профессия у меня, конечно, не женская. Хорошо оно, плохо ли, не могу сказать. Трудно? Да, трудно. Устаю? Устаю. И это, считайте, плохо. А что хорошо? При мне ни один мужик на стройплощадке не заругается. Думаете, боятся? Как бы не так! Наши мужики ни бога, ни черта не боятся. Уважают. И это хорошо. А если кто говорит, что ему на чужое мнение наплевать, что на свой портрет в газете смотреть неинтересно, врёт! Или глуп. Человеку почет нужен. И еще скажу: пока строишь, и с управлением, и с рабочими, и с заказчиками то и дело в конфликты входишь. А через год или два пройдешь по новому кварталу и как последняя дура «своим» домам улыбаешься...

Вот так она говорила — спокойно, уверенно, а я смотрел на Анну Егоровну и думал: «На таких женщин обращают внимание на улице, оборачиваются вслед, хотя красивой ее не назовешь. Значительная она. Крупная. Моложавая. Голову несет высоко».

Анну Егоровну не первый год интервьюируют, она привыкла к славе и любит свою известность и почет, которыми давно окружена.

— Самое лучшее в нашей работе то, что в конце концов получается. Пришла на голое место, на свалку или болото, а уходишь, оставляя дом, квартал, бывает, целый город. Меня лично такая жизнь волнует, и привыкнуть к этому волнению я не могу.

Чтобы не спугнуть Анну Егоровну — никто не любит шмыгающих по бумаге карандашей, — я ничего не записываю, только повторяю про себя: «Значительность результата, значительность результата, значительность результата...»

— И ответственность у нас как нигде. С любой точки поглядеть — кругом ответственность! Вот пример: Эйфелева башня с 1889 года стоит. А паспорт у нее был только на двадцать лет оформлен, до 1909 года, выходит. А она стоит...

Помедлив, прищурившись, не глядя мне в глаза:

— Лично вас обижать не хочу, но скажу: написал человек что-то не так, вам укажут, подправят и никаких следов, а вот Останкинскую телевышку не очень-то отредактируешь...

Последний пример Анны Егоровны задевает меня, но я не возражаю. Молчу, потому что высоко уважаю наивную веру людей в абсолютную исключительность того дела, которому они служат.

Пожалуй, вот здесь надо представить Анну Егоровну Преснякову читателю. Кто она, эта женщина из Владимирской губернии? Бригадир отделочников, депутат Верховного Совета, известный и уважаемый строитель.

Особенность, которую нельзя не заметить с первого же знакомства, — Преснякова с удовольствием и знанием дела рассуждает о предметах, выходящих далеко за рамки ее бригадирского заведования. Это характерно!

И здесь полезно сделать отступление: кто хочет подняться над мастерком, над пилой или зубилом, может подняться. Пожалуйста, возносись при полном одобрении всей системы, управляющей нашей жизнью...

А кто бормочет: «Куда нам, мы люди маленькие!» — так это бесхарактерность, это лень пылит пустыми словами, прикидываясь пострадавшей.

Незаметно я дохожу до конца асфальтированной площадки и, остановившись около круглой беседки, раздумываю, идти дальше, к Нескучному саду, или вернуться?

Возвращаюсь.

И велю себе не отвлекаться.

Вспоминаю, что было потом.

Потом я попросил Анну Егоровну рассказать, как начиналась ее столичная жизнь.

— Ну приехала я, значит, в рай этот, а куда деваться? Жилья нет, специальности нет. Или на стройку, или в домашние работницы подаваться. Некоторые девчонки охотно тогда в домработницы шли. Они как рассуждали? На стройке работа грязная, не легче, чем дома, в деревне, была, а кругом все те же сельские... Пусть в чужой семье и не сладкое житье, зато можно свести знакомство с настоящими городскими. А там, обвыкнув, поживя, глядишь, и замуж выйти.

Анна Егоровна тех девочек не осуждала, но для себя сразу решила: в чужую семью не пойду. Выбрала стройку. Работать начала подружницей. Жила в общежитии.

— Не скажу, чтобы я в те годы часто плакала. От рождения характер у меня не плаксивый. Но, если честно признаться, другой раз просто выть хотелось. Ни знакомых, ни родных, пойти куда, не в чем. Пока приделась, обулась, городской вид приобрела, год почти прошел. Вот тебе и рай! А еще я старалась хоть сколько-нибудь денег скопить, от самой себя гривенники прятала. По-старинному мечтала: на черный день пригодятся...

Еще до знакомства с Пресняковой мне рассказывали, что ее стремительная карьера началась внезапно. Когда-то по этому поводу ходили всякие сплетни, но потом поутихли, рассеялись. Чтобы внести ясность, я осторожно навел Анну Егоровну на эту тему, и она легко пошла мне навстречу.

— Девчонкам на стройке всегда трудно. А раньше было еще труднее. Сейчас нас много, а тогда женщины-строители в меньшинстве находились. Терпели и ругань и насмешки — всякое тогда бывало.

Ну вот, приехал на стройку какой-то начальник. Говорили — шишка! Вокруг прорабы, мастера вьются, на задние лапы вскидываются. Со стороны поглядеть — цирк! А он направо и налево честит всех. Чего только язык его не выворачивал, передать невозможно. Теперь-то я понимаю: «своего в доску» начальник разыгрывал, пролетария изображал. Дошел до меня, спрашивает:

— Как, трах-тарарах, заработок, трах-тарарах, довольна ли? А мне так обидно стало, возьми и скажи:

— Между прочим, я женщина, и слушать ваши подлые слова мне противно!

— Женщина?! Трах-тарарак, так это еще проверить надо, трах-тарарах, убедиться...

Как я тут развернулась и ото всего плеча по физиономии ему съездила, не помню. Девка я была здоровенная: он и с подмостей брык...

Он брык, а меня с работы — брысь! «За нарушение трудовой дисциплины, граничащее с хулиганством». Ну и так далее...

Что делать? Жалостливые бумаги писать? На другое место идти? Обидно. Правда-то моя... Подхватила и прямым ходом

в приемную к Калинин. Рассуждение имела самое простое: Михаил Иванович — человек рабочий, должен мою обиду понять. Пусть изругает, что волю рукам дала, но вступится. Надеюсь я. Пришла в приемную, говорю: так и так, хочу лично к товарищу Калинин обратиться. И что же? Допустили.

Калинин выслушал Анну Егоровну, заставил начальника принародно извиниться и только после этого разрешил ему сдать дела. Давняя история, но Преснякова вспоминает ее с радостным изумлением:

— А кем я была? Ноль без палочки! Поддай, прими... После того случая перевели меня из подсобниц в штукатуры, потом малярничала, плиточницей работала, бригаду отделочников дали...

— Однако от бригадиров до звания депутата... — сказал я.

— Все тот же случай. Как меня на работе восстановили, девчонки и говорят: сходи, Нюрка, в трест, встряси новую спецуху, а то невозможно уже смотреть, в чем мы ходим. Ну я пошла.

— А ты кто такая? — спрашивают меня в тресте.

— Как кто? Работница. Преснякова моя фамилия...

— Ты к Калинин уходишь?

— Опять идти?

С того дня и пошло: в президиум меня, в местком, в райисполком...

Заметьте, Анна Егоровна старалась все отнести за счет случая, изображала дело так, будто забавная нечаянная история повернула ее жизнь, а о своей самоотверженной работе и словечком не обмолвилась. Такой уж характер — не хвастает!

После этого разговора я довольно долго не видел Анну Егоровну. Сначала она уезжала с делегацией строителей в Варшаву, потом была в отпуске, потом готовилась к какому-то ответственному республиканскому совещанию. И может быть, это к лучшему: было время подумать, взвесить, еще раз оценить узненное...

Как же должна была измениться бывшая деревенская девочка, случайно попавшая в столицу, поднявшаяся до высоты государственного деятеля? Ответить на такой вопрос нелегко.

И когда мы снова встретились, я спросил:

— Скажите, Анна Егоровна, что дала вам Москва за те годы, что вы живете здесь?

— Сначала Москва меня как есть переломала всю, потом собрала по-новому... Когда приехала, чего я только не боялась — трамвая, подъемного крана, милиционеров, а всего больше толпы.

— Говорите, боялись, а сами к Калинин пошли, — заметил я.

— Пошла. А думаете, не страшно было? Еще как! Только когда за правдой идешь, сама того не замечая, храбрее делаешься. — И Анна Егоровна взглянула на меня с вызовом: что, дескать, не согласны или я неправильно говорю?

«Это тоже надо запомнить, — подумал я, — когда человек идет за правдой, он делается храбрее...»

Тут я дошагал почти до самого Крымского моста и, поворачивая назад, случайно взглянул в сторону реки. Там на берегу, облокотясь на гранитный парапет, стоял паренек. Задумался. И хотя лица его было почти не видно, в фигуре, осанке мелькнуло что-то знакомое.

Отвлекаться от своих медленно катившихся мыслей мне не хотелось, но мальчишка молчаливо и настойчиво притягивал к себе. Помимо воли я приблизился к пареньку и, когда разглядел его как следует, замер на месте.

Петелин.

Трудно представить, чтобы сын мог быть так похож на отца: совершенно отцовские черты лица, и стать, и как две капли воды совпадающий рисунок глаз, губ, носа. Только волосы были темные, будто перекрашенные...

— Петелин? — спросил я.

— Допустим, Петелин, и что дальше? — не проявив никакого удивления, откликнулся мальчишка.

«Однако, — подумал я, — любезностью ты не страдаешь».

— Ты очень вырос, Игорь, и стал ужасно похож на отца.

— А почему бы мне не быть похожим на своего отца?

— Ты меня, конечно, не помнишь? — Я назвался.

— Фамилию помню, а в лицо нет.

«Надо же, вчера мне совершенно случайно попалась на глаза карта Пепе, а сегодня я неожиданно-негаданно встретил его сына», — мелькнуло в голове.

Впрочем, такая ли уж это случайность? Не попадись мне накануне карта Пепе, не засни я с мыслями о нем, едва ли обратил бы внимание на паренька, склонившегося над рекой. Во всем есть свои связи, более или менее заметные...

Мы уже довольно долго просидели на скамейке, а разговор все не налаживался. Я о чем-то спрашивал, Игорь отвечал.

— Что Ирина делает? — Ирина была старшей сестрой Игоря.

— Докторша.

— Довольна?

— Довольна.

— А мама?

— Ей-то чего? Завела себе мужа...

— Что значит «завела»? — спросил я, неприятно пораженный тоном Игоря и откровенно наглой улыбкой.

— Обыкновенно, как все заводят.

— Плохой, что ли, муж? — снова спросил я, пытаюсь понять, откуда идет совершенно открытая неприязнь. Игоря к этому неизвестному мне человеку.

— Ей нравится.

— А тебе?

— У меня не спрашивали...

— Слушай, Игорь, какой-то не такой у нас разговор получается.

— Так сами ведь завели. Ваш вопрос, мой ответ...

По реке медленно тянулись большегрузные баржи с песком. Обгоняя ленивый, неспешный их караван, проскочила пассажирская «Ракета». Почему-то подумалось: «И куда все спешат? Всегда, всюду...»

— Смотрю я на тебя и думаю о твоём отце, Игорь.

— Чего теперь думать? Думай не думай, батя это теперь без разницы, все равно ему.

— Виноват я перед твоим отцом... И ты и Иринка с глаз моих скрылись, упустил я вас из виду, можно сказать...

— Какая же тут вина? Пока вы вместе летали, он живой был. А за остальное вы не отвечаете.

Странное дело — я отчетливо понимаю, что Игорю нужна поддержка, что у парня какие-то неприятности, переживания, словом, человеку плохо, и никак не могу найти слов, которые я должен сказать ему.

И тут вдруг мне приходит в голову — ведь утро еще, значит, Игорю следовало бы находиться в школе, а вовсе не здесь, у реки, и спрашиваю:

— Скажи, Игорь, а почему ты не в школе?

— Вам тоже дело? Матери дело, ему дело! Всем дело! Не желаю я больше никакой школы видеть, и ничего мне ни от кого не надо... Все лезут, все нос суют... Сам знаю, чего мне делать.

И, прежде чем я успеваю вымолвить слово, Игорь срывается со скамейки и, не попрощавшись, исчезает.

Редкие прохожие не спеша идут по набережной, издали доносится приглушенный шум машин. Все спешат. Нехорошо, ай, как плохо получилось! Но что я могу сделать? Не бежать же следом за мальчишкой?..

Ладно, с Игорем мы еще встретимся. Решено. А пока надо работать. И я вновь «вызываю» голос Анны Егоровны.

— Вообще-то наше управление ремонтом не занималось. Но однажды пришлось. Велели какой-то заслуженный дом реставрировать: то ли Пушкин в нем останавливался, то ли Гоголь жил, сейчас и не помню. Часть жильцов выселили, часть оставили. Ну, ясное дело, раз ремонт — грязи мы развели по колено... Шум подняли... То воду отключали... то свет. Словом, от нашей работы оставшимся жильцам радости мало было.

Прибегают ко мне девочки, говорят:

— Сходи, Нюра, в девятую квартиру, глянь на старика — чистый Николай-угодник. Лет сто ему. Интересный дед!..

Пошла. Позвонила, сказала, будто коридор обмерить надо. Старичок и правда на Николая-то угодника похожим оказался—

беленький, ласковый. Только не тем он меня удивил. Представляете, в комнате у него живого куска стены не было — одни полки и все в книгах. Книжный магазин, а не квартира. Сроду я такого не видала.

— Сколько же у вас, дедушка, книжек тут? — спросила.

— Точно не знаю, но, полагаю, тысяч около шести будет.

— И все прочли?

— Большинство прочел, некоторые просмотрел...

— Ну и умный вы, — говорю, — как профессор поди.

— Я и есть профессор, без «как», на самом деле.

Так Анна Егоровна Преснякова познакомилась с профессором архитектуры Александром Даниловичем Урванцевым. Давно закончился ремонт заслуженного дома, а Анна Егоровна продолжала бывать в девятой квартире. Старалась помочь одинокому старику: прибрать, помыть, что-то сточить. Он сердился, когда она возилась с ведрами, гремела посудой. Видимо, старому профессору больше помощника по хозяйству нужен был слушатель. А слушателем Анна Егоровна оказалась превосходным — могла и час и два не шелохнувшись внимать Александру Даниловичу. И что бы ни рассказывал Урванцев, все было для нее открытием.

— Конечно, человек от родителей идет, — говорила мне Анна Егоровна, — за руки-ноги, за терпение, за то, что сроду никакой работы не боялась, отцу с матерью мое спасибо. А за голову мне до смерти Александра Данилыча благодарить надо. Кто книжки читать меня наладил? Он. Кто обхождению научил, разговору? Он. Кто вилку с ножом по-человечески держать заставил? Он...

Какая бы трудная работа ни бывала у Анны Егоровны, какие бы неприятности ни наваливались, стоило ей провести вечер подле старика, и плохое настроение и тоску как ветром сдувало. И все в другом свете показывалось.

И тут мысли мои невольно возвращаются к Игорю. Надо поехать к нему, надо проторить тропу к мальчишке. Не знаю еще, как и чем ему помочь, но помочь обязан. С этой мыслью я поднялся как со скамейки и медленно пошел к выходу.

Рыжие из битого кирпича дорожки приятно пружинили под ногами, скрадывая шаги. Где-то за вторым или третьим поворотом меня вдруг нагнал Игорь.

— Извините, — сказал он торопливо, — нахамил зря. Я часто хамлю. И понимаю — не надо, а так получается. Само собой...

— Ладно, — сказал я, — будем считать — «инцидент исперчен».

— «Любовная лодка разбилась о быт...» — он тоже знал Маяковского...

Ни о чем существенном в этот день мы больше не говорили. Но на душе у меня сделалось чуть-чуть легче, и я спокойно вернулся к мыслям о Пресняковой.

— Недавно тут было. Приходит письмо в наше управление, — рассказывала Анна Егоровна. — Письмо из райотдела милиции. Просят принять «соответствующие меры» к работнице моей бригады. Сына плохо воспитывает. А что значит «соответствующие меры»? Поднять на общем собрании и перед всем честным народом потребовать отчета? Только разве это чему-нибудь соответствует? Я-то ведь знаю: растила парня она без мужа, из кожи вон лезла, чтобы не хуже других обут-одет был, чтобы образование ему дать. Горе у нее — оболтус растет. Выходит, мало этого, надо еще добавить — перед людьми осрамить. Нет, так нельзя, думаю, не по совести будет.

И Анна Егоровна после смены поехала к работнице на квартиру. Приделалась, причесалась, на темно-синий жакет депутатский значок приколола и отправилась. Пришла в дом, а парня нет. Прождала с час, явился. С приятелем. Приятеля Преснякова без лишних слов за дверь выставила, а мальчишке сказала, что разговор у них должен быть личный, с глазу на глаз.

Парень ошетинился: разговаривать не желаю, ничего объяснять не буду. И вообще шла бы ты, тетя, подобру-поздорову. А я ухожу, меня товарищ ждет.

— Сильно я расстроилась. Встала в дверях и спрашиваю: как понимать, со мной лично разговаривать не желаешь или с Советской властью? — рассказывала Анна Егоровна и снова волновалась. — Говорю, а сама думаю: ну как пойдет к двери, что делать, не в драку же с ним лезть? Стою, будто к полу присохла, а сердце так и колотится. И понимаю — не война, ничем не рискую, но отступить нельзя. В случае чего не мое отступление будет — наше.

Не ушел. Все я ему выложила и говорю: а теперь садись и пиши обязательство, что жить будешь как человек, а не как паразит. Написал! Потом мы его хоть и с трудом, а наладили...

Вспоминая этот рассказ Анны Егоровны, я думаю: вот мы говорим «трудный человек» — взрослый ли, мальчишка ли, неважно — человек, а может быть, чаще бывают не трудные люди, а трудные обстоятельства? И скорее по ассоциации, чем по прямой связи, приходит на память мой последний вопрос к Пресняковой:

— Судьба, обстоятельства, талант подняли вас, Анна Егоровна, на большую жизненную высоту, голова у вас от этого никогда не кружится?

— Наверное, мне бы надо ответить: «Ну что вы, как это можно позволить себе такое?» Но я скажу правду: случается. Только я не очень этого кружения боюсь, средство от него знаю. Хороший человек научил. Плыли мы из Лондона в Ленинград. И попросилась я в «воронье гнездо» слазить — это наблюдательный пост на мачте. Высоко, жуть! Хотелось оттуда на море посмотреть. Для страховки полез со мной боцман. Как взвилась я на ту верхотуру, как глянула вниз — а море покачивается — так меня и замутило... Боцман, конечно, заметил и велел: гляди

вперед, дальше гляди — на горизонт! Я послушалась, и все сразу прошло. Это важно — под ноги не заглядываться. И на море и на земле.

Мы выросли с Пепе по соседству — в переулках Садового кольца. Но, пока жили в Москве, не знали друг друга. В летнюю школу я поступил на год позже Петелина и вскоре услышал посвященную ему необыкновенную легенду.

Рассказывали, что младший лейтенант Петелин, только-только окончивший курс обучения и назначенный инструктором в соседнюю эскадрилью, заявил:

— Инструкторить все равно не буду, не для меня работа!

Конечно, его примерно «проработали», наказали и исполнять служебные обязанности заставили. На какое-то время он приутих и вроде бы исправно делал все, что положено инструктору.

А потом случилось...

Рядом с основным аэродромом располагалась летняя полевая площадка. Утром инструкторы перелетали на нее, день возили там курсантов, а вечером возвращались на главный аэродром. Лету от точки до точки было не больше пяти минут.

В тот день, когда полеты закончились, командир эскадрильи улетел почему-то на машине Петелина, а ему приказал дожидаться автомашины, что должна была прийти с основного аэродрома часа через полтора. Рядом с помещением комендатуры, маленьким глинобитным домишкой, стоял рулежный И-5. Для тех, кто не знает: рулежный самолет — это бывший, отработавший свое боевой истребитель. На нем начинающие пилоты обучаются рулить по земле, сохраняя направление, выполнять развороты, разбежаться и тормозить. А чтобы машина случайно не взлетела, в плоскостях делают прорезы и ограничивают ход сектора газа. Словом, чтобы летать, самолету не хватает ни подъемной силы крыльев, ни тяги двигателя...

Петелин походил, походил вокруг «рулежки», притащил из сарайчика два листа старой фанеры, кое-как прикрутил их проволокой к плоскостям, закрыв зияющие сквозные прорезы; отломал приклепанный ограничитель сектора газа и, решив, что теперь и подъемной силы и мощности двигателя должно хватить, запустил мотор.

«Рулежка» взлетела неохотно, но все-таки оторвалась от земли и на высоте метров пяти, выше подняться не удалось, прогудела от летной полевой площадки до основного аэродрома и там на глазах почтеннейшей авиационной публики произвела безукоризненное приземление у самого поперечного полотнища посадочного «Т».

Рассказывали, что командир эскадрильи, старый выдержанный «шкраб», на этот раз сорвался и ругал Петелина самыми последними словами, а Пепе только щурился и нахально улыбался.

Доводить начальников Петька умел. Для этого у него было три излюбленных приема. Первый — в самых трагических моментах обвинительной речи старшего офицера он вдруг произносил:

— Прошу прощения, товарищ майор (или «товарищ подполковник», или даже «товарищ генерал»), не сочтите за труд повторить последние слова, хочу для потомства запомнить...

Второй прием сводился к тому, что Пепе все время глупо улыбался и отвечал невпопад. Например, его спрашивали:

— И как ты только додумался фанеру привернуть?

— У меня, видите ли, отец кузнец. Лескова читали? Про Левшу? Так вот, мы тоже тульские...

И третий прием: сначала Пепе только шурился, а потом начинал поносить себя с таким восторгом и самоотречением, что любой начальник приходил в полное замешательство.

— Да уж и сам не знаю, как угораздило, товарищ майор, мало отец порол меня, дурака, нет во мне твердой сознательности и дисциплины, сколько раз себе обещал — больше не буду, а силенки сдержаться не хватает, самоконтролем я еще не овладел. Накажите, товарищ майор, постороже накажите...

В тот раз командир эскадрильи дал Петелину пять суток ареста, но дело на этом не кончилось. Отсидевшему Петелину приказали явиться в десять ноль-ноль к первому ангару. Он явился. Там его ждал начальник училища. Прославленный герой Испании, человек удивительной судьбы — он уехал сражаться за независимость испанского народа старшим лейтенантом, командиром звена, вернулся полковником, Героем Советского Союза и получил назначение на должность начальника летной школы. Полковник не ругал Петелина и даже не спросил, что побудило его совершить тот дикий перелет на «рулежке», поздравился и сказал:

— Сейчас мы слетаем на воздушный бой. — Назвал высоту и порядок расхождения для первой атаки. — Ваша задача продержаться минут пять...

Едва ли какие-нибудь другие слова могли ранить Петелина сильнее. В своем превосходстве полковник несколько не сомневался, он был совершенно уверен — на такого щенка пяти минут хватит!

Много лет спустя, уже после войны, Пепе рассказывал:

— Ну и гонял он меня, ну и гонял! Ни один «мессершмитт», ни один «фока» не наводили на меня такой паники...

А потом, когда бой закончился, оба приземлились и зарулили, полковник растянулся на траве и приказал Петелину лечь рядом.

— Так как твоя фамилия? — спросил начальник школы.

— Петелин, товарищ полковник.

— А зовут как?

— Петр, товарищ полковник.

— Петр Петелин, в Испании тебя бы перекрестили в Пе-

пе... — Помолчал и неожиданно спросил: — Инструктором работать не хочешь?

— Не хочу, товарищ полковник.

— Я тоже. Но что делать, раз приказ?

И Петелин, дерзкий и самоуверенный, не нашелся с ответом.

— Молчишь? Правильно делаешь. Сказать нам с тобой нечего. Будем служить. Одно обещаю: если меня переведут в строевую часть, возьму с собой. А пока старайся. Не станешь человеком, выгоню... Учти — это в моей власти. И летать не будешь тогда совсем. Ну как, договорились?

Петелину следовало бы ответить: «Так точно, учту, исправлюсь», но он, сам того не ожидая, выдохнул:

— Эх, товарищ полковник...

— Товарищ полковник, товарищ полковник, — передразнил его начальник школы, — и чего ты как попугай заладил? Ты летчик, я летчик. Наше дело летать и подчиняться! Иди. И что-бы я о тебе больше не слышал.

Но услышать о Пепе начальнику училища пришлось не дольше как через неделю. При посадке скапотировал И-15. Коснувшись колесами земли и пробежав самую малость, самолет перевернулся на спину и загорелся. Никто, что называется, глазом не успел моргнуть, а над стартом уже взвился клуб черного дыма.

Курсант, привязанный в кабине ремнями, никак не мог выбраться из горящей машины.

На какое-то мгновение все словно замерло, только Петелин ринулся к готовому вот-вот взорваться самолету и выволок из огня парня. Курсант был «чужой» — не только из другой группы, но из другой эскадрильи. Курсант обгорел довольно сильно, Петелин значительно меньше.

Начальник школы навестил пострадавших в санчасти. Курсанту с И-15 сказал несколько ободряющих слов, а у Петелина спросил:

— Ну, чего хочешь, герой? Проси. Тебе положено.

— Вы же знаете, товарищ полковник, чего я хочу...

— А ты упрям, — рассердился начальник училища. — Я же сказал: в строевую часть мы уедем вместе. А за мужество, находчивость и так далее — в приказе складнее будет написано — снимаю с тебя ранее наложенное взыскание. И будь рад!

— Служу Советскому Союзу, — не особо бодро ответил Петелин.

Вот так вспоминалось мне прошлое, вызванное в памяти встречей с сыном Пепе — Игорем Петелиным.

На фронте я был ведомым Пепе и как мог охранял его: ведомый — щит героя. Это значит хоть умри, но заслони командира, что бы ни случилось, не дай ему погибнуть. Ты в ответе за его жизнь...

Теперь жизнь Пепе перешла в его сына.

Не знаю, хранят ли архивы Военно-Воздушных Сил служебные характеристики, наградные листы, представления к очередным воинским званиям на всех летчиков — живых и мертвых; не знаю, возможно ли разыскать личное дело гвардии капитана Петра Максимовича Петелина, однако и без документального подтверждения могу представить, что записано в его аттестациях и что опущено.

Техника пилотирования, разумеется, оценена на «отлично», что-то, а это Пепе умел — оторвать машину от взлетной полосы, поджать ноги в купола и, набрав скорость, начать стремительный рискованный пилотаж в непосредственной близости от матушки-земли; он великолепно чувствовал летательные аппараты и мог безо всякого труда пересесть с Як-7 на Ла-5, с Ла-7 на «Аэрокобру»

И знание материальной части оценено, конечно, высоко. Петелин не только хорошо сдавал зачеты по специальным дисциплинам, но ему было интересно докапываться до всяких технических тонкостей, и, если у него была хотя бы малейшая возможность задержаться на аэродроме, он всегда работал со своими механиками. Никогда и никому Пепе не говорил: «Не будешь знать матчасти, убьешься!» — но всегда с удовольствием рассказывал, как ему удалось по странному поведению стрелочки масляного манометра установить опасный дефект двигателя, и как инженер не хотел верить диагнозу летчика, и как растерялся, когда двигатель вскрыли, и он, Петелин, оказался прав!..

И стрелковая подготовка его расхвалена, да и как не расхвалить, когда он сбил одиннадцать самолетов противника лично и шесть в группе... Но не только пятерки в его характеристиках.

Уверен, записано: «Имели случаи проявления недисциплинированности, нетактичного поведения со старшими, самоуправства...» Расшифрованы или не расшифрованы эти иелестные «отдельные случаи», сказать затрудняюсь, но пояснить могу.

Петелин зашел в штабную землянку после четвертого боевого вылета, выполненного в тот день, увидел — сидит на нарах младший сержант Галя Кожевникова, оружейница, шмыгает носом и отворачивается, стараясь скрыть слезы. Галя прибыла в часть за неделю до этого и была назначена оружейницей в звено управления полка. Совсем еще девчушка, хорошенькая, застенчивая, она приглянулась многим. Ничего более существенного сказать о ней Петелин пока не мог. Спросил:

- Ты чего, «щелчок»?
- Так.
- Обидели?
- Пристает...
- Кто?
- Старый этот, лысый... подполковник...
- Ясно. Не плачь. Больше не будет, беру на себя.

Петелин разыскал начальника связи, отозвал за капонир и сказал несколько слов. Каких именно слов, история не сохранила, но механики хорошо запомнили, как выскочил из-за капонира начальник связи — красный и весь в поту, а некоторые, самые дальнзоркие, клянутся, что и с подсвеченным глазом. Кажется, он пожаловался начальнику штаба и грозился написать рапорт, но тот отговорил связиста:

— О тебе ведь, а не о Петелине слава по всей дивизии пойдет, ну скажи, на черта тебе такая честь? Тоже мне Дон-Жуан...

Когда я потом спросил у Петелина, знал ли он тогда или хотя бы надеялся, что со временем Галина Кожевникова делается Галиной Михайловной Петелиной, матерью Ирины и Игоря, Пепе искренне удивился и фыркнул:

— Да что я, хиромант какой-нибудь? Откуда я мог это знать?

Старшина эскадрильи доложил Петелину, оставшемуся за комэска, что личный состав подразделения завтракал без сладкого чая, так как «какой-то гад смахнул тарелку с сахаром, выставленную на раздаче».

Петелин пропустил все неуставные слова мимо ушей и очень разволновался:

— Выходит, свой взял? Говоришь, в столовой никого из другой эскадрильи не было? Свой! На кого думаешь, старшина?

— Не могу знать.

— Почему не можешь? Обязан, не имеешь права не знать!

И приказал выстроить эскадрилью. Речь исполнявшего обязанности комэска Петелина передать печатно невозможно, но это было еще не худшее. Почему он ринулся вдруг к сержанту Кремневу и приказал тому вывернуть карманы, никто не понял, но все услышали:

— Не буду я карманы выворачивать, не имеете права... — Это сказал Кремнев.

— Не будешь? Будешь! — И, прежде чем сержант успел ответить, полоснул отточенным как бритва парашютным ножом по одному карману, по другому, по третьему. — У своих!.. Разменялся на тарелку сахара.... Ступай в спецчасть и доложи, кто ты есть. Все свободны...

И опять мудрый начальник штаба уговаривал на этот раз Петелина:

— Ну а если бы ты ошибся, если бы не посыпался из этой свиньи сахар, ты понимаешь, чем такое чепе для тебя обернулось бы? На подчиненного с ножом...

— Посмотрели б вы, как у него глаза суетились, так не засомневались бы...

— Чего ты хочешь? Судить Кремнева? Позор на весь полк принять? Воровство ведь. Подумай, какая по армии слава разнесется?..

Кремнев отсидел на гауптвахте и вернулся в эскадрилью. Петелин вызвал его и сказал:

— Простил тебя начальник штаба, не я. Понятно? Еще украдешь хоть коробок спичек, пристрелю.

С перепугу или по каким-то более тонким соображениям Кремнев незамедлительно доложил начальнику особого отдела об угрозе капитана Петелина. И только из снисхождения к его боевым заслугам Пепе наказали сравнительно легко — задержали присвоение очередного воинского звания и записали в характеристику: «Имели случаи самоуправства и превышения власти».

Но для чего вспоминать об этом теперь, когда Пепе нет, когда приукрашенный его портрет висит в летной комнате Испытательного центра, когда мемуаристы-авиаторы, верные древнему закону — о мертвых только хорошее или ничего — вспоминают бои, победы, вынужденные посадки Петра Максимовича Петелина, его завидное неизменное хладнокровие, выдержку, железное самообладание?..

Мне идти к Игорю, и не могу я нести с собой голубовато-розовый портрет его отца. Если мальчишка и не учует подделки, скажем, по молодости лет и неопытности, то петелинская кровь, что течет в нем, должна взбунтоваться. И потом: то, что можно простить мемуаристам, старающимся возвысить своих героев, заставить их сиять в веках, мне непростительно — я ведь его ведомый, а дело ведомого сохранить командира живым и невредимым. Невредимым!

В ШКОЛЕ И ДОМА

Игорь проснулся раньше, чем прозвенел будильник, и сразу скосил глаза на пыльно-зеленую обивку стула, стоявшего в изголовье кровати. Так и есть: брюки наглажены и аккуратно перекинуты через спинку, рубашка сложена по всем правилам и тоже на спинке, а на зеленом сидении белым горбиком, словно палатка среди поля, торчит бумажка. И так каждый день, с тех пор как Ирина взялась за его воспитание лично. «Вот не буду читать, — подумал Игорь, — надоело!» — и тут же потянулся за запиской.

Аккуратным, совсем не докторским, а скорее ученическим почерком на белой карточке было выписано:

«...никто не может испортить свою жизнь, не испортив при этом еще чьей-нибудь». Шон о'Кейси.

«Интересно, кого Ирка имела в виду: себя и меня или мать и меня? — подумал Игорь. — Но это несправедливо, кому я порчу жизнь?.. Никому ничего не порчу! Сами живут как хотят, меня не спрашивают... И они пусть не лезут...»

Игорь сел на кровати, нажал на стопор будильника (а будь он вредным, старайся другим портить жизнь, не нажал бы.

Пусть бы им позвонило!) и, подняв голову, задержал взгляд на большой отцовской фотографии, висевшей над кроватью.

На портрете отец был в шлемофоне, сбитом на затылок, с прицепленной за одну резинку кислородной маской, куртка растегнута. Снимок сделал один из лучших фотокорреспондентов популярного иллюстрированного журнала, сделал сразу после исполнения парадного пилотажа. Когда-то этот портрет принес в дом сам отец и заявил:

— Полагаю целесообразным вывесить такую картину для всеобщего обозрения. Как, Галя? Красавчик? Будешь хвастать еще лет сто, а в моем присутствии ты сможешь говорить людям, указывая на меня пальцем: «А этот его непутевый старший брат!» Вешаем? — И сам повесил фотографию в большой комнате.

Потом, когда отец погиб, когда прошло уже много времени и в их доме появился другой мужчина — Валерий Васильевич Карич, Игорь перенес фотографию отца к себе в комнату.

Галина Михайловна, обнаружив темное пятно на светло-зеленых обоях в большой комнате, спросила Игоря:

— Зачем ты унес фотографию отца? — При этом голос ее звучал ровно и сдержанно, но Игорь моментально решил: «Притворяться» — и ответил с вызовом:

— Потому что это мой, понимаешь, мой отец!

— Все я понимаю, Игорь, а ты... — и, не договорив, она вышла из комнаты.

Через несколько дней темный прямоугольник на обоях в большой комнате исчез — его закрыла чеканка: фантастическая птица с причудливыми крыльями на фоне грозовых облаков...

Вообще с тех пор, как в их доме появился Валерий Васильевич, в жизненном укладе почти ничего не изменилось, только Игорь все время ощущал скрытое напряжение и ждал, ждал — вот-вот должно что-то произойти.

Валерий Васильевич ничего плохого Игорю не говорил и не делал, но само его присутствие ставило перед мальчишкой столько вопросов, на которые он не умел ответить: как называть маминого мужа? Обычно, обращаясь к отчиму, дети говорят «дядя Витя» или «дядя Саша», но у Игоря язык не поворачивался произнести «дядя Валерий», и он старался обходиться вообще без обращения...

Мог ли он что-нибудь просить у нового мужа матери? Вероятно, мог, раз они жили общим домом, под одной крышей, но Игорь не решался.

Должен ли он был показывать Валерию Васильевичу свою неприязнь? По здравому рассуждению упрекнуть Карича было решительно не в чем, но и расположения Игорь к маминому мужу не чувствовал...

Скатываясь с грохотом по лестнице, Игорь с досадой вспомнил Иркину записку: «Как там было — если себе жизнь портишь, то другим тоже?..»

За углом дома Игорь едва не столкнулся с Гарькой. Гарька не торопился и, вместо того чтобы поспешать в школу, задумчиво рассматривал голубей, ворковавших на солнышке.

— Привет, Гарька, ты чего стоишь?

— Думаю: какой смысл идти. А? Какой смысл, Ига?

— Так опять разговоры, опять шум будет...

— А если русачка спросит, тем более будет шум.

— Нет, я все-таки пойду.

— Ладно, потопали вместе.

Ребята подошли к школе, когда уже звенел звонок, и Гарик сделал последнюю попытку:

— А можем, наплюем и рванем?..

— Так пришли уже...

И оба понуро поплелись в класс.

Ничего значительного — ни приятного, ни неприятного — в этот день не произошло, если не считать обмена записками между Игорем и Гарькой. Хотя сами по себе записки ни о чем особенном не говорили, они все-таки привели к малоприятным последствиям. Но сначала Гарька написал на клочке бумаги: «У тебя деньги есть?»

«60 коп.».

«Мало!»

«Больше нет».

«Почему? Мать на вас с Иркой вон какую пенсию огребает! Неужели всю в своего Вавасика вламывает?»

Игорь не ответил. Но и о чем шла речь на уроке, он больше не слышал. В голове застряли два слова — насмешливое «Вавасик» и вполне обыкновенное — пенсия.

В этот субботний день Карич встал чуть позже обычного и, наскоро выпив чаю, спустился в гараж. Продавать «Волгу», купленную еще Петелиным, ему не хотелось, и он всячески тянул, откладывал, но Галина Михайловна настаивала, и доводы ее были безупречны: машина состарилась, ремонтировать ее нет смысла и вообще автомобиль — средство транспорта, какие тут могут быть сантименты?

— Это просто ханжество делать вид, что старый рыдван может быть дорог как память.

Возразить было нечего, и все-таки Карич неохотно спустился в гараж, проверил машину, протер стекла и выехал во двор. Галина Михайловна должна была вот-вот выйти.

Но прежде, как из-под земли, рядом с Каричем выросла мадам Синюхина. Варвара Филипповна Синюхина была давней соседкой Петелиных. Пепе ее терпеть не мог и окрестил Перезжитком, но это прозвище не прилипло, тогда он прозвал ее мадам Синюхиной, и «мадам» прилипло к ее фамилии намертво.

— Доброе утро, сосед, на прогулку собираетесь?

— Доброе утро, Варвара Филипповна.

— А Галя где? Что-то я ее третий день не вижу?

— Галина Михайловна сейчас спустится.

— Интересный вы человек, сосед, законную жену по имени и отчеству величаете. С чего бы это? — Но выяснить, с чего, Синюхиной не удалось: из парадного вышла Галина Михайловна и громко спросила:

— Чего ж ты, Валерий, все документы оставил — и доверенность и паспорт мой?..

Синюхина насторожилась.

— Доброе утро, Галочка, а я-то думала, вы гулять... Выходит, по делам?..

— Здравствуйте, Варвара Филипповна, вы угадали — мы действительно не гулять едем, а по делу. Интересуетесь, по какому? Могу ответить. Дело у нас законное и скрывать нечего. А если не интересуетесь, тогда будьте здоровы...

Валерий Васильевич мягко тронул машину и выкатил со двора.

А мадам Синюхина осталась кипеть благородным негодованием: так оскорбить, так унизить! И кто позволяет себе — Петелина! Не успела мужа похоронить, взрослых детей не посовестились — привела в дом другого. И с чем пришел этот человек? С ободренным чемоданишком... И это после Петра Максимовича — мужчины самостоятельного, видного, всей страной уважаемого.

Впрочем, всего, что приходило в голову Синюхиной, не пересказать, да, наверное, и не нужно...

А «Волга» тем временем, миновав городок, выехала на шоссе и устремилась к Москве. Карич вел машину почти незаметными, хорошо рассчитанными движениями и молчал. У него была эта способность — молчать за рулем часами, даже сутками.

Первой заговорила Галина Михайловна:

— Что с Игорем делать?

— Переломится, все в его возрасте шершавыми бывают.

— Но ведь не учится совсем. Вчера опять из школы звонили. И грубит, и слушать никого не хочет. Поговорил бы с ним как мужчина с женщиной.

— Какой он мужчина, Галя? Да и от разговоров что проку. Слова, они и есть слова. Будь моя воля, забрал бы его из школы...

— Куда забрал?

— Не знаю. Возможно, в техникум или учеником на завод, а десятилетку пусть бы вечернюю кончал. Ему не слова, ему дело нужно.

— Но почему ты говоришь: будь твоя воля? Разве я стану тебе перечить?

— Ты не станешь, он станет.

— Ну а если ничего не говорить, ни во что не вмешиваться, только присутствовать, что тогда будет?

Инспектор ГАИ, дежуривший на перекрестке, еще издали показал: остановиться! Карич сбросил газ, незаметно притормозил, и машина, подкатив к самым ногам рослого капитана милиции, остановилась. И сразу, как только капитан разглядел Карича, лицо его утратило служебную официальность.

— Валера! Здоров! Какими судьбами?

— Здоров, Фунт! Прежде всего позволь представить тебя моей жене, Галине Михайловне.

Капитан козырнул и назвал:

— Фунтовой Олег Павлович. Очень рад. Мы с Валерой в одном классе, представьте себе, учились и в одном батальоне служили. И по первому разу на родных сестрах женились...

«Волга» задержалась на перекрестке. Старым товарищам пришлось что вспомнить, и остановка эта как нельзя благотворнее подействовала на Галину Михайловну. Она вдруг подумала: «Вот это и есть жизнь — встречи и расставания». И, хорошо улыбнувшись Фунтовому, пригласила его в гости.

В тот час, когда старенькая петелинская «Волга» перешла в руки нового владельца и Карич, отказавшись вспрыснуть сделку с приобщившимся к клану автовладельцев работником общественного питания, заторопился домой, Игорь стоял перед новым завучем.

— Скажи, пожалуйста, Петелин, что тебе мешает заниматься как положено? — миролюбиво спрашивала Белла Борисовна. — Человек ты, мне кажется, не без способностей, физически здоровый, семья хорошая, материально обеспечен. Так в чем дело? Почему на тебя жалуются все преподаватели подряд? А?

Игорь молчал.

— И откуда в тебе эта неуважительность к старшим: вот я трачу время, стараюсь разобраться, помочь, а ты даже не считаешь нужным удостоить меня ответом? В школе я человек новый, значит, «старых счетов» у нас быть не может, верно? А что получается — я к тебе с уважением, с лучшими намерениями обращаюсь, а ты...

— За что ж меня уважать, если учусь я плохо и учителя на меня все, как один, жалуются? Не за что меня уважать, Белла Борисовна. Недостоин я вашего уважения. Со мной надо бороться...

— Вот видишь, Петелин, ты же понимаешь, что живешь не так, как надо, чего же тебе не хватает, чтобы исправиться?

— Вообще-то я бы мог вам объяснить, чего мне не хватает, да, боюсь, скажу, а вы на всю школу раззвоните...

— Что за слова, Петелин? Мне, пожилой женщине, ты говоришь «раззвоните»?..

— Вы пожилая женщина? Не прибедняйтесь, Белла Борисовна, в вашем возрасте — я у Бальзака читал — только и заводят любовников...

— Петелин! Ты забываешься.

— Ну вот, а говорите, с уважением ко мне относитесь. Слово

не так сказал, кричите! Я вам «вы», а вы мне «ты»! Вы видите, я стою! Вам на меня наплевать, вам статистику исправлять надо, а все остальное так, разговоры.

— Петелин! Я запрещаю... в таком тоне...

— Вам надо работу показывать, а я мешаю, как кость в горле торчу, так почему бы нам не договориться по-тихому — вы нарисуете мне все тройки за год, как некоторым рисуют, я заберу документы и с осени тихо слиняю из школы. Вам хорошо, и мне хорошо.

— Это наглость, Петелин, и оскорбительная клевета! Кому это, как ты изволил выразиться, рисуют тройки?

— Неужели я дурей Бабуровой? Скажете, Райке не натягивают на тройки? Эта кретинка сама хвастает, как ее мамаша с учителями контакты налаживает... Знаем! А про уважение чего там говорить. Никого я не уважаю и не собираюсь...

Белла Борисовна поднялась со своего места и, стараясь говорить как можно тише, чтобы ничем не выдать себя, — все в ней клокотало от возмущения — сказала:

— Разговор окончен, Петелин. Мне очень-очень жаль, что ты ничего не хочешь понимать. И запомни — тебе придется ответить за каждое твое слово.

— Не пугайте... Не придется! Свидетелей у вас нет... И куда вам от меня деваться? Вы же обязаны меня доучить... выпустить... я какой-никакой, а процентик... один от сорока — это сколько? Два с половиной процента!..

Из школы Игорь возвращался в крайнем возбуждении. Знал, что последний номер даром не пройдет, и все равно возбуждение было скорее радостным, чем тревожным, будто ношу с плеч скинул.

«Хорошо сказал, плохо, теми или не теми словами, — думал Игорь, — наплевать! Зато чистую правду ей под нос сунул!»

И тут же вспомнил Ирину записочку: «Рассказать правду очень трудно, и молодые люди редко на это способны». Лев Толстой.

От записки мысли Игоря перескочили к самой Ирине. Сестру он любил, любил всегда, только теперь, когда она стала уже совсем взрослой — закончила институт, доктор, — что-то в их отношениях не надломилось, нет, а разрегулировалось.

Раньше все было проще.

Вот он, третьеклассник, пришел к ней, студентке второго курса, и под секретом рассказал, что, будь у него рубль, он бы мог сегодня в школе купить замечательные образцы красоты женского тела. Услышав такое, Ирина в первый момент опешила и не сразу поняла, что Гарька Синюхин продавал ребятам открытки с обнаженными дивами по рублю за штуку.

Но стоило Ирине сообразить, о чем речь, как она отреагировала легко и точно:

— Рубль за такую красоту — дорого. Хочешь, в воскресенье пойдем в музей, и там за тридцать копеек посмотримся на настоящую красоту?

— А они на самом деле голыми будут? — деловито осведомился Игорь.

— Конечно.

Тогда было просто. А теперь все стало сложнее. Почему? С каких пор? Едва ли Игорь сумел бы ответить на эти вопросы с точностью — нужны мудрость, отстранение во времени, нужен особый склад ума, чтобы понять и правильно оценить порой едва уловимые события, приводящие к большим изменениям.

Однажды к Ирине приехала подруга Ольга. Девчонки готовились к решающему экзамену, а пятиклассник Игорь, чтобы не мешал, был изгнан из их общей с сестрой комнаты. Он безропотно подчинился и, пристроившись за обеденным столом, чертил проекции какого-то кронштейна. Все было тихо и мирно, пока Игорю не понадобилась тушь. Он вошел в свою комнату и сказал:

— Мне нужна тушь.

— Ну и бери, — не взглянув на брата, отозвалась Ирина.

И тут Игорь будто впервые увидел Олю. Длинноногая, яркая, вызывающе-привлекательная девушка развалилась в кресле. Задрав пятки на край стола, она громко вычитывала из толстой книги какие-то совершенно непонятные Игорю медицинские термины. Впрочем, не загадочный текст привлек Игореву внимание, а сама Оля, а точнее, стройные девичьи ноги.

Такого он еще не испытывал. Будто горячей волной захлестнуло его, даже дышать сделалось трудно.

И как она заметила, как только поняла?

— Ну чего ты вытаращился? — не поднимая головы от книги, спросила вдруг Оля. — И чего молчишь? Большой уже, соображать надо. Нравлюсь я тебе? Так давай объясняйся! Можешь на колени встать, а можешь и не становиться. Эх ты, Тарашки!..

Каких только прозвищ не придумывали Игорю в школе — был он одно время Колдуном, Иголкиным, был полковником Барком — и никогда не обижался. А тут, услышав этого Тарашки, Игорь прямо-таки задохнулся от обиды, покраснел и совершенно растерялся.

Позабыв про тушь и про незавершенный чертеж, Игорь позорно ретировался из дому и долго еще избегал не только Оли, но и сестры, бывшей невольной свидетельницей его посрамления.

Взбодораженный Игорь возвращался домой...

Ехала домой и Ирина. Меньше всего думала она о делах семейных. Человеку, только-только принятому в большую клинику, впервые почувствовавшему всю тяжесть ответственности, налагаемой званием врача, человеку, к тому же честолюбивому и

больше всего на свете опасаящемуся, как бы кто-то не заметил его неуверенности, страха перед больными, неловкости и колебаний, все остальные заботы, кроме забот медицинских, представлялись такими незначительными, обывательскими и ничтожными, что Ирина была бы, вероятно, крайне удивлена, спроси ее кто-нибудь: «Вас не беспокоит поведение брата? Не кажется ли вам, что Игорю надо помочь?»

Так бывает — даже очень хороший, по-настоящему душевный, любящий человек утрачивает вдруг остроту восприятия, стоит ему излишне сосредоточиться на себе, на своих сугубо личных проблемах.

Игорь и Ирина столкнулись у ворот дома.

— Привет, доктор! — сказал Игорь.

— Привет, мученик науки. Что нового?

— «А просто так удачи не бывают, а просто так победы не придут, — отчаянно фальшивя, запел в ответ Игорь, — и самолеты сами не летают, и пароходы сами не плывут».

— Поешь? Ну пой, ласточка, пой, где сядешь?

Плечом к плечу они вошли во двор и одновременно увидели — ворота распахнуты, гараж пустой. Прислонившись к притолке, стоит мать, в глубине гаража Валерий Васильевич.

— В чем дело? — спросила Ирина. — Куда делась машина? — В голосе ее не звучало ни особой тревоги, ни удивления.

— Продали, — сказала Галина Михайловна, — на будущей неделе получим «Жигуленка»...

— Слава богу, — все так же спокойно сказала Ирина, — а я-то подумала: угнали наш драндулет.

— Драндулет? — тихо выговорил Игорь, бледнея и весь напрыгаясь. — Драндулет? Этот драндулет, между прочим, покупал и ездил на нем отец... Наш! Правильно Ирка сказала — наш... Только как продавать, так у нас никто не спросил! — Его подхватило и понесло, слова сталкивались, путались, в них уже не было никакого смысла, только горечь, обида и презрение. — Продали!.. Вдвоем со своим... Вавасиком продала! Какое право?.. А мы кто? Отец... значит, и мы...

— Ты что кричишь? — пытаюсь остановить этот бессмысленный поток слов, спросила Галина Михайловна. — Я же ясно сказала, через неделю будет новый «Жигуленок»...

— «Жигуленок», «Жигуленок»... Подумаешь... Новый «Жигуленок» будет, новый папочка уже есть!.. Вот со своим Вавасиком и катайся... Не буду я больше с вами жить... Отдай мне пенсию за отца... Обойдусь...

— А ну-ка перестань орать! — прикрикнула Галина Михайловна. — Можешь жить как тебе нравится. Подробности уточним дома.

— Дома? Боишься, люди услышат? А я не боюсь, я и здесь могу уточнять.

Галина Михайловна, чувствуя, что теряет контроль над собой, шагнула навстречу сыну и подумала: «Ударить подлеца.

Надо ударить». И занесла уже руку, когда вдруг обнаружила — Игоря нет. Перед ней, закрывая полнеба, кожаная спина. Она даже не сразу сообразила — это встал между ними Валерий Васильевич. Но что он говорит, что он говорит? Почему он так говорит?

— В одном ты прав, Игорь, продавать машину, не посоветовавшись с тобой и с Ирой, действительно не следовало. В этом ты прав. Только в этом... А маму обижать нельзя. Несправедливо, невыгодно — другой не будет. И базар на весь двор устраивать ни к чему. Ты же Петелин, Игорь, Пе-те-лин! Нельзя, чтобы это имя всякая шваль по задворкам потом трепала. Дома договорим.

И Валерий Васильевич стал запирать ворота гаража.

Однако дома никакого разговора не получилось. Игорь завалился на кровать и, отвернувшись к стене, демонстрировал, что он ни в чем участия принимать не желает. Ирина сказала матери:

— Оставь его. Попсихует и успокоится.

Валерий Васильевич долго возился в ванной — заменил прокладку в подтекавшем кране, приклеил к стене пластмассовые крючочки для полотенец, раскрутил струбцинку и вытащил отремонтированный накануне туристский ботинок Игоря, потом тщательно со щеткой мыл руки и все это время тихонечко напевал: «Так выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу...»

Через полчаса Ирина вошла в комнату Игоря и присела на край кровати. Игорь не шевелился. Она посидела молча, потом нагнулась к брату и, касаясь теплыми губами его уха, зашептала как маленькому:

— Глупый ты, глупый, Тарашик, ну чего ты, чего? И на кого злишься? Тебе Валерий Васильевич не нравится? Он же маму любит, он же все для нее делает. И какая тебе польза, если они из-за нас ссориться станут? Как ты обозвал его — Вавасик? Смешно придумал...

— Это не я, — неожиданно отозвался Игорь, — его весь дом так зовет — петелинский Вавасик.

Игорь перевернулся на спину. Спросил:

— Сейчас скажешь: пойдی извинись? А за что извиняться? За то, что я не могу с ними жить? За то, что я псих, как ты объяснила матери? За то, что все врут и притворяются?..

— Не хочешь, не извиняйся, но матери ты хоть что-нибудь сказать можешь? Пожалеть ее?

— А чего ее жалеть? У нее любовь и счастье! Может, это меня или тебя жалеть надо.

— Ну ладно, — сказала Ирина, — делай что хочешь, только умойся и не выламывайся.

Игорь лениво поднялся с кровати и пошел умываться. В ванной он заметил новые крючочки для полотенец и свой отремон-

тированный туристский ботинок. Вдохнул и, погасив свет, внезапно решил: «Черт с ним, пойду извинюсь».

Он вошел в большую комнату и, никак не называя Валерия Васильевича, не обращаясь к нему, но глядя прямо в глаза, сказал:

- Спасибо. За ботинок. И извините. Это вообще.
- Пожалуйста, — сказал Карич. — А дальше что?
- Не знаю.
- Подумай. Мне лично больше всего за мать обидно.

День еще не был прожит до конца, а Варвара Филипповна приступила уже к подведению итогов. В представлении Синюхиной события выглядели приблизительно так.

«Где петелинская Ирка ночь шастала, сказать не могу, сплетничать и напраслину возводить не буду, тем более девушка она приятная, образованная и уважительность в ней есть; возможно даже, она в больнице дежурила...

Но — и это точно! — утром ее дома не было.

Игорь в школу аккуратно пошел, Гарька — свидетель, вместе они отправились.

Стало быть, детей обоих утром не было!

В какое точно время Галинин супруг из квартиры вышел, я, верно, не заметила, увидела его перед гаражом, когда он машину Петра Максимовича — царствие ему небесное, вот кто золотой человек был — мохеровым старым шарфом протирал.

Вышла я. Поздоровалась. Поинтересовалась у Валерия Васильевича, куда, значит, они собираются. Без задней мысли, так просто спросила... И еще обратила внимание, что Гали самой не видно... Но тут она из подъезда выкатилась и на меня напустилась: дескать, едем не гулять, а по делу, а по какому — это, мол, не моего ума забота!

И с чего она взвилась? И что мне их заботы? У нее своя жизнь, у меня своя.

Обидно только, что люди добра не помнят.

Когда она с Петром Максимовичем в наш дом въезжала и ремонт у них шел, где дети ночевали? Под моей, между прочим, крышей. Когда Иринка маленькая болела, а Игорь только ползал, к кому Галина за советом да помощью по три раза на дню бегала? Тоже ведь ко мне. А когда Петр Максимович убится, кто хлопотал больше всех, кто поминки налаживал, чтобы все чин чином и от людей не стыдно было? Но это так, к слову.

Уехали они и ладно, я на Галину даже и не обиделась. Мало чего в семейной жизни не бывает? Может, поссорились, вот она и не в духе... Дело житейское, не стоит и говорить. А вот когда они обратно на такси вернулись, тут я и подумала: те-те-те — нечисто что-то! И как сердце чуяло: продали машину!»

В этом месте плавно текущие размышления Синюхиной были

неожиданно прерваны. Пришел Гарька, шумно шваркнул дверь и с порога преувеличенно радостно заговорил:

— Ну, мать, радуйся! Гляди, — и он выложил перед мадам Синюхиной затрепанную книжку, на обложке которой можно было не без труда разобрать: «Типовые экзаменационные задачи для средней школы и решения к ним», — чувствуешь?

Варвара Филипповна в особый восторг от книги почему-то не пришла и с подозрением спросила:

— Стащил?

— За кого ты меня держишь, мать? — изображая обиду, сказал Гарька. — Придумаешь тоже! Ты на год издания посмотри! Посмотри...

Варвара Филипповна открыла задачник и прочла: 1937 год.

— Господи, старье-то какое! Теперь небось все задачки по-другому решают?

— Эх, мать, ты как из тундры. Это литературу каждый год по-новому учат, историю, географию... А математика тыщи лет стояла и еще тыщи лет стоять будет: трижды шесть — восемнадцать! Шесть в квадрате — тридцать шесть! Ясно? А корень квадратный из шестидесяти четырех сколько будет? Ну-ну, сколько? Восемь, мать, ровно восемь. Понятно тебе?

— Сколько? — неожиданно безо всякого интереса к разглашательствам сына спросила Варвара Филипповна.

— Чего сколько?

— Чего-чего?.. Денег, спрашиваю, сколько тебе надо? Будто я твоих фокусов не знаю. Книжка! Достал! Порядок на экзаменах будет! Будет порядок, если я в руки дело возьму, а не возьму, так держи карман шире. Балбесом ты был, балбесом остался. И молчи! Я тебе нечасто выговариваю, считай, повезло. Пусть мать у тебя женщина не больно образованная, а по современному положению вещей и вовсе даже одноклеточная, все равно повезло тебе, дураку. Без отца растешь, а скажи, чего у тебя нет? В чем нуждаешься? У кого, кто с папочками существует, чего больше? У Витьки Фрязина мотоцикл! Верно. Так я считаю, мотоцикл баловство и ничего от него, кроме смертоубийства, не бывает. Потому у тебя мотоцикла и нет.

Тут Гарька попытался было вставить слово, но Варвара Филипповна слушать его не стала:

— Молчи и слушай! Я редко с тобой разговоры разговариваю, потерпи... Так что ты Белле Борисовне про меня наболтал?

Гарька сразу напрягся, забегал шустрыми глазками по потолку, окнам, полу...

Белла Борисовна действительно вызывала его на беседу, и он долго, вдохновенно разыгрывал крайнюю степень смущения и полную откровенность, плел что-то о своей несчастной сиротской жизни с матерью — женщиной малограмотной, черствой, сомнительной... словом, не пожалел сынок красок.

— Молчишь? А давеча не молчал! Что грамотности мне не хватает — говорил? Говорил! Пусть это и правда, да мог бы

помолчать. Мог бы родную мать не срамить. Деньги в доме непонятно откуда берутся — намекал? Намекал! И подлый намек еще делал, будто я махинации темные проворачиваю. Делал? Делал! Ну допустим, что так на самом деле все и есть. Почему же ты не объяснил, куда деньги идут? На что расходуются «темные» денежки-то? Кто фирменные джинсы носит — ты или я? У кого часы последнего выпуска, без стрелок — у тебя или у меня? А магнитофон «Филиппс» у кого?.. Молчишь? И правильно делаешь! Знаешь, мать прости. Все прости. Все, да не совсем, подлая твоя душа... Ладно! Сколько?

— Чего сколько?

— Чего-чего? Сколько денег за книжку твою дурацкую надо?

— Букинистическая ведь... редчайшая, можно сказать... ни в одной библиотеке не достанешь.

— Ну?

— И почти все билеты учителя с нее скатывают. Думаешь, им охота каждый год новые задачки выдумывать? Вот и тянут тихонечко. Так что если у кого шарики работают, тот такую вещь не упустит...

— Сколько?

— Парень знакомый семь просил...

Вскоре после гибели Петелина Галина Михайловна прочла у Хемингуэя: «...когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой, пустоту же после хорошего можно заполнить, только отыскав лучшее». Она любила Хемингуэя и верила ему. Писатель помог ей не замкнуться в своем вдовстве, искать общения и общества.

Конечно, Галина Михайловна знала, что не только Синюхина, но и некоторые другие соседки не одобряют ее поведения: не успела мужа похоронить и уже... Но к пересудам этим относилась совершенно спокойно, должно быть, потому, что одной ей было точно известно: за многозначительным «уже» ровным счетом ничего не кроется, ничего, кроме стремления избежать одиночества.

Однажды, как всегда по какому-то пустяковому поводу, зашла к ней Синюхина и участливо, жалостливо, с придыханием пустилась в рассуждения о тяготах вдовьей доли.

Галина Михайловна сочувствия не приняла, сказала, хоть и не зло, но колко:

— Но вы же не вдова, Варвара Филипповна, стоит ли вам так расстраиваться?

— Разве я о себе печалюсь? О других душа моя болит и о тебе тоже. Вот дети скоро вырастут, а тогда что, какой интерес жить?

— Вы у меня спрашиваете, Варвара Филипповна, или, так сказать, вообще рассуждаете?

— Вообще, вообще, Галя, просто так... А тебя чего спрашивать, что ты можешь знать?

— Почему не могу? О ком-нибудь другом, конечно, не скажу, а о себе могу.

— И чего же ты про себя скажешь?

— Я непременно постараюсь выйти замуж. Для себя и для ребят выйду.

— Ну молодец, Галька! Решительная ты. И на примете человек подходящий есть? — живо поинтересовалась Синюхина.

Но Галина Михайловна не удовлетворила ее любопытства, ответила с усмешкой:

— Нет, так будет.

И этого было вполне достаточно, чтобы в синюхинской голове немедленно возникла своя ясность: «Галька Петелина землю носом роет — замуж рвется. За сорок лет бабе, а об чем думает!»

Теперь ночью, когда Галине Михайловне не спалось и слепая холодная тревога тихо охватывала сердце — что-то кончилось, что-то снова кончилось, — она вспомнила те горькие дни и впережку с недавним давнее. Совсем-совсем давнее.

В сорок четвертом ей было семнадцать, она работала на авиационном заводе оружейницей. Прибавила в документах год и чуть не слезами выпросилась на фронт.

В Кандалакше, до которой девчонки добирались две недели, не падали бомбы и не рвались снаряды. Здесь пахло гарью, и развалины домов смотрели на девчонок, казалось, с недоумением... Утрюмый старик старшина, сокрушенно вздыхая и охая, выдал вновь прибывшим кирзовые сапоги сорокового размера, гимнастерки с рукавами, достигавшими колен, брюки до горла и необъятных размеров кальсоны...

В сырых землянках капало с потолка и подозрительно шуршал песок по стенам. Было холодно, неудобно и грязно...

В первые десять дней новоявленные оружейницы овладевали военной премудростью и сдавали зачеты.

В авиационном полку, куда Галя получила назначение, надо было часами набивать патронные ленты, ровнять их, укладывать в ящики, надо было чистить пушки и регулировать синхронизаторы, перетирать снаряды... Не избалованная в тылу — на заводе военного времени жизнь тоже была нелегкая — к вечеру Галя просто валилась с ног от усталости.

И боялась она пристальных мужских взглядов, преследовавших ее в сумерках землянок, в импровизированном клубе, боялась тихих уговаривающих слов и постоянно звучащего рефрена: «Ну что ты... война спит...»

Как пережила бы Галя это испытание, не заслони ее своими широкими плечами Петелин, сказать трудно. Но он заявил права на нее, заявил неожиданно, открыто и громко.

Капитана Петелина в полку любили, уважали и побаивались.

И стоило услышать: «Это петелинская девочка», как Галя оказывалась словно в броне.

В ту пору ничего между ними еще не было, и Галина боялась Петелина не меньше, а может быть, даже больше, чем других мужчин, и старалась почти не разговаривать с ним...

А он, находя все же возможность побыть с ней наедине, по-сменвался и говорил:

— Ну, чего ты? Ты же знаешь, как у нас... а они пусть думают, пусть считают... Тебе же спокойнее... Если убьюсь, шепни девчонкам, что беременная, до конца войны никто не подойдет. Скоро конец уже. И не реви. Чего тебе реветь?

Потом Галя спросила:

— Петь, а почему ты со мной так был... ну понимаешь?..

И он ответил смущенно:

— Жалел.

Пепе нечасто говорил ей о своих чувствах, но благодаря ему она поняла: любить — это прежде всего участвовать и разделять... И еще она поняла — нельзя любить не уважая.

Обо всем этом думала Галина Михайловна, когда ей не спалось и слепая холодная тревога тихо сжимала сердце — что-то очень существенное кончилось, что-то кончилось...

Ох, как многое надо было понять и решить, решить для себя, чтобы жить дальше.

И тут мысли ее расплывались, уходили куда-то в сторону, уступая место дымной серо-сизой тоске и унылой сердечной боли.

ЧЕЛОВЕКУ ЧЕЛОВЕК

Дописав очерк о Пресняковой, я позвонил Анне Егоровне по телефону и попросил потратить на меня часок.

— Да я ж вроде все уже рассказала. Больше ничего не знаю, — без раздражения, но и без привычной приветливости отозвалась она.

— Теперь моя очередь, Анна Егоровна, должен отчитаться, показать вам, что сочинил.

— Вы всегда так делаете?

— Во всяком случае стараюсь.

— И не боитесь?

— А кто сказал: «Когда за правдой идешь, сам того не замечая, храбрее делаешься»?

Анна Егоровна засмеялась:

— Не перепутали. Говорила. Приезжайте. — И назначила время встречи.

И вот я в квартире Пресняковой, на двенадцатом этаже нового дома-башни. Две сравнительно небольшие комнаты, полированный мебельный гарнитур, телевизор на тонких ножках, капроновые занавеси от стены до стены, словом, все как у всех.

Только рядом с трельяжем неожиданная потемневшая грубая рамка и под мутноватым, в разводах, стеклом множество фотографий. Старая морщинистая женщина, покрытая платочком в горошек; пожилой мужчина с вытаращенными не то от удивления, не то от напряженного ожидания маленькими глазами; бесштаный мальчонка на сундуке, накрытом пестрядиным одеялом; склонившиеся над гробом люди: солдат с довоенными знаками различия, еще солдат...

Видно, я слишком внимательно уставился на эту рамку. Анна Егоровна, не дожидаясь вопроса, сказала:

— После родителей осталось. Когда мать схоронила, из деревни привезла, — и усмехнулась, — из-за этих фотографий с дочкой у нас конфликт вышел. Прихожу как-то домой, а рамки нет. Туда-сюда, нет, потом в кладовке обнаружила. Ну, думаю, ладно, не буду пока на место вешать, подожду Маринку. Возвращается она из института, спрашиваю: где бабушкины фотографии? Говорит, сняла. Почему? Крутит-вертит: не модно, мол, интерьер нарушают... Короче говоря, выясняю — сняла перед тем, как к ней парень в гости пришел. Любовь у них там или нет, в точности не знаю, но встречаются уже месяца три... А парень их же студент, вроде профессорский сын. «Так что ж это получается, — думаю, — происхождения своего дочка стесняется, крестьянские корни смущают?» Тут я ей такую политинформацию устроила! На полный разворот. И под конец сказала: пока я жива и в этом доме хозяйка, фотографии висеть будут. Не нравится, добывай отдельное жилье и там хоть графские портреты развешивай, хоть фотокарточки киноактеров наклеивай... И заставила Маринку собственными руками все на старое место повесить, — Анна Егоровна поглядела на часы, времени у Пресняковой было мало.

Я достал перепечатанный начисто очерк.

— Вот... а я, если не возражаете, на балконе пока побуду. Люблю Москву с высоты разглядывать.

С балкона пресняковской квартиры хорошо виден утекающий вдаль проспект Мира. Перед площадью Космонавтов он слегка сужается и исчезает. Чуть слева и, кажется, совсем рядом, окутанная легкой дымкой, возвышается телевизионная вышка, дальше зеленый массив выставки. С высоты катящие по серому асфальту машины будто игрушечные.

Смотрю, и в голову приходит: до войны все легковые автомобили были черными, все грузовики зелеными; и люди одевались тускло — в защитное, синее, черное... пожалуй, это не случайность — символ времени!

Я вовсе не думаю, что надо постоянно помнить о минувшем, то и дело сравнивать, что было и что стало, но иногда оглядываться полезно и поучительно: ведь наше сегодня — всего-навсего выросшее вчера и наше завтра неслышно поднимается из нашего сегодня...

— Идите, — зовет меня Анна Егоровна, — прочла.

Мы сидим на диване, и Преснякова молча ровняет листочки рукописи. Жду, пытаюсь угадать, довольна она или нет.

— У меня просьба, — говорит Анна Егоровна, — пожалуйста, все, что касается личной жизни, уберите. Мне нечего скрывать, и вы все правильно описали — и как я нелепо потеряла мужа, и как мыкалась с маленькой Маринкой... все так и было. Но не надо на жалость бить...

— Видите ли, Анна Егоровна, человек не живет одной работой, одними успехами, наградами или, напротив, поражениями и взысканиями, личное, как вы сказали, оно тоже характер делает, ведет на подвиги или толкает на преступления...

— Правильно. Пишите про любовь и измены... Про все... только в романах... без точного адреса! А иначе нехорошо получается — человек я невыдуманный, в Москве прописка и вдруг нате вам. По-моему, раздеваться перед людьми стыдно. Вы не согласны?

— Что касается конкретного случая, ваше слово — закон. Все, что вы считаете нужным убрать, будет убрано... А вообще, мне кажется, для литературы нет запретных областей — бывает бестактное, бездарное изображение...

Анна Егоровна не сдается, и мы спорим, спорим долго. Кажется, в чем-то Пресняковой удастся поколебать меня.

Много поработав с очень разными людьми, близко соприкоснувшись с чужими судьбами, Анна Егоровна твердо убеждена — в каждом человеке должно сохраняться что-то потаенное, сугубо секретное, иначе исчезнет всякая романтика личных отношений и останется одна голая целесообразность...

— Ну хорошо, — говорю я, пытаюсь найти компромиссную формулу, — а в отношениях двух самых близких людей, скажем, друзей или любящих, тоже должны оставаться секретные зоны?

— А как же! Хотя, если двое самые близкие, это все равно что один человек. Но даже им «секретные зоны» не помешают, иначе чего открывать друг в друге через год или два? Мне трудно это выразить, я строитель, а не писатель, но чувствую, какие-то границы надо обязательно сохранять для защиты...

— От цинизма? — кажется, ухватив мысль Пресняковой, спрашиваю я.

— Вот-вот! — И Анна Егоровна снова смотрит на часы. — Без четверти пять, мне пора...

Наконец, разделавшись с самыми неотложными делами, я решаю поехать к Петелиным. Все эти дни я вспоминал о встрече с Игорем и время от времени повторял себе: «Надо съездить, надо съездить».

Битый час звоню по телефону, но без толку, проверяю через справочную, оказывается, номер давно изменился. Снова звоню... Кажется, легче связаться с Антарктидой и узнать, что

слышно в поселке Мирном, чем пробиться в подмосковный городок, расположенный в каких-нибудь пятидесяти километрах от моего дома.

Делать нечего — придется ехать так. Ну, извинюсь...

Электричка дробно стучит на стыках. Бледное небо чуть-чуть подрагивает за окном. Инверсионные следы самолетов, словно вылинявшие лисьи хвосты, повисли в небе. Зеркалами вспыхивают и гаснут пруды. Перелески, перелески, перелески откатываются назад, и тянется почти непрерывная лента старых, потемневших домиков и домишек...

Странно — раньше дачные поселки смотрелись веселыми оазисами, а теперь кажутся унылыми поселениями. Почему бы? Может, потому, что город мой стал зеленее и чище, а поселки состарились и непомерно разрослись?

Сорок минут, только изредка останавливаясь, стучит электричка.

Наконец пора. Выхожу. Пахнет хвойным лесом, влажной землей, и первое чувство, будто я не за пятьдесят километров уехал, а переместился назад лет на двадцать или даже тридцать.

Запах хвойного леса и влажной земли — запах первого аэро-клубного аэродрома. Правда, тогда здесь не курсировали такие нарядные автобусы и от станционной платформы до поселка надо было добираться пешком. И сам поселок, превратившийся в городок-спутник, не узнать. Не сразу я нахожу нужный дом и поднимаюсь на третий этаж.

Звоню. Открывает Галина Михайловна, то есть Галя. Постарела? Не очень. Конечно, время несколько смазало черты лица, но глазищи как были, так и остались — большие, карие, спрашивающие.

— Ты? Какими судьбами?

— Да вот звонил, хотел предупредить и не смог пробиться...

Мы проходим в комнату и присаживаемся к столу. Осматриваюсь. Все, кажется, как и было, только на месте фотографии Пепе чеканное изображение какой-то фантастическо-мифологической птицы в грозовых облаках.

— Сколько ты у нас не был? — спрашивает Галя.

— Лет пять, должно быть.

— И не стыдно?

— Стыдно, Галя, стыдно...

— Хорошо хоть сознаешь, не есылаешься на обстоятельства... А я замуж вышла... Сообщаю это для ясности.

— Это правильно.

— Ирина медицинский закончила. Представляешь — доктор! Игорь в восьмом, дополз...

Мы сидим за полированным столом и разговариваем. Обыкновенные слова о самом обычном, о самом будничном не связывают и не разделяют нас; мне кажется, что-то тяготит Галю, и нам никак не удастся преодолеть едва уловимое отчуждение.

Почему-то я спрашиваю:

— А что, мадам Синюхина жива еще?

— Почему бы ей не жить? Она ведь нестарая. Все такая же — журчит, журчит, а иногда жалит...

— Странно, но я почему-то вспомнил сейчас, как у вас, Галя, ремонт шел, и ребята паслись у Варвары Филипповны, а мы тут колхозом вкалывали, и Федька Бараков паркет циклевал...

— Федька! Ты насчет Федьки поаккуратнее, брат. Федор Иванович Бараков — генерал-майор авиации, заслуженный летчик-испытатель, дважды дедушка... — говорит Галя. — А Славу Осташенкова помнишь?

— Рыжего? Штурмана? Заикался слегка?

— Защитился. Кандидат тех, как он говорит, или иных наук. И еще летает. А ведь ему скоро шестьдесят будет.

Бараков, Осташенков — товарищи и сослуживцы Пепе. Стоило Гале вспомнить о них, и отчуждение, так мешавшее нам в начале разговора, сразу же ослабевает.

Нас связывает не абстрактное небо. Нас связывают люди, приговоренные к небу...

— Ну а сама ты чем занимаешься? — спрашиваю я.

— Живу, — говорит Галя и едва заметно улыбается. — Сначала работала в лаборатории по старой, так сказать, специальности, но с новым уклоном, а последний год сижу дома.

Я не спрашиваю почему, она объясняет сама:

— Игорь от рук отбилась... пытаюсь как-то его наладить, но, честно говоря, пока что без толку все...

— Учится плохо или...

— Даже не в двойках дело. Какой-то он озлобленный стал, грубый, и нет в нем ни моей покорности, ни отцовской таранной силы. Ты помнишь, как Петька после войны в испытатели ломился? Десятилетку вечернюю за один год закончил, в институт поступил... И при этом летал, и семья у него на руках была. Непохож на него Игорь — сам не знает, чего хочет. Плывет по воле волн. Неуправляемо как-то движется.

Слышно, как поворачивается ключ в дверях и клацает замок, на пороге появляется Игорь.

— Вот он, красавчик наш, явился. Ну как, ты бы узнал его на улице? — спрашивает Галя.

— Пожалуй, узнал бы, — говорю я и замечаю благодарные искорки в Игоревых глазах. Ясно. О встрече над Москвой-рекой он промолчал.

— Здравствуйте, — говорит Игорь и крепко жмет мне руку. Хорошо, по-мужиковски жмет.

— Ты где был так долго? — спрашивает Галя.

— А в школе. На дополнительных по физике.

— Опять?

— Она сказала, чтобы я до конца четверти оставался.

— Кто это — она?

— Да физичка, и Белла Борисовна распелась тоже.

— Ну ладно, мой руки, сейчас кормить вас буду.

Пока Галина возится на кухне, мы толкуем с Игорем о жизни. Оказывается, он собирает советские авиационные марки и с удовольствием предлагает мне посмотреть свою коллекцию.

Марки, к моему удивлению, хранятся не в альбомах и не в классерах, а расклеены на толстых листах забранного под стекла картона. Серии очерчены аккуратными цветными рамками, под каждой проставлен год выпуска. И все это исполнено со вкусом, тщательно.

— А ты терпеливый малый, — совершенно искренне говорю я.

— Смотря на что, — скептически замечает Игорь.

— Спецгашениями интересуешься?

— Какими?

— Есть у меня с Северного полюса...

— А вы что, на СП были?

— Был. Привез несколько конвертов, только не помню, какие на них марки, возможно, и авиационные. Сам я марок не собираю...

— А для чего ж привезли?

— На всякий случай. Для друзей, например.

— Вроде меня?

Молчу. И он молчит. А потом говорит каким-то удивительно противным, скрипучим голосом:

— Если вы мне эти спецгашения так подарите, большое спасибо, а если для воспитания, тогда лучше не надо.

Проходит сколько-то времени, прежде чем наступает равновесие. Игорь уже смеется, а я смотрю на фотографию Пепе, висющую над постелью, и снова думаю: «Ну до чего же он похож на отца».

Потом появляется Ирина. Узнает меня и тянется обнять. Совсем стала взрослой. Впрочем, удивляться не приходится — ей, должно быть, уже двадцать четыре исполнилось.

Мы что-то жуем вместе. Ирина забавно рассказывает о своей клинике, о больных, о шефе...

Время будто набрало темп и понеслось. Я даже не заметил, как прошли последние полтора часа, как потемнели окна и на улице зажглись фонари. Только подумал: «Кажется, пора и честь знать», — и хотел уже попрощаться. Но тут появился Галин муж.

Как он отпер дверь и прошел по коридору, никто не слышал. Внезапно на пороге комнаты возникла грузная фигура черноволосого, с необъятными плечами мужчины. Лицо у него темное, над виском приметный старый шрам. Левая рука оказалась забинтованной на широкой марлевой перевязи.

— Вечер добрый, — сказал Валерий Васильевич и через си-

лу улыбнулся, сверкнув блестящими, из белого металла, вставными зубами.

— Что случилось, Валерий? — стараясь быть сдержанной, спросила Галя, но голос выдал ее — испугалась.

— Да так, глупость. Шланг вырвало и зацепило.

— Какой шланг?

— Воздушной магистрали...

— Перелом? — спросила Ирина.

— Перелома нет, трещина.

— А рентген сделали?

— Сделали.

— Очень больно, Валерий?

— Теперь не очень. Задержался, пока разговоры, амбулатория.

Случайно я посмотрел на Игоря. Только он да я сидели молча. И Игорёво лицо не выражало ничего, кроме любопытства.

Галина познакомила меня с Валерием Васильевичем, и он пошел переодеваться. Галя вышла следом, видимо, помочь. В комнате стало тихо, и тогда Игорь включил проигрыватель.

— Игаш, — сказала Ирина, — ты что?

— А что? Я тихонько...

Ирина посмотрела на брата с укоризною и сделала как маленькому «страшные» глаза.

— Так никто не умер, — негромко сказал Игорь, — и вообще музыка вызывает положительные эмоции и успокаивает.

Минут, должно быть, через пять Валерий Васильевич вернулся. Теперь на нем был синий тренировочный костюм, теннисные туфли. На проигрыватель он не обратил никакого внимания. Опустился в кресло и сказал, обращаясь к Ирине:

— Скажи, Ириш, маме, что есть мне вредно. Как доктор скажи... Мне бы чаю. Пить хочется...

— Насколько я понял, — обратился ко мне Валерий Васильевич, — вы старый фронтовой друг Петра Максимовича и Гали?

— Старый? Теперь, пожалуй, древний уже друг.

— Что ж раньше у нас не бывали?

— Да вот казнили уже перед Галей. Жизнь заматывает. Все думаешь, завтра, послезавтра... А время бежит.

— Вы машину водите? — неожиданно спросил Валерий Васильевич.

— Какую? — не понял я.

— Обыкновенную — автомобиль.

— Вожу.

— Просьба у меня: я попозже Игорю ключи дам, чтобы в гараж загнал, присмотрите за ним?

— Вы что ж, своим ходом доехали? — удивился я.

— А что делать, не бросать же ее на работе?

Странное впечатление производит на меня этот человек — внешне суровый, пожалуй, даже неприветливый, немногословный

и вместе с тем в нем просматривается какая-то затаенная, уверенная сила и едва уловимая мягкость.

Вернулись в комнату Галя, Ирина, пришел Игорь, мы пили чай. Валерий Васильевич с удовольствием ел «Мишки» и аккуратно складывал конфетные бумажки в фантики. Разговор был самый незначительный. Как бы между делом Валерий Васильевич сказал:

— У меня к тебе просьба, Игорь, попьешь чай, пожалуйста, загони машину в гараж, — и протянул Игорю брелок с ключами.

Первой отреагировала Галя:

— Ты сам приехал? С ума сошел!..

Ирина поглядела на Карича с удивлением.

Игорь взял ключи и поднялся:

— Сделаю.

— Не спеши, чай допей.

Мы спустились во двор вместе с Игорем, я спросил:

— Машину давно водишь?

— Не очень-то вожу, по двору вперед-назад пробовал.

— И получается?

— Пока что скандал получился. Я сел, когда он ключи забыл, ну тронулся. Проехал метров десять. Мать чуть голову не оторвала — почему без спроса? А задавил бы кого-нибудь, что тогда...

— А Валерий Васильевич что сказал?

— Ничего, он не больно разговорчивый. Сказал: сцепление плавнее отпускай и газу надо меньше.

У подъезда стоял вишневый «Жигуленок». Игорь уселся за руль, запустил мотор и очень осторожно тронулся с места. Он объехал палисадник, не переключая скорости, и остановился против ворот гаража. Пока Игорь отпирал и распахивал ворота, я пересек палисадник напрямую и подошел к машине.

— Будете руководить? — знакомо противным голосом спросил Игорь.

— Не буду. Ты только сдай малость назад, чтобы не с разворота въезжать, а с прямой, с прямой легче.

Он сделал все как полагается и собрался уже замкнуть ворота на замок, когда из темноты вынырнула долговязая фигура.

— Привет! Катаешься? Силен! Достигаешь...

— В гараж только загнал...

— И то... Доверие! Может, рванем кружочек?

Парень не видел меня. На всякий случай я не уходил...

— Ты что, Гарька, какой кружочек?

— Соображаешь: метр отъедешь, а Вавасич по шее врежет...

— Никто не врежет, только...

— Только коленки дрожат. Или нет?

— И ничего не дрожат, просто человека проводить надо, — и Игорь кивнул в мою сторону. Едва ли парень, которого он называл Гарькой, понял, о ком речь, но спрашивать не стал.

— Человека? И доvez бы его до станции.

Игорь подошел ко мне:

— Может, вас правда до станции довести?

— Не стоит, — сказал я, — лучше пройтись.

Мы пересекли палисадник, и я остановился у парадного. Игорь вопросительно посмотрел на меня.

— Поднимись, доложи — задание выполнил; собираешься меня провожать, предупреди, а то мама беспокоиться будет.

— Не будет.

— Я подожду, — сказал я.

Игорь мотнул головой, будто хотел забодать кого-то, и исчез в подъезде. Вернувшись, сказал насмешливо:

— Все в порядке. Ключи сданы, угона не будет! Можете не волноваться!

— Смотрю я на тебя, удивляюсь, и чего ты такой наскипидаренный, чего рычишь?

— И я удивляюсь: ну почему все меня за дурака считают? Послал он вас посмотреть, как я машину загоню, ладно, но зачем притворяться, комедию разыгрывать? Да что я, совсем без головы — ночью ехать? Куда? Или мне машины не жалко? Пусть не моя, все равно машина...

Мы идем по длинной пустоватой улице, и наши тени то бегут впереди, то раздваиваются, то отстают — фонари сильные, но поставлены редко и от этого получается такая чертовщина: ты идешь, и тени опутывают тебя. Потом мы сворачиваем в переулок, здесь почти совсем темно, и небо над нами набирается звездами.

Уже перед самой автобусной остановкой Игорь спрашивает:

— Вы как считаете, почему на самом деле отец убился?.. А то болтают... Я тогда маленький был, не понимал...

— Видно, в тот день отвернулась от него удача, — говорю я. — Садился вынужденно. Дотянул, рассчитал, приземлился, а на поле борона валялась, чепуха, мелочь, ни заметить, ни предусмотреть невозможно... но оказалось достаточно...

— А в больницу его правда живого еще привезли?

— Да. Без сознания. Бредил он. Воздушным боем командовал.

Сколько-то времени мы стоим молча. Игорь неслышно переминается с ноги на ногу, теребит в руках ремешок, спрашивает:

— Это вы его Пепе прозвали?

— Нет, не я, генерал Ухов, был такой прославленный герой Испании, летной школой нашей командовал.

— И тоже убился?

— Нет, умер.

Мягко светя желтыми противотуманными фарами, подходит автобус.

— Жду к себе, — говорю я Игорю, — спецгашения приговлю и кое-что еще.

— Ладно.

— Не ладно, а спасибо надо говорить...

— Раз надо, пожалуйста, — спасибо!

Всех нас учат читать, писать, петь, считать на логарифмической линейке, рисовать и многим другим более или менее обязательным премудростям. А вот едва ли не самое нужное искусство, искусство, совершенно необходимое каждому, приходится постигать самостоятельно — речь идет о мастерстве воспитания.

Никогда я не был учителем, в жизни не сдавал зачетов по основам педагогики и очень приблизительно знаю законы психологии, но с молодых лет пришлось иметь дело с подчиненными солдатами, позже с собственными детьми. Кое-что я постиг за эти годы, постиг чисто практически, например: самые лучшие слова, если их не подкреплять поступками, действиями, приносят очень немного пользы; малейшая неискренность, как тщательно ее ни маскирую, разоблачается даже совсем маленькими ребятами; излишняя строгость, как, впрочем, и безграничное добродушие, приносит только вред...

Если ты хочешь с успехом воздействовать на кого-то, будь терпеливым, оставайся самим собой; будь честным, умей находить «золотую середину» и не спеши...

Об этом я думаю более или менее постоянно, а теперь, перед встречей с Игорем, мысли мои обретают вполне определенное направление.

Чего ему больше всего не хватает?

Насколько я могу судить, направленности. Мальчишка отчетливо знает, чего он не хочет, что ему не нравится, но у него нет сколько-нибудь точного представления о том, чего он хочет, чего добивается в жизни.

Его воспитывал хороший отец, его воспитывает хорошая мать, им занимается школа, а учится парень с пятого на десятое, недобр, агрессивен. Наверное, он не вдруг сошел с рельсов, наверное, были тому причины. Какие? Этого я, увы, не знаю, а чтобы лечить болезнь, любую — самую серьезную или самую пустячную — надо прежде всего понять, откуда она взялась.

На этом размышления мои оборвались. Приехал Игорь.

На нем была синяя куртка, расклешенные светлые брюки, замшевые туфли. Ну просто мальчик из модного журнала.

— Здравствуйте, — сказал Игорь, — я тут захватил, — и он подал мне конверт, в котором оказалось ~~шесть~~ десятка полтора

красивых марок, больших и ярких, как заграничные бутылочные этикетки.

— Зачем, Игорь? Я же не собираю.

— Но вы сказали, что привезли с полюса для друзей, может, и эти кому-нибудь пригодятся.

— Запомнил. Ну хорошо! Спасибо.

Мы вошли в комнату, Игорь огляделся. С мальчишеской непосредственностью он рассматривал мои «трофеи» — кокосовый орех, привезенный из Малайзии, модели самолетов, подаренные ребятами, коллекцию авиационных значков, но больше всего его заинтересовал аэрофлотовский билет Тикси — Северный полюс.

— Это вот так запросто билет на СП выписывают?

— Не совсем запросто, но выписывают.

— Интересно! А на полюсе здорово?

— Как сказать — работают люди, привыкают, теперь не то что раньше, но все равно льды остаются льдами, и подвижки подвижками, и полярная ночь не стала короче, и трещины... Словом, трудно.

И тут полярная тема оборвалась: в дверь зазвонили частыми короткими звонками. Так, поднимая тревогу, является в дом только моя дочь.

Тане двадцать три года, она закончила университет, второй год замужем, но все, кто видит ее впервые, спрашивают: «Девочка, а ты в каком классе учишься?» Сначала она огорчалась своему невозможно щенячьему виду, потом привыкла и великолепно научилась разыгрывать и мистифицировать мало или вовсе незнакомых людей.

— Гость? — спросила Татьяна, едва войдя в комнату. — Петелин? Дяди Пети сын. — Она бросила в кресло красную защитную каску, подошла к Игорю, обняла его и бесцеремонно чмокнула в щеку. — Давно бы пора приехать! Я про тебя сто лет слышу. — И ко мне: — Не помешала?

— Не помешала. Только почему такой вид, будто за тобой собаки гнались, — сказал я, — что случилось?

— Ничего не случилось, но обязательно случится, если ты не дашь мне двадцать пять рублей до пятнадцатого.

— Не понимаю.

— Надо хватать резину, а Вадька истратил все деньги на свои полупроводники. Понял?

— Понял, — сказал я, — сядь, чаю попьем, никуда резина не денется.

— Вот именно денется, разберут. Давай лучше так: мы с Игорем скатаем сейчас в магазин и быстренько вернемся. Поедешь? А то одной две покрышки не довезти...

И ребят словно ветром выдуло.

Вот так и оборвалась моя тщательно продуманная педагогическая атака.

Татьяна вернулась через полчаса без покрышек и без Игоря. Я встревожился.

— Надо же так нарваться! Только от магазина отъехали, свистит...

— Кто свистит?

— Ну ясно кто, гаишник. Козыряет, улыбается, требует права. Даю. Почему пассажир без каски? Ну что говорить? Давай глазки строить, так и так, еле уговорила — права отдал, а Игорю говорит: «На вашем месте, чтобы не ставить под удар такую девушку, я бы довез покрышки на троллейбусе». Куда деваться? Я поехала, а он потащился на троллейбус. Сейчас явится. Симпатичный он парень.

— Кто?

— Петелин.

Потом мы сидели вдвоем. И разговор метался от одного предмета к другому. Татьяна со страстью доказывала, какими преимуществами обладает мотоцикл «Ява» перед всеми прочими видами колесного транспорта. Игорь просвещал нас в области хоккея с шайбой и всячески издевался над спортивными комментаторами, которые, на его взгляд, двух слов связать не умеют и несут такую чепуху, что понимающему человеку делается просто тошно. Мне не оставалось ничего другого, как, придерживаясь общего тона, рассказать ребятам о своем увлечении — авиационных значках и географических картах, собирать которые я не устаю уже много лет...

— А хоккей ты только смотришь или сам играешь? — спросила Татьяна.

— Больше смотрю; играю, конечно, но так — во дворе с ребятами.

— Несерьезно. Хочешь, в спортивную школу устрою? — предложила Татьяна.

— В какую?

— В «Крылышки» могу. У меня там муж — деятель...

— Кто-кто? — вытаращил глаза Игорь.

— Муж. Деятель на общественных началах. Не понимаешь?

— А лет тебе сколько?

— Через семьдесят семь годиков будет сто.

— Врать-то!

Татьяна вскочила со стула и сгребла Игоря в охапку.

— Я тебе дам — врать! Замужней женщине хамить?!

Они возились азартно и истово. Ну совершеннейшие щенки, вырвавшиеся на свободу.

— Танька, — прикрикнул я в конце концов, — перестань терроризировать человека!

— Никто никого не терроризирует, — задыхаясь, едва выговорила она, — просто я бужу в нем зверя!

Они перестали кататься по ковру, поднялись, встрепанные, красные, совершенно довольные друг другом.

Татьяна поглядела на часы, присвистнула и умчалась.

Вскоре уехал и Игорь. Увез полюсные спецгашения. А про карту Пепе, про тот самый сталинградский лист, хотел вручить его Петелину-младшему, я позабыл.

«Ну ничего, не в последний раз виделись, — подумал я, — может, и лучше, что не отдал...»

ВНИМАНИЕ — ПОВОРОТ!

Во время большой перемены к Игорю подошел Саша Зарудный. Никакой «должности» Саша не занимал — ни старостой, ни председателем совета отряда не был, но уважением пользовался. Учился хорошо, ровно, без бурных взлетов и скандальных падений, но что, пожалуй, импонировало ребятам еще больше — Саша был гимнастом-разрядником и его два или даже три раза показывали по телевизору. Несмотря на это, Зарудный никогда не хвастался, не «выставлялся» и ни с кем не ссорился.*

— Слушай, Петелин, меня завуч вызывала, велела с тобой поговорить.

— Раз велела, говори, а я буду слушать.

— Ты же понимаешь...

— Понимаю. И что?

— Ты не злишь, мне велели, я говорю. На педсовете тебя воспитывать собираются, на кой это тебе надо?

— А чего меня воспитывать? На второй год оставлять самим невыгодно. Они оставят, я из школы уйду, тут же уйду, Сашка. А второгодник на их шее все равно будет числиться... Я думаю, порычат, порычат, насуют троек и отпустят. Белле я говорил — дайте бумажку, я с осени в суворовское перейду...

— Все равно подтянуться надо. Хоть покажи, что стараешься... Если хочешь, помогу... позанимаемся вместе...

Тут к ребятам подлетел Синюхин и сообщил:

— Русского не будет. Русачка не пришла! Об чем толкуем?

— Да так, — сказал Зарудный, — про жизнь.

— Учишь его?..

— Я не классный, чего мне учить.

— Правильно, нечего. Белла Борисовна говорила: «Петелин испорченный мальчик, ему никакие слова уже не помогут, только ежовые рукавицы», — похоже подражая голосу завуча, сказал Гарька.

— Тебе, что ли, говорила? — спросил Игорь.

— Не мне, но разведка доложила точно...

Звонок оборвал разговор, и ребята пошли в класс.

Действительно, преподавательница русского языка и лите-

ратуры на урок не пришла, вместо нее в классе появилась завуч.

— Сидите, пожалуйста, — сказала Белла Борисовна, — и приготовьте по двойному листу чистой бумаги. Напишем небольшое сочинение. — Она взяла мел и ровными буквами вывела на доске:

«Тема классного сочинения: «Что меня радует и что огорчает в нашей семье».

Выждав с минуту, Белла Борисовна сказала:

— Пишите коротко, конкретно, стараясь четко мотивировать каждую мысль. Многие из вас, и довольно часто, выражают недовольство взрослыми, так сказать, вообще, бездоказательно, постарайтесь на этот раз быть предельно убедительными и объективными. Начинайте.

Игорь долго сидел над чистым листом бумаги и ничего не писал. Нестройные мысли, словно гонимые ветром облака, проплывали у него в голове. Когда разбился отец, все жалели Игоря. Дома, во дворе, в школе. Долгое время его не вызывали к доске. Ребятам — это он сам слышал — добрая Марина Макаровна говорила: «Не дразните Игоря, дети, у него большое горе...»

И правда, его не только не дразнили, но вообще старались не затрагивать. Не сторонились, нет, но и не звали играть, как-то обходили.

Сначала он надеялся, что отец еще вернется. И ждал. Потом перестал ждать и потянулся к ребятам. А те...

— Почему ты не пишешь, Петелин? — услышал Игорь шепот Беллы Борисовны, медленно ходившей по классу и остановившейся у его парты.

— Думаю, — сказал Игорь.

— Время, время идет, Петелин, — и она поплыла дальше.

Первый настоящий скандал произошел в шестом. Физик Шалва Абессаломович (ребята прозвали его Шабашка), оставившись перед Игорем, спросил:

— Ты зачем пальцы ломаешь? — Игорь действительно хрустел пальцами.

— Так просто.

— Просто так ничего не бывает. У меня был друг, тоже вот ломал, ломал пальцы и в психбольницу попал. Что скажешь?

— Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, — не задумываясь, брякнул Игорь.

На секунду класс замер, а потом восторженно заревел. Надо отдать справедливость Шабашке, он смеялся вместе со всеми, и никакого скандала не случилось бы, если б не дура Райка Бабурова. Она наслетничала матери, а та примчалась в школу, и «на ковер» к директору попали оба (правда, не

вместе, а врозь) — сначала Шалва Абессаломович, потом Игорь. Директорскую отповедь Игорь перенес спокойно и скоро забыл, а вот восхищенный гул класса никак не покидал головы. И через некоторое время Петелин отличился снова. А потом еще и еще...

Через год к нему приклеили ярлык: «Этот невозможный Петелин...»

— Осталось десять минут, — громко сказал Белла Борисовна, — заканчивайте.

Игорь востропел. Быстро написал: «Что меня радует и что меня огорчает в нашей семье». Подчеркнул волнистой линией название и, пропустив две строчки, вывел: «А вам какое дело?..»

Вернувшись в свой кабинет, Белла Борисовна, взглянув на работу Игоря, увидела единственную строчку и замерла. Это было уже слишком.

Завуч позвонила на квартиру Петелина.

— Слушаю, — услышала она низкий мужской голос.

— Квартира Петелиных?

— Да-а.

— С вами говорит заведующая учебной частью, меня зовут Белла Борисовна, я бы хотела повидать кого-нибудь из родителей Игоря.

— Что-нибудь случилось?

— В том смысле, в котором вы предполагаете, ничего не случилось. Игорь жив, здоров и невредим. Но мне необходимо с вами весьма серьезно и желательно не откладывая поговорить.

— Хорошо, через полчаса приеду.

Галины Михайловны дома не было, и Каричу волей-неволей пришлось отправиться в школу.

Белла Борисовна со вниманием посмотрела на плотного широкоплечего мужчину, вошедшего в ее кабинет, отметила: рука перебинтована, на лице шрам, взгляд напряженный и, едва кивнув, спросила:

— Петелин-старший?

— Карич, но я как раз тот, кто вам нужен.

— Не понимаю.

— Петр Максимович Петелин погиб пять лет назад, я муж Галины Михайловны Петелиной.

Испытывая неприятное чувство неловкости, Белла Борисовна сказала первое, что ей пришло в голову:

— Стало быть, вы отчим Игоря Петелина?

— Если вам угодно называть меня отчимом, пожалуйста.

Неловкость не исчезла, напротив, усилилась. Карич стоял и выжидательно разглядывал завуча.

Перед ним была полная, добродушного вида женщина с роскошной прической из черных блестящих волос. Большие очки в тонкой металлической оправе не портили ее свежего лица. Очки, правда, маскировали выражение глаз...

— Садитесь, пожалуйста, и, простите, как ваше имя-отчество?

— Валерий Васильевич.

— Не удивляйтесь, Валерий Васильевич, в городке и в этой школе я человек новый, поэтому еще не успела узнать всех учеников. Вы меня понимаете?

— Понимаю.

— Вероятно, вы в курсе дела: успехи Игоря оставляют желать лучшего. До конца года времени остается совсем немного, надо что-то делать. И нам и вам вместе. С неделю назад я имела весьма неприятный разговор с Игорем, он был дерзок, вызывающе груб... словом, того разговора было достаточно, чтобы поставить вопрос на педсовете. Но я воздержалась. И вот сегодня... Впрочем, убедитесь сами. — И Белла Борисовна протянула Каричу классную работу Игоря.

Валерий Васильевич прищурился и, отведя листок далеко от глаз, прочел. Видимо, прочитанное не возмутило и даже не очень удивило его, во всяком случае, он совершенно спокойно положил листок на стол и ничего не сказал.

«Странный человек, — подумала Белла Борисовна, — и странное выражение лица у него. Интересно, почему рука забинтована, почему шрам?» Но спросила о другом:

— Так что вы можете сказать?

— По форме хамство, конечно...

— А по существу?

— К сожалению, по существу он совершенно прав.

— Не понимаю, Валерий Васильевич.

— Чего ж тут непонятного. Разве я могу позволить спросить у вас, довольны ли вы своей свекровью? Часто ли изменяет вам муж? Не могу. Так почему же школа может лезть в интимную жизнь ученика? Вы будете обсуждать эти сочинения в классе?

— В классе мы ничего обсуждать не собирались, но знать о жизни своих воспитанников — наша обязанность, какое воспитание вслепую?..

— И вы серьезно думаете, что они вам правду напишут? Вот так возьмут и душу наизнанку вывернут? Сомневаюсь. Такое, миленькая моя, заслужить надо...

«Миленькая моя» неприятно резануло слух, но Белла Борисовна сдержалась и сказала самым миролюбивым тоном:

— Хотя наш разговор и смещается в область чисто теоретическую, я не стану уходить от него. Вот послушайте. — Она достала с полки какую-то книгу, открыла в заложенном месте и громко прочитала: — «Педагогическая мораль советского учителя представляет собой динамическую систему нравственных

требований, выступающих и как результат обобщения педагогических фактов в нравственном сознании, и как исходный пункт дальнейшего их осмысления». Понимаете? Мы обязаны осмысливать каждый педагогический факт...

— То, что вы прочли, я не понимаю. И вы скорее всего, извините, не понимаете. Это наукообразный набор бессмысленных слов. А что факты нужно осмысливать, верно. Давайте попытаемся осмыслить вместе. В третьем классе Игорь как учился?

— Этих сведений у меня под рукой нет.

— Какой может быть анализ без фактов первоочередной важности? Ну ладно, я скажу: хорошо учился. В четвертом? Нормально. Но тут в жизни мальчишки произошла драма — погиб отец, которого он любил, которым очень гордился. Да и мудро ли — Петелин был одним из популярнейших испытателей в стране. Дальше. Игоря зажалели: бедняжка, сиротинушка, почти не вызывали к доске, чтобы не травмировать, ребяташкам не давали пальцем его тронуть и... перестарались. Он был в классе и вне класса. Вот где корень его художеств!

— Позвольте, Валерий Васильевич, но если вы все так отчетливо представляете, если вы так мастерски делаете свой педагогический анализ, разрешите спросить: а где же вы были?

— Я далеко. В эту семью я пришел год назад. Чего ж вы молчите? Вам неловко? Правильно! — И Валерий Васильевич замолчал.

Нервная и чувствуя, что теряет почву под ногами, Белла Борисовна спросила:

— Что вы предлагаете?

— Вам? Пересмотреть свою учительскую позицию, подумать на досуге, любите ли вы детей и почему они вас не очень обожают. А что касается Игоря, из этой школы я его при всех обстоятельствах заберу. Лучший вариант — он заканчивает восьмилетку и мирно уходит. Худший — вы оставляете его на второй год, но и в таком случае он здесь учиться не будет.

И снова наступило молчание. На этот раз молчание затянулось.

— Простите, Валерий Васильевич, могу ли я спросить, чем вы занимаетесь?

— Вас профессия моя или должность интересует?

— Скажем, профессия.

— Шофер.

— Как? Просто шофер?

— Мастер спорта.

— А должность, если не секрет?

— Старший инженер экспериментального цеха.

— Я как-то не понимаю: шофер или инженер?

— Почему ж «или»? Не «или» — «и». Начинал шофером на фронте. Кстати, этот шрам, — он провел рукой по виску, — оттуда, а не по пьяному делу, как, вероятно, вы предположили;

потом механиком работал, на гонках выступал, испытывал новые автомобили, закончил институт, стал работать в экспериментальном цехе, занимаюсь главным образом спортивными машинами, последние годы не выступаю — староват, молодых тренирую.

— Вы, должно быть, очень смелый и уверенный в себе человек? — возможно непринужденной произнесла Белла Борисовна и не без кокетства поглядела на своего собеседника.

— Не знаю. Со стороны виднее.

— Во всяком случае, сегодня я получила серьезный урок. Говорю это без удовольствия, но честно. Спасибо.

— Пожалуйста. Если на пользу дела пойдет, буду рад.

На этом они расстались.

Валерий Васильевич вышел на улицу и медленно побрел домой.

А Белла Борисовна долго еще сидела в своем кабинете и никак не могла собраться с мыслями.

Глаза ее механически скользили по строчкам ученой книжки, которую она давеча достала, чтобы поставить на место этого странного родителя; она читала и не понимала, что читает: «Компонентами педагогического труда являются не только собственная педагогическая деятельность, но и деятельность по организации всех субъектов педагогического процесса, стимулирование этой деятельности и регулирование всех противоречий, которые возникают».

Вернувшись домой, Валерий Васильевич не спеша обошел пустую квартиру и заглянул в комнату Ирины и Игоря, чего обыкновенно никогда не делал. На глаза попала аккуратная, перегнутая пополам, словно палатка, карточка. Почерком Ирины было написано: **«У каждого в жизни бывают ошибки, которые никогда и ничем не исправишь». Стефан Цвейг.**

«Странно, — подумал Кариш, — к чему бы она это написала и для чего выставила на окошко?»

Слова Цвейга дали новое направление мысли.

Больше года он живет в этом доме и все это время старался не давить на Игоря, не вмешиваться в его дела активно. Так не совершил ли он ту самую ошибку, которую теперь ничем уже не исправить? Только что он высказал Белле Борисовне, этой внешне вполне привлекательной, но, видимо, черствой и далекой от педагогики женщине все, что думал о ее работе. Не раньше ли это надо было сделать?

Кариш выглянул в окно, увидел голые ветви деревьев, гомоящих воробьев на протаявшем пятачке бурой земли, и в памяти, казалось, безо всякой связи с предыдущим возникла картина совсем других снегов.

Семнадцатилетним тощим пареньком, только что закончив курсы военных шоферов-добровольцев, он прибыл в действующую

щую армию, не успел толком оглядеться, не успел еще ничего понять, как его вызвал комбат:

— Бери газон, Карич, поедешь следом за старшиной Валуйко. Вот здесь, — он показал на карте, — опрокинулись две санитарки, надо забрать раненых и доставить в госпиталь. Ясно?

— Так точно, — совершенно механически ответил он, — ясно.

— И аккуратнее давай, дорога, сам понимаешь...

Старшина Валуйко, степенный пожилой мужчина, вполне годившийся Каричу в отцы, взглянул на него неодобрительно, впрочем, может быть, это только показалось молодому солдату, и сказал:

— Дорогу хорошенько запоминай, если меня шарахнет, чтобы сам мог вернуться.

«Если его может шарахнуть, то и меня», — подумал Карич и испугался, как бы суровый старшина не угадал его мысли.

До назначенного места они добрались благополучно.

Вид раненых произвел на Карича совершенно оглушающее впечатление. Истерзанные люди, грязные повязки, переполненные тоской глаза — ничего подобного он в жизни еще не видел. Погрузились быстро и поехали назад.

Карич вел машину, стараясь не дергать, и каждый раз, когда газон все-таки встряхивало, а на такой дороге иначе и не могло быть, Карич весь покрывался липкой испариной.

Где-то на половине пути сверху, из кузова, застучали кулаком по кабине, он решил, что сопровождающий раненых боец выражает недовольство — дескать, чего трясешь! — и поехал тише. Потом выяснилось: санитар требовал остановиться — над дорогой пронеслась пара «мессеров», угрожая обстрелом. Но Карич не понял сигнала и продолжал ехать.

За поворотом он увидел стоящую машину Валуйко и снова не понял, что того подбили. Осторожно объехав полуторку старшины, едва не угодив в залитый водой и забитый снегом глубокий кювет, Карич благополучно добрался до расположения своей части.

Старший лейтенант, комбат, объявил Каричу благодарность. Он ответил: «Служу Советскому Союзу», а сам удивился: за что его благодарят?..

Нет, первый урок, преподнесенный войной, был уроком сострадания к раненым.

И еще он думал о том, как его воспитывал собственный отец, молчаливый, рано состарившийся человек. Много ли слов он произносил, вел ли душевные беседы с сыном? Нет. Чем же он брал, почему его уважали и беспрекословно слушались дети?

Отец всегда работал. Возился в огороде, когда был не на заводе, пилил и колол дрова, починял что-то в доме, ставил набойки на стоптанные ребячьи башмаки, помогал соседям, и все

это несуетливо, споро, улычиво. В доме отца невозможно было лениться, невозможно было, размахивая руками, произносить обличительные речи, ну просто потому, что никто так не делал...

Карич поглядел на часы и пошел в кухню. Зажег газ, поставил на конфорку кастрюлю с супом, на другую чайник.

В дверь позвонили.

Явился из школы Игорь.

— Хорошо, что вы дома, — то я ключ забыл.

— Здравствуй, — сказал Карич, — бывает. Еда на кухне греется.

Через несколько минут Валерий Васильевич появился в кухне, посмотрел, как проголодавшийся Игорь с удовольствием ест суп, и молча достал тарелку из шкафа себе.

Они сидели друг против друга и обедали... Покончив с едой, Игорь поставил свою тарелку в раковину.

— Я сегодня в школе был, — сказал Карич.

— Чего это вас потянуло? — стараясь придать голосу полное безразличие, спросил Игорь.

— Завуч позвонила, потребовала явиться.

— Очень интересно.

— Белла Борисовна показала мне твое сегодняшнее произведение...

— Понравилось?

— Как сказать. Откровенное хамство, конечно, но в основе своей верно.

Такого Игорь никак не ожидал и растерялся. Даже присел на краешек табурета и заинтересованно посмотрел на Валерия Васильевича.

— Но дело не в этом. Дальше что будет?

— А ничего особенного. Кончу восьмой и махну в суворовское.

— Как же ты кончишь, когда у тебя хвостов на целое стадо хватит. Могут ведь и не дать бумаги.

— Дадут! Их тоже, между прочим, за второгодников будь здоров как регулируют!

— Допустим, получится по-твоему, но на какие отметки, на какой средний балл ты можешь рассчитывать?

— Тройка с небольшим будет.

— Положим. А кто тебя в суворовское с такими достижениями возьмет? Боюсь, ничего не выйдет.

Чтобы как-то переменить разговор и избавиться от натиска Карича, Игорь спросил:

— А ей вы что сказали?

— Кому — ей?

— Ну Белле Борисовне.

— Сказал, что по форме сочинение считаю чисто хамским, а по существу правильным...

— Ну да?! Так прямо и сказанули?

— Да, и еще сказал: Петелин будет заниматься оставшееся время как зверь и законно сдаст все, что полагается. После этого из школы он уйдет, но не побитым, а по собственному желанию.

— А она?

— Спросила, откуда у меня такая уверенность, во-первых; и почему я раньше не обеспечил соответствующее положение вещей, во-вторых.

— А ты? — не заметив, как сорвался на «ты», спросил Игорь.

— Я сказал, Петелин не допустит, чтобы на него весь городок пальцем показывал, тем более что в этом городке есть улица Петелина и каждый знает, почему она так называется. Ну а во-вторых, признал — за то, что раньше не вмешался, виноват.

Они помолчали. И Валерий Васильевич снова спросил:

— Так что будем делать?

— Не знаю.

— Придется заниматься. Помощь требуется, наладим. И тактику надо особую применить.

— Какую тактику? — спросил Игорь.

— С завтрашнего дня ты, как разведчик в тылу противника, уходишь в глубокое подполье. Тише воды, ниже травы! Ни одной выходки, ни одного грубого слова. Все, что тебе охота Белле Борисовне сказать, скажешь... но потом, когда получишь аттестат. Ясно? Пусть думают, что зверь-отчим из тебя половину мозгов вытряс. Плевать! Пусть жалеют тебя и выжидают, а ты делаешь за время передышки невиданные успехи. Сможешь, значит, человек, значит, в отца. Не сможешь, — и Валерий Васильевич развел руками. — Матери пока ничего не говори. С сердцем у нее неважно. Поехала кардиограмму делать.

Валерий Васильевич поднялся с места и стал собирать посуду.

— Не надо, — сказал Игорь, — одной рукой плохо мыть, я сам.

— Спасибо. — И Карич ушел с кухни.

Игорь гремел тарелками и старался понять, что же такое он услышал сейчас от Валерия Васильевича, почему он не может по своему обыкновению хмыкнуть, подернуть плечом и беззаботно пропеть: «А просто так удачи не бывают, а просто так победы не придут, и самолеты сами не летают, и пароходы сами не плывут». И, к своему великому изумлению, он вдруг обнаружил, что песенка эта имеет не только полюбившийся ему мотив, но еще и слова.

В последующие дни произошли два телефонных разговора, каждый из которых должен был подготовить весьма важное событие.

- Таня, это ты?
- Я. А кто говорит?
- Не узнаешь?
- Пока не узнаю.
- А ты постарайся...
- Послушайте, если у вас дело, пожалуйста, а если нет, спокойной ночи...
- Таня, это я, Игорь.
- Привет! Не узнала. Как дела, Игорястый?
- В полоску.
- В голубую или розовую?
- Не-е, в серую.
- Что так?
- В школе и дома тоже...
- Ругают?
- Да как сказать. Вообще-то не ругают, но воздействуют.
- Хочешь сбежать? В Австралию или на БАМ?
- Не-е. Seriously. Приехать к тебе можно, поговорить бы надо.
- Пожалуйста, приезжай. В воскресенье с утра давай. И Вадька дома будет. Договорились?
- Договорились. Только отцу своему не говори, ладно?
- Секреты, что ли?
- Какие там секреты, просто ты ему, он матери... А у нее сердце...

Другой разговор.

- Алексей? Здравствуй, Алеша. Это я.
- Здравствуй, папа, давно ты голоса не подавал...
- Я тоже давненько тебя не слышал. Как дела?
- Обыкновенно. Должен был в командировку ехать, но все лопнуло. Залесского помнишь? Так он сам решил ехать. Кому не охота на три месяца в Бельгию закатиться? Но на каком он языке объясняться будет, не могу понять...
- Это хорошо...
- Что именно?
- Личный у меня интерес, Алешка. Хорошо, что ты не уезжаешь сейчас. Ты мне нужен.
- По каким тэу?
- Технические условия будут поставлены не по телефону. В воскресенье утречком не можешь ко мне приехать?
- Куда к тебе?
- Домой.
- Если это удобно, почему не могу? Могу. Даже интересно.
- Хорошо. Спасибо и запиши адрес...

Когда утром в воскресенье Игорь вышел из дому, направляясь к автобусу, навстречу ему попался незнакомый молодой мужчина в коротком кожаном пальто, с упакованными в целлофан гвоздиками.

— Этот корпус третий? — спросил он у Игоря.

— Третий.

— А двадцать пятая квартира в каком подъезде будет?

Двадцать пятая квартира была их квартирой. Мужчину Игорь никогда прежде не видел и посмотрел на него внимательнее. Чем-то — может, открытостью лица, а может, сдержанно-модной экипировкой — он ему понравился, но тем не менее, не выдавая своей причастности к двадцать пятой квартире, Игорь сказал коротко:

— Средний подъезд, третий этаж, — и отправился дальше.

Через час с небольшим он был у Тани. И Таня и ее муж Вадим, которого Игорь увидел впервые, приняли парня приветливо. Сначала он, как говорится, больше бекал и мекал, но в конце концов, преодолев смущение, довольно связно объяснил, что в школе цейтнот и самому из этого цейтнота ему ни за что не выбраться и вот просьба:

— Помогите нахвататься по физике.

— А заниматься будешь? — спросил Вадим.

— Так куда деваться, придется, — сказал Игорь.

Тогда Таня и Вадим подвергли его перекрестному допросу с пристрастием, допрос этот продолжался с полчаса, после чего Вадим заключил:

— Умственные способности у тебя, парень, вполне нормальные, но ералаш и туман в голове просто великолепные. — Тут он достал с полки какую-то книгу в затейливом переплете и спросил: — Видел когда-нибудь этот труд?

— Не видел.

— Перевод с английского. Не учебник, а книга для любознательных. Формул мало, все задачи в конце каждой главы имеют не только ответы, но и подробные, с разъяснениями решения. Возьми с собой. Читай. Только каждый день читай! В следующее воскресенье Татьяна тебя спросит, чего не понял, объяснит, потом мы с тобой порешаем задачи.

Ребята оставляли Игоря у себя, предлагали взять его на стадион, а пока есть время, послушать новые магнитофонные записи, но Игорь заторопился домой.

Хотя он ни разу не вспомнил мужчину с гвоздиками, любопытство не исчезло и тихонечко нашептывало Игорю: надо ехать, надо ехать, надо...

Дома он застал полный сбор: мать, Ирина, Валерий Васильевич и тот самый — с гвоздиками, как мысленно называл его Игорь, — сидели перед телевизором. Цветы стояли в вазе.

— Знакомьтесь, — сказала мать и показала глазами на гостя.

— Алексей.

— Игорь.
— А я тебя сразу узнал.
— Я тоже. Вы у меня утром спросили...
— Можно «ты»... Мы ведь теперь вроде родственники...

Только тут до Игоря дошло: Алексей — сын Валерия Васильевича. Вот почему еще утром ему показалось, что он ко-го-то напоминает.

— Слушай, Игорь, я из-за тебя задержался, поговорить надо, — сказал Алексей, — если не возражаешь, выйдем.

Они перешли в другую комнату, и Алексей начал прямо с дела:

— Отец просил меня с тобой позаниматься. Говорит, надо натаскать к экзаменам. Я не против, а ты?

Игорь слушал только что обретенного родственника без энтузиазма, старался найти в нем что-нибудь неприятное, отталкивающее, но не находил. Алексей ему скорее нравился. Простой, приветливый...

— Ты не смотри на меня волком, — сказал Алеша. — В конце концов, кто из нас пострадавший?

— Как пострадавший? — не понял Игорь.

— А очень просто: отец ушел от моей матери к твоей, кому же быть в обиде? Скорее уж мне, чем тебе...

— Между прочим, я его не просил! — обозлился Игорь.

— Я тоже. Это их дело! И мы не в том возрасте, чтобы не понимать, почему люди расходятся, пережениваются...

— А тебе сколько? — спросил Игорь.

— Много. Двадцать один.

— И что ты делаешь?

— Кончил техникум, кончил курсы английского, работаю на монтаже электронно-вычислительных машин.

— А в институт почему не поступил?

— По моим школьным успехам не то что в институт, в техникум только по-пластунски можно было проползти.

Игорь хмыкнул:

— Как же ты меня учить будешь?

— Теперь я жутко умный стал. Теперь я запросто бы в институт поступил. — И, захватывая инициативу разговора, сказал: — Я, когда в техникум попал, на первом же занятии по математике — потешный старичок у нас преподавал, сухой, как листик, и бородка козлиная — подумал: в жизни мне не кончить, гонит, только брызги летят, ничего не понимаю. Потом стою в коридоре, подходит ко мне этот козлик и говорит: «Вы, молодой человек, не отчаивайтесь, главное, поверить в свои способности». — «А может, я полный дуб?» — говорю. «Хотите, мы это сейчас установим?» — это он. «А можете?» — «Вполне, — говорит, — могу». И задает задачу: два разведчика подошли к реке, мост взорван, река глубокая. У берега плотик. На плотике два пацана. Плотик выдерживает или одного раз-

ведчика, или двух пацанов. Ясно? Смогли ли солдаты переправиться на другой берег и если да, то как?

Пока Алексей рассказывал, Игорь живо представил себе берег незнакомой реки, и разведчиков в маскировочных плащ-накидках, и перепугавшихся при их появлении ребятишек. Все это увиделось ему с чрезвычайной ясностью.

— Ты слушаешь? — спросил Алеша.

— Слушаю.

— Поднатужившись, я задачу решил. Тут козлик и говорит: «Раз вы эту задачку решили, значит, соображаете. И даже вполне. А с рассеянностью будем бороться и лень выколачивать. Идет?» Промычал я что-то вроде: постараюсь или попробую, а он как закричит: «Никаких проб. К черту! Работать надо!» И гонял меня жуткое дело.

— А ты еще какой-нибудь задачи не знаешь? — спросил Игорь. — Ну-у для проверки — может человек или не может?

— Знаю. Пожалуйста: на столе лежат яблоки, если к ним прибавить еще столько, еще полстолько, еще четверть столько и одно, тогда будет сто яблок. Сколько яблок на столе?

— Так тут уравнение надо составлять.

— Не надо.

Игорь делает усилие, представляет кучу ярких, краснобоких яблок и перебирает в уме цифры. При этом он рассуждает вслух:

— Тридцать — мало: тридцать и тридцать шестьдесят, и пятнадцать — семьдесят пять, и потом тридцать на четыре не делится... Сорок много...

Алексей не подгоняет его, молча рассматривает портрет Петелина-старшего на стене. Ждет.

— Тридцать шесть! — говорит Игорь.

— Правильно. Вот видишь, можешь. У тебя задачник есть?

— Есть.

— Дай-ка сюда.

И Алексей очеркивает красным карандашом начиная с самого первого раздела по пять последних задач каждого параграфа.

— Вот этих пять, этих, еще этих, этих и этих... — быстро перелистывает странички, — и этих, и этих... отсюда десять! Идем на прорыв — сто тридцать задачек решаешь за эту неделю...

— Сколько-сколько?

— А чего особенного, задачки на повторение, легкие. Три минуты на задачку, сто тридцать штук — триста девяносто минут — семь с половиной часов, делим на семь — час с хвостиком в день. Ерунда! Зато после такого разгона знаешь как у нас дело пойдет. Будь здоров! В воскресенье приеду...

— Только не в воскресенье. В воскресенье я не смогу... Договорился, понимаешь, уже...

— С девчонкой, что ли, договорился?

— Вообще-то она замужем...

— Ну ты даешь! Так что будем делать: учиться или жениться?

В комнату входит Ирина.

— Мальчики, ужинать!

Внешне ужин проходит самым обыкновенным образом: Валерий Васильевич почти не разговаривает, Галина Михайловна суетится чуть больше, чем всегда, Ирина старается вести примирительно-успокаивающую партию самым незаметным образом, Игорь сдержанно злится: ему не нравится подчеркнутое внимание матери к Алексею, его раздражает Ирина, он старается не смотреть на Валерия Васильевича. А в голове возникает вдруг картина: река, разведчик и перепуганные пацаны. Сам того не ожидая, он говорит:

— Знаю. Сначала пацаны должны перегнуть плотик на другой берег, потом один — вернуться, тогда солдат поплывет, потом другой пацан опять перегонит плотик, и второй солдат тоже переедет...

— Правильно, — говорит Алеша, — я же сказал: соображаешь!

Взрослые в недоумении смотрят на Игоря.

— Вот, я уже заговариваюсь. Замечаете? А что будет, когда я решу все задачи и начитаюсь английской физики Танькиного мужа? В атаку! — запыленно кричит Игорь. — Ура! — И, выскочив из-за стола, убегает во двор.

Темно, прохладно, между соседними корпусами зависла чистая, окруженная легким дымным диском луна. Звезд почти не видно. Откуда-то со стороны гаражей доносятся тревожные кошачьи голоса.

Игорь вышагивает по двору, пытаясь собраться, взять себя в руки. Если говорить честно, совсем честно, злиться решительно не на кого: что может быть более естественного, чем появление Алексея в их доме? Почему бы Валерию Васильевичу не иметь сына? И ничего плохого Алексей Игорю не сказал, наоборот, предложил помощь; пусть не сам придумал, пусть по просьбе своего отца, но откуда бы ему иначе знать о существовании Игоря, о его неприятностях? Мать старалась понравиться Алексею... Пожалуй, это самое неприятное... а как ей было себя вести? Вавасич — муж, и ей охота, чтобы он был доволен...

Наплевать бы на все и сбежать отсюда. Сбежать, а они пусть жалеют его, переживают и думают о нем. Только куда сбежишь? Обидно, но Вавасич прав — без бумажки об окончании восьмого класса на работу не возьмут и в суворовское не примут.

Кончать надо. Да и не дурее он Райки Бабуровой или Гарьки Синюхина... Неохота...

Надо и неохота — главное противоречие всей его жизни!

Он и раньше знал — не будешь делать уроки, засыплешь

ся. Но торчать у стола, напрягать мозги и думать про то, что написано в книжке, вместо того, чтобы смотреть хоккей по телевизору, неохота было.

Он и раньше понимал — нахамишь классной, она от этого лучше относиться не станет. Надо сдерживаться, не распускать язык. Но почему-то язык всегда оказывался сильнее своего хозяина...

Игорь не из тех, кто склонен к самокопанию и долгим угрызениям совести, но в этот лунный вечер на пустынном дворе он вдруг оказался в окружении собственных мыслей. В блокаде, в кольце...

Обыкновенно, когда ему надо было оправдать какой-нибудь неблагоприятный поступок, он не очень мучился. Скажем, шел на физику, не открыв дома книжку. В голову закрадывалась неприятная мысль: если спросят, от двойка не спасись. И тут же он успокаивал себя: как будто от того, что я просидел бы вчера хоть до двух ночи, что-нибудь могло измениться. Перед смертью не надышишься!

Или он хамил учительнице, хамил зря, просто потому, что его «несло». И тут же находил оправдание: а кто орал на меня прошлый раз? За что? За Гарьку — он пулънул в доску, а она подумала на меня. Как аукнется, так и откликнется.

Пословицы очень помогали Игорю жить, и он никогда не думал, что пользуется народной мудростью откровенно спекулятивно, выклеывая только те сентенции, афоризмы, поговорки, которые работают на него, и начисто забывая те, что звучат осуждающе...

Гарька появился, как всегда, неслышно, вроде бы ниоткуда. Он приблизился как бы на мягких кошачьих лапах и хмыкнул над самым Игоревым ухом:

— Прогуливаемся? Просто так или переживаем?

— Чего мне переживать?

— Мало ли, может, жених не нравится?

— Какой жених?

— Ну с цветочками. Видел, знаю!

— Чего ты знаешь?

— К Ирке сватается. Что, неправильно?

— Правильно-правильно. Ты всегда все самым первым узнаешь. У тебя нюх как у легавой...

— При чем легавая? Что я, собака...

— Ну ладно, это так, к слову.

— А он кто? — спрашивает Гарька и настораживается.

И тут в шальной Игровой голове что-то тренькает, что-то срывается с оси, и язык его, набирая фантастические обороты, идет в полную раскрутку:

— Не протреплешься? Только тебе, как другу, говорю. Лешка, ну этот, с цветами, он вообще-то моряк. В загранку плавал. И получилась у него история с таможней. Кое-чего привез, чтобы фарцонуть, да сыпанулся. Ему, бах, и срок дали;

ему бы сидеть и сидеть, но тут одно дело подвалило... словом, досрочное освобождение вышло...

— Какое дело подвалило?

— Боюсь, протрепleshься.

— За кого ты меня считаешь?

— Смотри! Трепанешь, голову оторву. Он на севере сидел, ясно? А там золото добывают. Наткнулся на самородок. Семь кило! По закону, кто больше пяти кило самородок находит и государству сдает, того сразу по чистой отпускают. И еще премию дают.

— Большую?

— Лешке пятьдесят семь тысяч с чем-то отвалили.

— Ирка ваша небось с ума сходит, какая довольная?

— Да не очень. Все-таки вроде уголовник. Она говорит: лучше бы меньше получил, но какую-нибудь другую премию — за музыку или за изобретение...

Гарька совершенно околдован беспардонным Игоревым враньем, он готов тут же нестись домой, чтобы сразить такой новостью мамашу. Он давно приметил — стоит принести ей чего-нибудь скандально-неожиданного, и мать делается такой доброй, такой уступчивой — только проси...

— Ну и что, согласилась Ирка?

— А черт их поймет! Вавасич уговаривает, мать плачет...

— Чего ж ты ушел, чего ж не дождался, чем дело кончится?

— Неохота их слушать. Все равно они без меня ничего решить не могут.

— Как не могут? Почему?

— Есть причина. Ирка еще отцу обещала без моего согласия замуж не выходить.

— А ты? Согласен?

— Не знаю, хожу, думаю...

— Я бы сразу согласился.

— Ты можешь сразу, а я не могу.

— Да соглашайся, не думай!

И Гарька исчезает так же бесшумно, как пять минут назад появился. Игорь смотрит в уменьшившееся лицо луны и мысленно говорит: «Во дурак! Поверил».



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НУЖЕН ХОРОШИЙ МАСТЕР

Николай Михайлович Балыков, директор училища металлистов, сидел в своем просторном серо-голубом кабинете и сосредоточенно глядел в одну точку. Точкой этой было заявление, лежавшее на директорском столе. Увы, заявление самое обычное, к глубокому огорчению Балыкова, оно не содержало в себе ничего нового:

«В связи с затруднительным семейным положением — рождением второго ребенка и болезнью жены, прошу освободить меня от занимаемой должности мастера вверенного вам профессионально-технического училища...»

Утром автор заявления — толковый человек и в прошлом ученик Николая Михайловича — заходил к директору и, стараясь не смотреть в глаза Балыкову, тихо говорил:

— Конечно, я понимаю, Николай Михайлович, подвожу вас... тем более учебный год к концу идет... Но и вы в мое положение войдите... Место сейчас в седьмом цехе освободилось, сколько они ждать согласятся? Неделю, ну десять дней... У них план... А я там против того, что здесь, вдвое зарабатую... Верно? Когда бы не ребенок, можно до лета повременить, а так...

— Агитируешь? Или я сам не знаю и не сочувствую тебе, или не хочу сделать, чтобы всем лучше было? Только и ты пойми: отпустить обязан, знаю, а кем тебя заменить? Кем? Резерва главного командования у меня нет и биржи труда тоже не существует... Кому твою группу передать, вот ведь в чем вопрос?

— Да у меня у самого душа за группу болит.

— Ладно. Ступай покуда к ребятам. Буду в завод звонить, попробую на отдел кадров нажать. Только ты мне нож к горлу не приставляй.

И Николай Михайлович, отпустив мастера, принялся звонить начальнику отдела кадров. И тот обстоятельно и весьма убедительно ругал его: это же черт знает что, до конца учебного года осталось совсем немного, могли бы и потерпеть...

А Балыков, словно ему надо было освободиться от нерадивого мастера, уговаривал кадровика:

— Ребенок у человека родился. Второй! Жена болеет. Должны мы в положение войти? Поддержать Фомина материально у меня возможностей нет, как же я могу его задерживать...

Теперь директор смотрел в одну точку и мучился сознанием своей беспомощности: не подписать заявления нельзя, ну задержать человека еще на каких-нибудь десять дней в его

власти, но что толку?.. Отпустить? А как оставить группу без мастера?

И вместо того чтобы наложить какую-нибудь резолюцию: освободить по собственному желанию или отказать — Николай Михайлович вызывал в памяти мастеров, с которыми ему пришлось иметь дело за долгие годы работы в училище.

Как всегда в затруднительных положениях, первым Балыков вспомнил Федора Семеновича Бубнова. Старик учил его еще перед войной. Никакой специальной педагогической подготовки Бубнов не имел. И все-таки не было мальчишки в училище, которого Семеныч не сумел бы поставить на путь истинный.

Малорослый, грузный, медлительный, он вошел в жизнь Николая Михайловича, когда подвел его, тонкошеего, хиленького парнишку, к токарному станку, закрепил в патроне прутки и, прежде чем включить мотор, распорядился:

— А ну, засекай время!

Плавно закрутился прутки, вот уже черно-рыжей его поверхности коснулся резец, вот побежала стружка, вот обозначились контуры фигурного валика; мастер остановил станок, смерил штангенциркулем диаметр, прошелся еще раз по блестящей поверхности готовой детали и спросил:

— Сколько?

— Две минуты и чуть-чуть, — сказал Балыков, стеснительно глядя на мастера.

— Сорок шесть копеек в кармане. Ясно?

Неискушенный в арифметических расчетах, ничего не слышавший об экономике, четырнадцатилетний Колька Балыков вычислил в тот же вечер, что, работая, как Федор Семенович, он смог бы зашибить тысячи три в месяц! Цифра эта ошеломила мальчишку, хотя по натуре он и не был жадным.

Собственно, не возможность разбогатеть произвела впечатление на Балыкова, нет, просто он впервые в жизни увидел, как «из ничего» добывается рубль. И то, что мастер делал это так невозможно и легко, на всю жизнь возвысило Бубнова над всеми.

Позже Федор Семенович преподавал Балыкову еще один памятный урок. В их группе учился паренек, успевший в жизни хлебнуть всякого лиха: и с милицией был знаком, и с воровской шайкой побратался, и в детской колонии побывал, словом, третий калач, по прозвищу Зуб.

Зуб курил, умел пить водку и ругался так, что едва ли самый заправский боцман старой школы мог бы выиграть у него соревнование, проводись подобные конкурсы на земле или на море.

Ребята побаивались Зуба, здоров он был необыкновенно, и, что греха таить, завидовали его отваге, независимости, ореолу героя, которыми он сам себя очень заботливо окружал. Однажды Бубнов зашел в мастерскую в тот самый момент, когда Зуб

гнушно сквернословил. Зуб не видел мастера и не понял предупредительных знаков ребят. Он умолк, исчерпав солидный запас непечатных слов.

И тут в мастерской наступила такая тишина, что парень сразу почувствовал — что-то неладно. Обернулся и глаза в глаза встретился с Федором Семеновичем.

Мастер молчал, внимательно разглядывая своего воспитанника.

Тот принял было самый независимый вид и тоже стал разглядывать своего мастера.

— Пожалуйста, Миша, — вздохнул Бубнов и сказал: — Повтори все специальные термины, только не спеша...

Зуб молчал.

— Не стесняйся, повтори, Миша.

Зуб молчал и как-то странно поеживался.

— Ну, чего же ты, Миша? Или забоялся?

— А вы сами что, не знаете или никогда не слыхали? — выговорил наконец парень.

— Знаю, — добродушно сказал Бубнов, — как не слыхать, слыхал. Но в хорошем исполнении хочется еще послушать.

Зуб нахохлился, странно как-то по-воробыиному заворочал головой и едва слышно выговорил:

— Да ну вас, Федор Семенович... Смеяться-то...

— Выходит, Миша, совесть у тебя все-таки есть? И то хорошо. — Мастер вздохнул, покачал по-стариковски головой и пошел своей тяжеловатой походкой к шкафчику, где хранил халат, журналы, кое-какой личный инструмент.

Вроде бы ничего не случилось — Бубнов не ругал Зуба, не грозил ему неприятностями, но странное дело — ореол «знаменитого урки» сразу потускнел. Те, кто раньше недолюбливал Зуба, но побаивался показывать свою неприязнь, вдруг открыто и насмешливо уставились на него...

И еще Николай Михайлович вспомнил мастера Матти Тислера. С ним он работал бок о бок в первые послевоенные годы. Матти говорил мало и всегда тихо, будто через силу, но как он умел посмотреть на мальчишку! У Тислера была, по крайней мере, тысяча оттенков во взгляде. И когда он подходил к верстаку, с минуту молча вглядывался в работу ученика, а потом без единого слова мягко отстранял мальчишку с места и двумя-тремя элегантными взмахами пилы наводил последний глянец на деталь, это было зрелище!

— Фасочка, — нежно говорил Тислер, — фасочка — визитная карточка мастера. Вы меня поняли?

Мальчишки души не чаяли в Матти и за глаза называли его не иначе как Фасочка

Однажды Балыков спросил у Тислера:

— Почему они не просто тебя слушаются, а с удовольствием, Матти?

— Мальчишки справедливые люди. Если ты всегда будешь

поступать с ними справедливо, они простят тебе любую ошибку и тоже будут слушаться с удовольствием. — Кажется, это была одна из самых длинных речей Матти, какую пришлось услышать Балыкову.

Где они, мастера Бубнов, Тислер? — спрашивал себя Николай Михайлович и горестно вздыхал: Бубнов давно уже покойся на старом Ваганьковском кладбище, а член-корреспондент Академии наук Тислер не так давно приезжал в училище, долго ходил по кабинетам и мастерским, въедливо интересовался программой, новой методикой обучения, наглядными пособиями, а когда дело дошло до выступления перед теперешними учениками, встал, повертел в длинных пальцах карандаш и сказал:

— Приучайтесь любить труд, товарищи. Труд из обезьяны сделал человека, а из человека вполне может создать даже академика. — И зал весело загудел и захлопал в ладоши, и тогда Тислер добавил: — Благодарю за внимание моих молодых коллег...

Николай Михайлович вздохнул, недовольно скосился на заявление, почесал пятерней в затылке и написал в левом верхнем углу: «Освободить согласно собственному желанию».

Грачев спал и не спал, и ему виделось вчерашнее — дышащий под ногами лед, рано ослабевший в этом году, голубая эмаль неба, гигантской миской опрокинутая над озером, и дрожание лески, уловаживаемой очередным окуньком на дно... Как было хорошо в последние три дня последней зимней рыбалки!..

Как он охнул, когда лопнула тоненькая капроновая жилка и будто невесомый кнутик замоталась на ветру, а здоровенный глазастый окунь — с крючком в верхней губе застрял в тесной лунке! И что потом было, когда, работая хвостовым плавником, окунь стал вдруг подниматься по ледовому ходу вверх, пока не выставил свою удивленную, с разинутой пастью физиономию на свет божий... как тогда подхватил Грачев рыбину под жабры, рванул и бросил ее, трепещущую, скользкую и, как ему почему-то показалось в этот момент, теплую, на лед, подальше от лунки...

Тут Грачев окончательно проснулся, поглядел на часы — было начало одиннадцатого — и прислушался: дом притаился, только старые, еще дедовские, настенные часы глухо отщелкивали время.

Все дни, проведенные на озере, Грачев старался ни о чем не думать. И там, на сверкающем льду, под нежаркими лучами весеннего ослепительного солнышка это ему вполне удавалось. А теперь пришло время и надо было решать: идти или не идти?

Он знал — пойдет, жена будет недовольна: ей не нравилось, что работа, на которую он собирался возвращаться, станет держать мужа допоздна, и домой он будет приходить с от-

сутствующим взглядом, невпопад отвечать на вопросы и до глубокой ночи читать книжки, которые, по ее представлению, такому слесарю, как Анатолий Михайлович — мастеру из мастеров, — читать было совершенно не обязательно, и заработок его составит ровно половину того, который он мог бы иметь в другом месте...

Грачев сел на кровати, несколько раз согнул и разогнул спину, доставая кончиками пальцев ступни ног, потянулся и встал. Если говорить честно, его занимало не столько, идти или не идти, сколько, как его там встретят. И будто кадры старого фильма, перед глазами Грачева поплыли одна картина за другой.

Вот идет урок физики. Молодая преподавательница объясняет ребятам новый материал. Он сидит на последней парте и наблюдает за своими оглоедами (про себя Грачев всегда их так называл: мои оглоеды или мои оглоедики). Ребята слушают внимательно. Урок ладится. Он доволен. Учительница, что называется, в ударе. Внезапно открывается дверь, и в класс входят неизвестный капитан в шинели, зимней шапке, громко топочущих сапогах, следом завуч.

Группа встает. Завуч машет: дескать, сидите. Все садятся. Учительница выжидательно умолкает.

Капитан, ни на кого не глядя, ни на что не обращая внимания, медленно приближается к стене с электрическими стендами и долго осматривает проводку.

Завуч следует за ним.

Тишина делается напряженной. Грачев думает: «Ну и противная рожа у этого капитана». И тут кто-то громко произносит:

— А он не милиционер, он пожарник, ребята...

Группа смеется. Молодая физичка отворачивается от класса и покусывает губы. Завуч делает вид, что ничего не слышал. Капитан топает дальше, к другой стене.

— Курица не птица, пожарник не офицер! — издевательски выговаривает тот же голос. И двадцать пять грачевских оглоедов начинают свистеть и улюлюкать, и кто-то иступленным голосом орет:

— Шапочку, капитан, в помещении снимать надо, шапочку!

Будто проснувшись, пожарный инспектор останавливается, недоуменно смотрит на ребят и сильным голосом говорит завучу:

— Попрошу оградить...

— Шапочку сними, капитанчик! — орут уже все оглоеды...

Чувствуя, что скандал грозит принять катастрофические масштабы, Грачев поднимается с места и идет навстречу посетителям.

Шаг, еще шаг, еще...

Грачев видит растерянные глаза физички, насупленные брови завуча, злобно-настороженное лицо капитана.

Грачев понимает: надо немедленно обуздать стихию, повернуть, переломить поток. И говорит совсем тихо:

— Спокойно, мальчики. У нас урок физики, а не занятия по правилам хорошего тона. — И тут Грачев берет своей железной хваткой мастера спорта, штангиста, незнакомого капитана под руку, разворачивает вокруг продольной оси и, направляя к двери, доверительно шепчет: — Между прочим, они правы, в помещении не ходят в шапке.

— Я буду жаловаться! — прорывается криком капитан, но это происходит уже в коридоре.

Пожарный инспектор оказался на редкость упрямым, он жаловался на училище и, в частности, на мастера Грачева день за днем целый месяц. В конце концов Грачеву сказали:

— Извинись, Анатолий Михайлович, иначе он не отвяжется.

— Позвольте, а за что извиняться?

— Какая разница? Извинись символически, и черт с ним...

— А он даст мне письменное обязательство, что впредь, входя в помещение, будет снимать головной убор и здороваться?

— Бросьте, Анатолий Михайлович! Охота вам возводить в принцип такую чепуху?

— К сожалению, я не могу извиниться перед этим типом, если я извинюсь, ребята перестанут меня уважать и слушаться. И правильно.

— Да ребята ничего и не узнают.

— Странный довод! И безнравственный. Кстати, как вы считаете, что такое совесть? Я полагаю, когда человек знает, что о его неблаговидном поведении никто и ничего не проведает, и не совершает ничего такого, у него совесть есть.

Кончилось все тем, что Грачев окончательно разругался в управлении и подал заявление об уходе. Его уговаривали, убеждали одуматься, но Грачева, как говорят, занесло, и он, не вняв никаким доводам, уволился «по собственному желанию».

Около года работал бригадиром-слесарем на ремонте, а потом уехал на строительство электростанции за рубеж.

Теперь Грачев вернулся и надо было определиться.

— Иди, Толище, на старое место, в реміцех, — говорила жена, — и работа спокойная, и заработок хороший, и дома будешь, как все люди.

Приятель подбивали наняться в какой-то особо секретный почтовый ящик, сулили золотые горы, интересные командировки и такую работенку, что «пальчики оближешь».

А сам он все три года тайно тосковал по своим «оглоедикам». И хотя понимал, что из тех, кого он тогда покинул, в училище никого уже не осталось — закончили и разбрелись по заводам, все равно мальчишек ему не хватало...

Скрывая даже перед самим собой нежность к ребятам, Грачев умышленно медленно оделся, внимательно оглядел себя в зеркале и вышел из дому.

До училища он шел медленно, внимательно присматриваясь к домам и людям, которых не видел целых два года.

Волновался? Нет. А впрочем, кто знает? Сам Грачев никогда и никому бы не признался, с каким чувством он приближался к старому зданию училища, с которым была связана почти вся его сорокалетняя жизнь. Он был не скрытным, а сдержанным человеком и не любил людей, о которых говорят — рубаха-парень, душа нараспашку...

В темноватом вестибюле Анатолия Михайловича обдало приятным теплом и ни с чем не сравнимым тонким металлическим запахом. Из-за двустворчатых, обитых листовым железом дверей доносился приглушенный шум токарных станков. Грачев постоял перед метровыми фотографиями мальчишек и девчонок, одетых в разные образцы формы — от парадной до спортивной, узнал в одном из манекенщиков бывшего оглоедика Валю Земцова, улыбнулся и перешел к стенгазете...

Потом не спеша прочитал вывешенные на доске объявления, приказы по училищу, выписки из постановления месткома и только тогда стал подниматься по широкой, истертой тысячами ног лестнице на второй этаж.

Перед директорской дверью за электрической пишущей машинкой сидела незнакомая девушка, молоденькая и очень румяная.

— Здравствуйте, — сказал Грачев, внимательно разглядывая секретаршу, — мне Николай Михайлович нужен.

— Здравствуйте, — ответила девушка и недовольно поморщилась, ей не понравилось, как откровенно изучающе разглядывал ее Грачев, — Николай Михайлович на месте, но сейчас он занят...

— Это очень правильно, — перебил ее на полуслове Грачев, — настоящий директор и не должен сидеть в своем кабинете просто так без дела. Пожалуйста, доложите Николаю Михайловичу, что к нему пришел Грачев.

— А вы откуда?

— Из дому...

— Странно! — пожала плечиком девушка, но ни о чем больше Грачева не спросила и скрылась за дверью директорского кабинета.

— Николай Михайлович, вас спрашивает Грачев, — сказала секретарша, притворив глухую, обитую зеленым дерматином дверь.

— По телефону?

— Нет, лично.

— Грачев? Какой из себя?

— Довольно из себя симпатичный...

— Толька?! — с несвойственной поспешностью выбрался директор из-за своего корабельных размеров письменного стола и трусцой направился к двери.

Наконец, после преувеличенно радостных объятий, похлопываний по спине и плечам Балыков произнес первую осмысленную фразу:

— Садись, Анатолий Михайлович, и рассказывай: откуда, какими судьбами и все прочее?

— Из Африки...

— Во куда занесло! И какая она, Африка, при ближайшем рассмотрении?

— Жарко там, жуткое дело, как жарко, — сказал Грачев и смутился банальности своего ответа. — А так что — работа, она всюду работа. На установке оборудования слесарил, местных маленько подучивал.

— Что за народ?

— Народ разный, относились к нам исключительно хорошо. Правда, к условиям сразу приноровиться трудновато. И конечно, без общего языка непросто, но жить можно.

— Молодец! Красивым из своей Африки приехал. Когда вошел, я даже подумал: наш это Грачев или не наш? Может, я данного товарища в кино или по телевизору видел?..

— Будет вам, Николай Михайлович. Я и раньше чисто одевался.

— Одно дело — чисто, а другое — с шиком. Молодец!

Еще некоторое время они поговорили о том, о сем, не касаясь цели визита Грачева, а потом Балыков осторожно спросил Анатолия Михайловича о его планах. И Грачев тоже осторожно ответил, что сначала надо осмотреться, акклиматизироваться и тогда решать.

— К нам не хочешь? — стараясь не показать излишней заинтересованности, как бы между делом, спросил Балыков. — Хоть на время?

— Почему же на время?

— На постоянно страшно тебя звать. Заграничный кадр — к соответствующим условиям привык! А у нас зарплата не прибавилась, заботы не уменьшились... Тебе небось сотни три в месяц подавай.

— Значит, считаете, подпортился я, зажадничал за границей? — И, вспомнив что-то свое, Грачев заговорил зло и раздраженно: — Вообще-то я понимаю, откуда такие сомнения. Понимаю. Всякой публики я в Африке нагляделся. Одни, как черти, там работали, себя показывали, страну представляли, но был и другой народец: за валютную копейку давились, готовы не жрать были, только б на машину сколотить, в тряпках запутаться. Были и такие. Только я, Николай Михайлович, из другого цеха...

— Или тебя кто обидел? — подозрительно щурясь, спросил Балыков. — Что-то ты больно сердитый? Не ожидал, Анатолий Михайлович...

— Обидели меня не там — тут. И хотя говорится: кто старое помянет, тому глаз вон, я все-таки скажу... для ясности...

Когда вы за меня перед городским управлением не заступились, мне действительно обидно было... Потому и ушел. А там... лично меня никто не обидел, наоборот, премировали и наградили, и хозяева и наши... А на крохоборов некоторых я не за себя, а за всех нас в обиде.

Помолчали. Балыков подумал: «Пожалуй, теперь с ним будет еще труднее. Был ежом и остался ежом. Тронь — уколется...»

Но группа слесарей была без мастера. А такого, как Грачев, где найти?.. Это тоже надо принять в расчет.

— Неужели ты третий год на меня сердце держишь? — миролюбиво спросил Балыков. — Ведь никто тебя не прогонял, как могли поддерживали... Верно, получилась неувязка, этого не отрицаю, так чего же теперь, всю жизнь помнить?

— Сердца на вас у меня нет. Было б — не пришел. Но, честно говоря, кое-какая обида осталась; это правда, меня не выгоняли, и, думаю, не смогли бы выгнать. Цену я себе тоже знаю... А если желаете, на что обида, скажу.

— Давай, я прямой разговор уважаю.

— Мастер вы, Николай Михайлович, были толковый. И с народом ладить, еще до того как директором стали, умели. И голова у вас работает. Иначе как бы вам институт одолеть? Словом, все при вас. И училище крепкое: грамоты, знамена, благодарности скоро негде будет развешивать. Так почему же вы перед каждым инспекторишкой на задние лапы вскидываетесь? Или перестали?

Балыков выслушал эти неприятные слова очень спокойно, не возражая и не останавливая Грачева. И, только убедившись, что Анатолий Михайлович закончил, спросил:

— А ты уверен, что я и впрямь так уж вскидываюсь?

— К сожалению, даже ребяташки это понимали. Вы не обижайтесь, я ведь говорю, чтобы ясность установить...

— Не был ты в моей шкуре, Анатолий Михайлович, потому и рассуждаешь с легкостью... Но, допустим даже, что ты все правильно понял: и вскидываюсь, и начальству услужить стараюсь... Допустим. Какой мне от этого доход? Какой? Квартиру вне очереди, может, дали? Или зарплату прибавили? Непыльную работку отвалили? Я одиннадцатый год директором. А теперь скажи, Анатолий Михайлович, только так же откровенно, как ты до этого говорил: какую я для себя лично пользу от этого получил?

— Тем обиднее, Николай Михайлович! Если бы вы ради своей пользы старались, я бы, может, скорее понял... осудил или нет — другой вопрос, но понял бы...

— За что меня осуждать? Осуждают за незаконные действия. А у меня тактика! И польза от нее не мне — училищу: кто в первую очередь самое новое оборудование получает? Где такие педагоги, как у нас, есть? Кому форму без задержки каждый год поставляют? А путевки? А спортивный инвентарь?.. Молчишь?

Грачев действительно молчал, но вовсе не потому, что Балыков убедил его и он поверил в «тактику». «Можно так рассуждать, — думал Грачев, — а можно и по-другому: вся твоя тактика — одна трусость, и нет в ней ни мудрости, ни хитрости. Вверх ты, правда, не лезешь, но неприятностей как огня боишься». Но говорить Грачев больше ничего не стал. И Балыков принял молчание за предложение перемирия:

— Ладно, Анатолий Михайлович, поговорили — и хватит. Может, ты в чем-то прав, может, я и перегибаю где. Со стороны виднее... А теперь скажи: хочешь у нас хотя бы временно поработать, группу до конца года довести? Есть свободная... А с мастерами зарез...

— Почему же временно? — спросил Грачев.

— Насовсем предлагать не рискую, я же сказал. Не пойдешь ты.

— Пойду.

Грачев очень тщательно готовился к встрече с ребятами. Он знал — группу придется завоевывать. Был его предшественник хорош или плох, значения не имеет: между ним и ребятами установились какие-то связи, и к любому преемнику мальчишки отнесутся настороженно. К старому мастеру группа привыкла, приспособилась, выработала какую-то линию поведения. Новый человек — неизвестность, а любая неизвестность несет в себе что-то от опасности.

Как было принято, Балыков представил Грачева группе:

— Рекомендую вашего нового мастера Анатолия Михайловича Грачева. В свое время он закончил наше училище. Много лет работал у нас, потом был командирован за границу для выполнения специального задания и теперь вернулся. — Обернувшись к Грачеву, спросил: — Больше я вам не нужен, Анатолий Михайлович?

Грачев сдержанно поклонился, и Балыков сразу же вышел. Двадцать пять пар глаз напряженно наблюдали за мастером. Было совершенно тихо, но Анатолию Михайловичу казалось, что все двадцать пять ребят безмолвно спрашивают: «Ну и что дальше?»

— Хау ду ю ду, май янг уоркерс! — тихо сказал Анатолий Михайлович. И группа замерла от удивления и неожиданности. Иностраный язык они учили и то, что мастер говорит не по-русски, поняли, однако... не более того.

— Во дает! — одобрительно выговорил кто-то.

Реплику Грачев оставил без последствий, только подумал: «Все правильно. Среагировали и ждут, что будет дальше?»

— Вот примерно так начинал я свой каждый рабочий день в продолжение двух последних лет, ребята. Это для ясности. Специальное задание, о котором упомянул Николай Михайлович, сводилось к тому, что я был командирован в Африку.

Мы строили там электростанцию. Работали сами и обучали местных рабочих... — Вступление получилось что надо: сработала и первая фраза на английском, сработала и Африка.

Он видел: ребята идут к нему в руки. И тут случилось неожиданное, непредвиденное, в условиях училища почти невероятное: в класс влетел встрепанный мальчишка и дурацким визгливо-клоунским голосом заорал:

— А вот и я... Заждались? Все в сборе?..

Группа охнула и покатилась со смеху.

Накануне Грачев успел просмотреть списки группы, познакомился с журналом, вскользь поговорил со своим предшественником. И теперь мучительно решал задачу: кто это — Габбулин или Юсупов? Скуластое жесткое лицо, чуть суженные глаза, характерный некрупный нос и иссиня-черные татарские волосы... Тянуть было невозможно, и Грачев рискнул: преувеличенно радостно выкрикнул:

— Миша! Юсупов! — и с протянутой рукой устремился навстречу кривлявшемуся мальчишке.

Тот никак не ожидал подобной реакции мастера, на секунду замер, дрогнули длинные, удивительной красоты ресницы, юркнули дерзкие глаза.

— Здравствуй, Миша, — продолжал Грачев, — ты выпался? И пришел к нам... — Тут руки их встретились.

И мгновенно Юсупов понял — попался. Мастер купил его самым дурацким образом — рука мальчишки оказалась в капкане, и капкан этот сжимался медленно, неумолимо, так, что казалось, вот сейчас, сию минуту, он расплющит все до единой косточки.

Юсупову хотелось заорать, взвыть, но он был гордым мальчишкой и к тому же ужасно дорожил своей популярностью в группе. Его прошиб пот, и непрошеные слезы готовы были вот-вот выкатиться из глаз, но он держался.

А мастер улыбался и говорил, говорил, говорил, говорил:

— Ничего, Миша, с кем не случается... Будильник остановился... троллейбус испортился... мало ли что бывает по дороге из дому? Главное, ты пришел, ты с нами, и мы очень рады...

Стена начала тихо клониться, и потолок пошел вниз, Миша чувствовал, что вот сейчас, сию минуту, он распластается на полу. Ему хотелось заорать: «Пустите!», но он не заорал и даже пытался сопротивляться, хотя понимал, — нет, не вырваться.

И вдруг все кончилось: стена встала на место, потолок тоже, капкан разжался, и мастер заговорил совсем другим голосом:

— А ты здоровый малый, Юсупов. Не ожидал, честное слово, не ожидал. И знаешь почему? Те, кто кривляется, по дешевке на публику работает, как закон, сморчки и слабосильная команда... А у тебя захватик будь здоров. Борьбой занимаешься?

— Пробовал, — сказал Юсупов, пряча в карман больно нывщую руку.

— Я тоже пробовал и бросил. Перешел на штангу...

— А какой у вас разряд? — спросил кто-то из класса.

— Мастер спорта, — очень просто и как бы между прочим ответил Грачев и сразу перешел к делам текущим.

На душе у него сделалось спокойно и хорошо. Он знал — группа в руках, теперь они никуда от него не денутся и будут смотреть в рот, ловя каждое слово. Что касается Юсупова, пока еще трудно сказать — кончился в нем клоун или нет — приглядеться надо, но охота публично изображать рыжего едва ли вернется к этому жилистому и самолюбивому пареньку...

День прошел нормально. Грачев успел присмотреться к ребятам, кое-кого запомнил в лицо. Без лишних вопросов установил, кто к кому тянется, кто верховодит на занятиях, кто задает тон на переменах. Картина была неясная, так — контуры, местами прорисованные четко и ярко, местами смазанные, но они вошли в сознание и постепенно проявлялись.

В детстве Грачеву случалось печатать фотографии со стеклянных негативов, на дневной бумаге. Изображение на этой бумаге медленно проступало под действием солнечных лучей, сначала делались видными самые темные места, потом те, что посветлее. Изображение получалось четким, темно-коричневым, с шоколадным оттенком. Теперь уже никто не пользуется дневной бумагой, а многие, наверное, и не слышали о ее существовании. Но Грачев вспомнил и сразу почувствовал себя так, будто проработал с этими ребятами целую жизнь...

В конце недели он собрал группу и решил предпринять первую осторожную атаку на самолюбие своих оглоедиков.

— В воскресенье кросс. Знаете? — спросил Грачев.

И по лениво-расслабленным голосам, которые услышал в ответ, понял: половина соображает, как бы им увильнуть от этого не строго обязательного начинания.

— Кисло смотрите, а я думал, мы хоть тут сможем что-нибудь совершить...

— А чего совершать? — кажется, это спросил Юсупов.

— Как чего? По успеваемости наша группа на последнем месте в училище. По дисциплине на предпоследнем. По производственной практике в первой пятерке с хвоста. Вот я и подумал — может, если постараемся, хоть в чем-то окажемся первыми.

Ребят эти слова, видимо, как-то задели. Раздался шумок, шумок усилился, через минуту все говорили разом. Он не мешал. Выждал сколько-то и, уловив подходящий момент, предложил:

— Так что же, может, рискнем, мужики? И я с вами по-

бегу, только одно условие — бежать всем, чтобы уж одно первое место наверняка обеспечить — за явку. Ну?

Кажется, они согласились.

Это, впрочем, не означало, что все действительно явятся. А ему нужно было получить эти сто процентов явки не для жюри, конечно, и не для удовлетворения своего самолюбия, а для них, чтобы ребята почувствовали себя коллективом, группой.

В субботу жена сказала Грачеву:

— Завтра с утра надо съездить к маме. Соседка звонила, сказала, мама приболела, третий день не встает. Если уж мама лежит, значит, ей на самом деле худо.

— Поезжай утром с Олей, а я после часу тоже приеду...

— А до часу что ты будешь делать?

— Утром в училище надо. Кросс с утра у нас.

— Или ты за физрука тоже нанялся? — нехорошо прищурившись, спросила Настя. Грачев давно знал этот ее недобрый прищур и несколько не сомневался, что сейчас последует взрыв.

— Первый весенний кросс у ребятишек. Надо организовать, проверить, поглядеть на них вне училища...

— А собственный дом пусть горит и обваливается? Я должна чуть свет тащить Олю к бабушке, чем та больна — неизвестно, но тебя это не волнует... Если ребенок тоже заболеет — пусть...

— Ну, брось ты, Настя. Знаешь ведь — группа у меня новая, я не привык и ребята не привыкли. Людей воспитывать не железки клепать, бац-бац, и готово, тут подход нужен...

— Вот-вот, и я про это говорю: клепал бы ты железки, бац-бац — две сотни в месяц, и никаких переживаний. Подумаешь, Макаренко новый выискался. Подход, заход, психология... Воспитатель! А дочку кто будет воспитывать, вот ты мне что скажи?

Вечер был испорчен. Настя долго гремела кастрюльками в кухне, демонстративно не обращая внимания на Грачева, и позволила себе такое, что обычно никогда не позволяла: велела пятилетней Оле пойти и спросить у папочки, собирается ли он ужинать, если да, то может пожаловать к столу.

Оля с удивлением посмотрела на мать, Анатолий Михайлович укоризненно взглянул на жену и сказал дочке:

— Это мама с нами играет: она директор, ты секретарь, а я вроде публики. Ты выясняешь желание публики и даешь ценные указания... Понимаешь?

— Понимаю, — с сомнением сказала Оля, — пусть лучше ты будешь директором. Мама, пусть папа будет директором? Пусть?

— Боюсь, папа не согласится.

- Папа, ты согласишься? согласишься, пожалуйста, папа!
- Согласен, уговорили, но только понарошку.
- А по правде?
- По правде не согласен. Таланта нет, не справлюсь.

Грачев загадал: если к месту сбора явятся двадцать из двадцати пяти оглоедиков, можно считать — все в порядке, если меньше — плохо. Он шел от станции метро «Сокольники», не замечая стендов, пропуская ларьки «Союзпечати», не сосредоточивая внимания на встречающих, хотя обычно любил смотреть по сторонам, и, злясь сам на себя, мысленно спрашивал: ну, сколько, сколько их там?

За аркой Сокольнического парка, справа от главной аллеи толкалась прорва народу. По преувеличенно громкому звучанию мальчишеских голосов, суетливому шнырянию ребят и множеству других, плохо поддающихся определению признаков Грачев понял — наши.

Завидев мастера, ребята его группы потянулись навстречу. То и дело слышалось:

- Здравствуйте, Анатолий Михайлович!
- Доброе утро!
- Привет!

А он считал:

— Семь... десять... четырнадцать... двадцать, — вздохнул незаметно, с облегчением, — та-а-ак — и двадцать один... и двадцать два и двадцать три! — И сразу заметил: а день-то какой синий-синий! И парк пахнет оттаявшей землей, и, если прислушаться, можно даже различить голоса птиц.

До старта оставалось еще минут десять, Грачев сказал:

— Ну что, разомнемся, ребятки? — и скинул пальто. На нем был синий тренировочный костюм, кроссовые туфли. — Пробежимся легко-легко, никто никого не обгоняет, все следят за выдохом. Выдох глубокий, полный, до самого конца. Пошли!

Он бежал неторопливо, мягко отталкиваясь от пружинившей под ногами земли, стараясь дышать ровно и глубоко. Мальчишки сначала держались рядом с Анатолием Михайловичем, а потом растянулись вслед, словно пестрый хвост невиданной птицы...

До старта оставалось минуты две. Болельщики толкались у места финиша, некоторые зашпешили на середину дистанции, чтобы вдохновлять и подбадривать своих; галдеж стоял невообразимый.

Грачев успел сказать:

— Бегу последним, ребята, кого догоню, берегись! Пятки оттопчу!

Судья закричал в жестяную трубу:

— Уча-а-астники, на ста-а-арт!

И вот уже добрых восемь сотен ног ударили в весеннюю

землю, заработали локтями мальчишки, задышали в полную силу легких и понеслись, понеслись вперед.

Бегать Грачев был не особенный мастер и решил замыкать группу по двум соображениям: чтобы кто-нибудь из длинноногих оглоедиков не обыграл его, пока еще такого нельзя было допускать, и, во-вторых, чтобы каждый старался убежать от мастера.

Анатолий Михайлович, с мальчишества приверженный к спорту, пробовал себя в легкой атлетике, в борьбе и наконец в штанге, он знал и радость побед, и горечь поражений, и хотя всю свою жизнь считался, да и на самом деле был уравновешенным человеком, на дистанции, ринге или помосте увлекался и, случалось, терял контроль над собой. Втянувшись в ритм общего движения, Грачев почувствовал вдруг, что ноги незаметно увеличивают темп и какой-то глубоко спрятанный черт начинает нашептывать: «А ну прибавь, прибавь...»

Грачев подумал: «Да ты что?» — усмехнулся и стал внимательнее наблюдать за обстановкой: ребята бежали хорошо, в голове колонны, тесной группой. Никто заметно не отстал. Но лидировал бег «чужой» мальчишка. Длинный и тощий, откинув далеко назад голову, он шел с отрывом метров в двадцать, мерно работал локтями и почти незаметно прибавлял и прибавлял шаг.

«Вот дьявол, — подумал Грачев, — как машина», — и не испытал к пареньку никакого иного чувства, кроме раздражения. Ему даже сделалось неловко — тоже воспитатель! Но эта мысль тут же вылетела из головы. Надо, чтобы победили его оглоедики. Ему эта победа как голодному хлеб, как жаждущему глоток воды... И пусть сгорят все педагогические теории и методики!

Выиграть! Надо выиграть!

С поворота Грачев прибавил темп и, приблизившись вплотную к своим мальчишкам, задышал в затылок замыкавшему группу. Парнишка на мгновение обернулся, увидел лицо мастера, нависшее над самым его плечом, и рванулся вперед, и еще один рванулся, и еще один...

Кто-то из болельщиков заметил этот рывок и поддержал ребят:

— Даешь, грачата! — заорали зрители. И только что приобретшие кличку грачата рванули, словно припороенные кони!

Нет, тощего и длинноногого, что захватил первенство с самого начала, обогнать не удалось. Победителем кросса вышел он. Увы, чужой, из группы токарей. Но первое командное место завоевали.

Только тот, кто долго терпел неудачи — в науках, в любви, в работе, — может понять состояние грачевских мальчишек, может быть, впервые в жизни услыжавших: сегодня вы были лучше всех!

Анатолий Михайлович понимал, что творится с ребятами, и

думал: «Пусть вдоволь накупаются в заслуженной славе. Сегодня их день».

Конечно, слава — коварное зелье, и не счесть, скольких оно сгубило. Но если умненько, осторожно, в правильной дозировке дать пацану пригубить, глотнуть, отхлебнуть славы... никто даже приблизительно не сможет предсказать, на какую высоту окажется способным подняться человек!

После кросса ребята разошлись не сразу, и, конечно, Анатолий Михайлович побыл с ними.

Когда он наконец предстал пред ясные очи супруги и первым делом спросил: «Ну как мама?», вместо ответа услышал: «Проиграли?»

— Как же — проиграли! Первое командное и первое место за массовость.

— Все-таки ты псих, Толище, — сказала Настя и повела его в кухню кормить обедом.

Остаток дня прошел в «теплой и дружеской обстановке», как написали бы газеты, будь у нас принято публиковать семейную хронику.

ГРАЧЕВ И ГРАЧАТА

Приглашая в гости, Анна Егоровна сказала:

— Приходите на рюмку чаю, доклада не будет, только прения и раздача небольших призов. Жду в пятницу, к восьми.

В роли хозяйки я видел Анну Егоровну впервые. Должен сразу сказать — и здесь она выглядела великолепно, как всюду: несуетливая, приветливая и вместе с тем властная женщина, она легко и непринужденно управляла гостями. Незаметно подрезала торт, ловко подкладывала на тарелки, следила за рюмками, умело дирижировала разговором...

Запомнился высокий седеющий мужчина, ровесник хозяйки дома. Звали его Николаем Михайловичем. Как я понял, он имел какое-то отношение к профессионально-техническому образованию.

— Коля, неужели это правда, что ты от нового помещения отказался? — спросила Анна Егоровна. — Услышала, чуть со стула не упала.

— И зря... Зря удивилась. От нового помещения я действительно отказался. Здание строили под техникум, потом решили переиграть, чтобы все увидели, какое внимание оказывается профессионально-техническим училищам. На нас теперь мода... Вот и придумали передать помещение, а техникум вселить на наше место. Но я отказался...

— Выходит, из благородства?

— Какое благородство? Подумай сама — их производственная база и наша? Ну, получим мы красивый дом, и классы бу-

дут просторные, и лаборатории, а куда мастерские девать? Негодные для мастерских условия...

— Так тебе ж обещали под мастерские корпус достроить...

— Вот именно — обещали. Обещанного три года ждать, да? И вообще, не хочу я ходить в образцово-показательных. Делегации принимать, разговоры разговаривать... Мы уж как-нибудь потихонечку... На нас и в старом доме никто пока не обижается.

— Ох, Николаша, ты и нудным делаешься... Потихонечку, полегонечку... Кто тебя не знает, подумает — скромненький, серенький... Зайчик... Делегации ему принимать затруднительно? А то сейчас со всего света не едут?

— Едут! И пожалуйста, чего знаем, объясним, чего умеем, тому научим... Это опыт. А когда торжественную линейку давай, и чтобы все мальчики были пострижены, и у девчонок, не дай бог, чтобы не оказались покрашенные губки или недозволенные по длине юбочки, — ну на черта мне это?

— Вот-вот, теперь ясно, — не без раздражения сказала Анна Егоровна. — Нас не трогай — мы не тронем!хлопот не любишь...

Разговор перекинулся на другое, и я получил возможность незаметно понаблюдать за Николаем Михайловичем. Ел он не жадно, скорее даже вяло. И пил вяло, будто делал одолжение хозяйке, но, опрокидывая рюмку, не морщился и за разговором, не умолкавшим ни на минуту, следил внимательно, даже напряженно; никого не перебивал, а когда обращались к нему, отвечал толково и достаточно неопределенно — понимай, мол, как хочешь.

И хотя Николай Михайлович был не самым колоритным гостем Анны Егоровны, так уж получилось, что для меня этот вечер прошел под его знаком.

Мы уже прощались, и Анна Егоровна раздала обещанные призы: каждому гостю по маленькому недорогому сувениру «со значением» (я получил гусиное перо с рефилом), когда ко мне неожиданно обратился Николай Михайлович:

— А почему бы вам не приехать в училище? Покажем, расскажем, не пожалеете...

— Слыхали! — засмеялась Анна Егоровна. — А соловьем разливался: делегации нам ни к чему, разговоры разговаривать времени нет! Жук ты, Николаша. Хитрован, как у нас в деревне говорили...

— Так реклама — двигатель торговли... — сказал Балыков. И с тем мы ушли от Пресняковой.

На улице было тихо и сравнительно тепло. Нам оказалось по пути, и мы решили пройти пешком. Вот тогда и состоялся мой первый разговор с Балыковым, директором профессионально-технического училища и, как выяснилось, земляком Анны Егоровны Пресняковой.

— Анна Егоровна — депутат, деятель знаменитый, а я ее бо-

соной девчонкой помню — Нюркой... Из одной деревни мы, через дом жили... Наверное, если покопаться, то и родня общая обнаружится, может, не самая близкая, но все ж... И в Москву в один год перебрались и сначала на одной стройке работали. — Неожиданно Николай Михайлович хохотнул, видно, вспомнив что-то занятное, и сказал: — Был случай, я за нее даже сватался! Во смех.

— Почему же? — вежливо осведомился я.

Сразу у него сделалось осторожное лицо, и он ответил:

— Лед и пламень! Несовместимые мы люди. Нюрка сызмальства бедовая была, а я из тихих: день да ночь — сутки прочь...

— Что-то, Николай Михайлович, не верится, будто вы на самом деле такой тихоня. Людей учите, воспитываете. Дело живое, живости требует...

— Учить можно и тихонько, тихонько воспитывать не получается. Тем более наш контингент. Вот напишите об этом, важный разговор может получиться. — И он заглянул мне в глаза странно напряженным взглядом, будто хотел и не решался попросить о чем-то для него чрезвычайно важном.

— О чем именно вы советуете написать?

— О контингенте. — И заторопился: — Как мы называемся, неважно, не в названии суть. Кого мы готовим? Рабочий класс... слесарей, токарей, фрезеровщиков, наладчиков, радиомонтажников... Это только в нашем училище. Берем форменного пацана, держим три года и выпускаем самостоятельного человека, рабочего со средним образованием и специальностью. Гарантируем приличный заработок, место в жизни. Я вас не агитирую, не подумайте, я просто точную картину рисую. А теперь вопрос: кто к нам до последнего времени шел? Двоечники, разгильдяи, от которых школа горькими слезами плакала. — Он замолчал и какое-то время шел молча.

Ночной проспект был почти безлюдным.

Случайный прохожий... случайная машина «Скорой помощи»...

Почему-то вспомнилось: Толковый словарь русского языка так объясняет понятие случайность: «безотчетное и беспричинное начало, в которое веруют отвергающие провидение...»

Я, безусловно, не верю в провидение. А вот случай, кажется, послал мне интересного собеседника. И тема, которую он затронул, мне далеко не безразлична.

И тут Балыков заговорил снова:

— Можете представить, когда у нас в прошлом году набор был, приходит ко мне женщина, представляется — завуч соседней средней школы. Мнется, чувствую, темнит, но постепенно выкладывает: есть у них ученик, Карнаухов Сергей, в восьмом классе... Мальчик, говорит, трудный, семья неблагополучная, склонности у этого Сергея самые что ни на есть неприятные... Это все ее слова! Так не соглашусь ли я взять мальчика

к себе? Спрашиваю: а если не соглашусь, что вашего Карнаухова ждет? Оставят на второй год, а в недалеком будущем скорее всего колония для несовершеннолетних. А если соглашусь? Тогда обещает вытянуть Карнаухова на тройки и характеризовать прилично. Спрашиваю: а родители? Уверяет: родители на все согласятся! А сам он? Отвечает не задумываясь: не хочет, так захочет! Это беру на себя...

Николай Михайлович с подробностями рассказывает, как познакомился с пареньком, как долго разговаривал с ним, как повел его в спортивный зал и перекидывался с ним тяжелым гимнастическим мячом, — битый час они швырялись этим мячом, пока не ожили ленивые глаза мальчишки, и как он удивился, услышав от Балыкова:

— А у тебя, Карнаухов, отличная реакция! С такой реакцией из тебя может толковый оператор выйти...

Пока Николай Михайлович рассказывал о мальчишке, голос его звучал мягко и приветливо, но стоило вернуться к завучу, и в горле у Балыкова даже заскрипело что-то:

— Короче говоря, взяли мы к себе паренька, и когда я об этом объявил завучу, так эта дамочка только что канкан у меня в кабинете не плясала. И такая, знаете, мерзкая радость у нее на физиономии появилась, передать не могу...

— А что Карнаухов?

— Учится. Трудный, конечно, мальчишка, но человеком, думаю, будет. Только дело не в нем. Дело в ней! Что за педагогика, что за воспитание? Почему мы должны из года в год исправлять чужой брак? А в результате о нас же складывается ложное мнение. Кого они учат? — спрашивают люди и, не сомневаясь, отвечают: разгильдяев. Мы говорим: из нашего училища вышло шесть Героев Социалистического Труда, два академика, пять профессоров, девять кандидатов, есть свои депутаты... Цыпят по осени считать надо. Неужели и это понять трудно! За наш рабочий класс краснеть не приходится...

Мы прощаемся на углу Колхозной площади. И я обещаю непременно приехать в училище.

С улицы здание училища особого впечатления не производит — приземистое, трехэтажное, с большими окнами, густо перечеркнутыми старинными переплетами облезлых рам. И вестибюль не поражает — темноватый, неудобный; правда, пахнет там хорошо: тонким духом металла и машинного масла.

Директорский кабинет на втором этаже. К нему ведет широкая лестница, ступени ее кажутся чуть прогнутыми — камень не устоял под мальчишескими ногами — истерся...

Кабинет большой, светлый, его главное убранство, кроме самой необходимой мебели, — образцы ребячьих работ.

Балыков встретил приветливо и сразу предложил познакомиться с лабораториями, кабинетами, классами и мастерскими.

Ничего еще не увидев, я почувствовал — директор гордится своим училищем и совершенно уверен: не понравится новому человеку оно не может!

— Здесь у нас проходят занятия по физике, — говорил Николай Михайлович, — обратите внимание на стенды — сделаны своими руками, все действующие, электрифицированные. Теперь сюда, пожалуйста, пройдите. — Он подвел меня к командному пункту (иначе не назовешь), с которого преподаватель руководит занятиями. — Нажимаем эту кнопку, видите, шторы на окнах закрываются... Теперь можно включать кинопроектор, нажимаем кнопки — эту и эту, ждем десять секунд, вот... — На экране вспыхнул титр цветного учебного фильма: «Индукционный ток».

И тут я заметил, в классе нет привычной школьной доски и не пахнет мелом.

— А как вы обходитесь без доски? — спросил я.

— Почему обходимся? Мы не обходимся. Просто у нас другая доска — современная.

Балыков сманипулировал на щите управления новыми переключателями и сказал:

— Вот на этом табло преподаватель пишет все, что ему надо, между прочим, пишет, не оборачиваясь к группе спиной, затем подает табло вперед, и написанный текст проецируется на экран.

Взглянув на экран, я увидел: титр «Индукционный ток» исчез, а на его месте появилась рукописная строка: «Коля, не бойсь...»

— Вот черти, — беззлобно сказал Балыков, — опять за собой не убрали. Обратите внимание — такая доска позволяет пользоваться разноцветными шариковыми ручками, дает возможность преподавателю заранее «заправлять» свой конспект в проектор — это сильно экономит время, особенно когда надо чертить схемы и графики, — и, наконец, еще одно весьма важное достоинство: у доски есть «память». Для того чтобы повторить формулу, написанную в начале урока, восстановить чертеж, достаточно перевести ленту назад, и написанное однажды всплывает снова. Нравится?

— Очень! — искренне сказал я. И подумал: «Здесь, в классе, Балыков совсем не такой, каким он представлялся мне за столом у Анны Егоровны, на улице, во время нашей ночной прогулки. Училище, где он держится независимо и уверенно, вдохновляет его».

Мы ходили уже часа два, осмотрели множество классов и лабораторий. Все они были, естественно, разные: каждое помещение соответствовало своему назначению, но одно было общим: целесообразность.

Именно так: все в классах подчинялось единой задаче и цели — учить! Надежно, наглядно и прочно укладывать информацию в юные головы.

— Ну знаете, Николай Михайлович, — сказал я, — при такой постановке дела не захочешь, а запомнишь...

Он благодарно улыбнулся и взял меня за плечо.

— Мне очень приятно, что вы ухватили главное... Так сказать, принцип... Это наша самая важная задача: учитывая контингент и его более чем прохладное, увы, отношение к теории... подавать материал так, чтобы он незаметно заползал в извилины. Это, конечно, на первой стадии! А когда ребята начинают кое-что соображать, когда отношение меняется... впрочем, не рассказать ли вам одну поучительную историю?..

Разумеется, я согласился.

Года два назад на встрече выпускников выступал бывший воспитанник училища. Токарь. В прошлом заядлый танцор и одна из главных фигур училищной самодеятельности. Обращаясь к новичкам, сказал:

— Почему я когда-то из средней школы сбежал? Математика меня выжила! Ну ничего не понимал — синусы, косинусы и так далее... Сюда пришел, думал, тут работать надо и никаких тебе равнобедренных треугольников... Оказалось: таблица резьбы на тех же синусах держится, и резцы по углам затачиваются, и разметка — геометрия. Хотел и отсюда сбежать, но не успел. Работать понравилось. Понимаете, интересно: берешь грязную, черную железку — ничего — и делаешь из этого «ничего» полезную вещь и опять же не задаром, за определенное число «рэ» и «копов». Вот тогда я подумал: «Или я дурей всех на свете? Неужели не справлюсь с этими синусами и косинусами, когда за это еще и «рэ» и «копы» идут?» И не сбежал...

— Мы очень стараемся, — говорит Николай Михайлович, закончив свою историю, — с самых первых шагов возможно предметней показывать ребятам, что и для чего нужно. А теперь спустимся вниз, и я покажу вам мастерские.

Мастерские просторные, оснащенные современным оборудованием. Здесь поддерживается строгий порядок. И первое, что я замечаю: у ребят, стоящих за токарными станками, у слесарных тисков, совершенно другие лица, чем в классе или на улице.

Приглядываюсь и, кажется, понимаю, в чем отличие, — сосредоточенность делает ребятчи физиономии взрослее и тверже, их облагораживает отсвет работающей мысли...

Идем длинными проходами, никто не обращает на нас внимания. Директор — ну и что? Ведет какого-то гостя — пусть...

Ребята заняты делом, не игрой и отлично понимают — нет и не может быть сейчас ничего более важного, чем работа.

Николай Михайлович останавливается у станка, берет в руки длинный болт, разглядывает, знаком подзывает паренька. Мальчишка останавливает станок и подходит к директору.

— Чей заказ? — спрашивает Балыков.

— Стяжные болты для металлоконструкций. Заказчик КамАЗ...

— Норма времени? Расценка? — спрашивает директор.

Паренек отвечает, а на лице нетерпение: «Ну чего спрашиваешь, мне же работать надо...»

Идем дальше, и Николай Михайлович рассказывает:

— Когда они немного осваиваются с работой, мы всячески поощряем, раззадориваем в них дух соревнования. Видели на некоторых станках флажки? Это значит — вчера хозяин станка работал лучше всех в пролете. Сегодня флажок может остаться у него, а может перейти к другому. Потому мальчишка и смотрел на меня зверенышем: что ему разговоры с директором, зря минуты тратятся...

— Флажок дает мастер?

— Как правило, группа решает, и делается это самым демократическим путем. Голосованием. Ошибок почти не бывает. У ребят удивительно остро развито чувство справедливости...

Из токарной мастерской переходим в отделение слесарей, и тут Балыков говорит:

— Сейчас я вас познакомлю с главной достопримечательностью нашего училища.

Достопримечательностью оказывается мастер. Лет ему на вид сорок, может, чуть больше. Он широк в плечах, тяжеловат. У него редкие, аккуратно зачесанные назад волосы, смотрит он пристально, как бы спрашивая: «А ты что за птица?»

— Знакомьтесь, — говорит Николай Михайлович, — один из опытейших мастеров училища, Анатолий Михайлович Грачев, между прочим, только что вернулся из Африки, где в течение двух лет выполнял специальное задание... А это... — И Балыков представляет меня.

Мы обмениваемся рукопожатием, и я невольно думаю: если Грачев всерьез прижмет, пискнуть не успеешь! Его жесткая пятерня захватывает, как челюсть.

— Очень приятно, — низким, хриловатым голосом говорит Грачев, и я чувствую на себе его вопрошающий взгляд.

— Как дела? — спрашивает Балыков.

— Нормально, если не считать, что я тут малость с инспекторшей повздорил.

— Какой инспекторшей? — настороженно спрашивает Балыков.

— А кто ее знает, откуда налетела. Возвращаемся с ребятами из столовой, перед самым зданием училища какая-то тетка пытается остановить группу и спрашивает: «Где мастер?» Я сзади шел. Подхожу, интересуюсь, что случилось. Она объявляет: я инспектор. И делает замечание: равнение плохое, разговоры в строю...

— Между прочим, я вас уже предупреждал, Анатолий Михайлович: в столовую и из столовой ваша группа ходит не лучшим образом.

— Предупреждали. Помню. Кстати, я тогда еще изложил свою точку зрения: пусть на строевой подготовке по военному

делу они ходят как следует, там это имеет смысл... а в столовую лишь бы все сразу приходили.

— С этим я не согласен — был и буду. Излишней дисциплины не существует — и з л и ш н е й!

— Еще как существует. Ого-го!

— Не будем препираться. Куда пошла инспектор?

— Скорее всего жаловаться — к вам или к Борису Дмитриевичу.

И тут у директора заметно меняется выражение лица — вдохновенность исчезает, на смену ей приходит сосредоточенность и легкий налет беспокойства. Обращаясь ко мне, Балыков говорит:

— Если не возражаете, я покину вас минуток на десять? Анатолий Михайлович пока займет вас, а я выясню... — И Балыков поспешно уходит.

— Вот такие пироги, — откровенно насмешливо говорит Грачев, — перепугалось начальство... С чем желаете ознакомиться?

— Боюсь отрывать вас от дела, Анатолий Михайлович...

— Ничего. Ребятишки мои уже созрели. Час-другой вполне могут обойтись без пристального руководства...

— Тогда я бы с удовольствием послушал вас. Ну, скажем, что-нибудь автобиографическое? Как вы на такое предложение посмотрите?

— Автобиографическое? Да-а... А скажите, вы про наше училище конкретно писать собираетесь или прототипы — так это, кажется, называется — подбираете?

— Ни то и ни другое. Просто я любопытный, как пингвин.

— Я тоже. Идите-ка сюда. — И Грачев ведет меня в самый дальний угол мастерской, к пустым тискам. — Одну минутку, пожалуйста.

Он отсутствует совсем недолго и, возвратясь, подает мне кусок прутка и слесарную ножовку.

— Попрошу, — говорит Грачев, — отпилите миллиметров сорок.

— В размер? — спрашиваю я, недоумеваю, что бы это могло означать.

— Нет, приблизительно, на глаз.

Я зажимаю прут в тисках, беру из рук Грачева ножовку, мельком взглядываю на полотно и обнаруживаю — полотно стоит задом наперед. Отворачиваю барашек, хочу перевернуть как надо, но Анатолий Михайлович не дает мне этого сделать.

— Все в порядке. Можете не пилить. Все и так теперь совершенно ясно.

— Не улавливаю, в чем пафос?

— Только не обижайтесь. Надо было выяснить уровень вашей компетенции? Как иначе вести беседу? Слишком попу-

лярно станешь объяснять — оскорбительно вроде, недостаточно популярно — непонятно...

— Ориентируйтесь на пятый разряд, — говорю я. — А чего не пойму, спрошу.

Занятия окончены. Мы вдвоем.

— Вы просили из автобиографии рассказать. Анкетные данные, я думаю, интереса не представляют: пяти лет остался без отца, семи — без матери, воспитывался у родственников, потом — в детском доме. С пятнадцати живу, можно сказать, самостоятельно...

Рассказывает Анатолий Михайлович неспешно, время от времени приостанавливается, будто прислушивается к себе, будто вспоминает что-то, а может быть, взвешивает: сообщать или не стоит? Он непрост, этот коренастый человек с завораживающей улыбкой...

— Вероятно, биографические данные вас не очень интересуют? Все родятся, учатся, женятся, переходят с одной работы на другую... Схема универсальная и для всех примерно одинаковая. Вас, мне кажется, внутренняя жизнь должна занимать, формирование, как бы сказать, личности, человеческого «я».

— Пожалуй, вы правы: интересует меня не столько общее, сколько индивидуальное.

— Шкетиком, дохлячком пришел я в первый класс. Одежка нищенская, бойкости ноль. Все стенки подпирал... Ну вот... И запомнилось: попросился я из класса выйти. Учительница сказала: «Иди, Грачев». Вышел и топаю по коридору, а коридор солнечный, веселый, праздничный такой, только тут откуда ни возмись мальчишка, может семи- или восьмиклассник. Выбегает из спортзала. В трусах, в майке, в резиновых туфлях, вроде теперешних полукедов. Окликает меня: «Эй, пшено, подь сюда!» Я подошел, а он велит: «Завяжи шнурок на тапочке!» — и сует мне свою ногу. Я спрашиваю: «А ты сам почему не можешь?» Он посмотрел на меня как-то дико — мне даже страшно сделалось — и велит: «А ну! Завязывай, не то по стенке тебя размажу».

И опять Грачев замолкает.

Я не тороплю Анатолия Михайловича и живо представляю себе маленького и большого в солнечном коридоре, почему-то мне видится разлапистый фикус в кадке и слышится тихое гудение классов...

— И побил он меня. Сильно побил. Но это не самое главное. От обиды и боли, оттого, что он порвал на мне рубашку, а за это, я знал, мне еще дома влетит, я так расстроился, что проторчал в уборной до конца урока. Плакал или не плакал — не помню. Может, молчком переживал. А когда начался следующий урок, учительница спросила: «Где ты был столько времени, Грачев?» Я сказал: «В уборной» — и весь класс засмеялся.

А она сказала: «Дети, тише!» — И мне: — «Нехорошо обманывать, Грачев, стыдно! Если ты прогулял пол-урока, так и надо говорить — прогулял, если успел еще и подраться, так и надо говорить — подрался». И тут, это уж я точно помню, тут я страшное дело как разревелся. А учительница решила, что я плачу, сознавая, как плохо поступил, хотя я ревел потому, что не мог примириться с несправедливостью. ...Чепуху рассказываю? — неожиданно перебил себя Грачев и посмотрел мне в глаза своим особенным требовательно-пронизывающим взглядом.

— Это совсем не чепуха, Анатолий Михайлович, и вы прекрасно понимаете...

— Понимаю... Извините. Из такой вот чепухи в конечном счете жизнь складывается... Вернее, даже не складывается — определяется. Потом я много раз сталкивался с несправедливостью, и всегда мне было больно и страшно, вроде ознобом прохватывало... Может быть, это и привело в училище и вообще к работе, которой я теперь занимаюсь... Слушайте, а чего мы сидим здесь? Пошли на воздух!

Как хорошо было вдохнуть свежий весенний воздух. Мы медленно брели по продуваемой низовым ветром улице, и Грачев продолжал:

— Несправедливость, особенно к незащищенным, а ребята всегда незащищенные — над ними все: отец, мать, бабушка, тетя, учительница, пионервожатая, милиционер, всякий, кто старше или сильнее, — может быть, самая большая беда на свете!

Вот рос я рядом с Мишкой, таким же бездомным, как сам. Раз долбануло его несправедливостью, два, три... С отчаяния, от неспособности защититься он озлобился и покатился под откос. Судили за хулиганство, отсидел, вышел; судили снова — за воровство, опять отсидел, и опять судили — за грабеж... Был я в зале суда и никогда не забуду, как он судьям сказал: «Мне терять нечего. Ваше дело судить, мое не попадаться. Постараюсь следующий раз не влипнуть».

И тут седой заседатель спросил его:

«А вы не боитесь, что следующего раза может вообще не быть?»

И что же, вы думаете, Мишка ему ответил?

«Тем лучше, если не будет...»

Достаю сигареты, предлагаю Грачеву.

— Благодарствую, не курю.

— И раньше не курили?

— Раньше курил. А когда в училище работать перешел, бросил. Нельзя требовать от ребят, чтобы они не курили, а самому смолить.

— По-вашему, учителя не должны курить, так сказать, принципиально?

— Именно — принципиально.

— И все ваши воспитанники не курят?
— Некоторые, к сожалению, курят.
— Значит, личный пример не всегда помогает?
— Не всегда. Но если бы я курил, курильщиков среди ребят было б много больше. — И почему-то резко спрашивает: — А вы считаете: или все, или ничего? Разве это единственно верная и возможная постановка вопроса?
— Мне как раз показалось, что это, Анатолий Михайлович, ваша главная слабость: в любом случае или — или.

Грачев улыбается.

— Это после моего обмена любезностями с Балыковым вам показалось? Вообще-то вы правы — маневрировать я не умею.

Мы ходим долго и говорим о многом. И чем дальше, тем больше нравится мне Грачев. Он ясный и естественный. До меня не сразу доходит, в чем источник этой уверенности в своей правоте. Случайная реплика Грачева отвечает на вопрос, который я хотел, но не успел ему задать.

— Слушайте, вот мне говорят: ты такой, ты сякой, ты рубишь в глаза кому угодно и так далее... А чего тут ненормального? Ну кого мне бояться, перед кем кланяться? Токарь я — на сто восемьдесят рублей в месяц, слесарь — на двести пятьдесят... Честно... К любому забору подойдите: требуются, требуются, требуются! Кого зовут? Меня...

— Если я правильно понял, Анатолий Михайлович, вы хотите сказать — нет ничего выше ремесла, специальности?

— Почему? Этого я не говорил! Нет ничего выше человеческого достоинства. А вот чтобы отстаивать это достоинство, чтобы иметь право быть самим собой, надо владеть ремеслом. Ремесло — это независимость... Вы думаете, я мальчишкам своим говорю: будьте настоящими слесарями? Никогда в жизни! Будьте людьми, говорю и стараюсь на примерах показать, вот человек, а это дерьмо...

С Анатолием Михайловичем мы встречаемся довольно часто: по поводу... и просто так. Иногда я заезжаю в училище, присутствую на занятиях, слушаю его беседы с ребятами, знакомлюсь с родителями оглоедиков, которые постоянно приходят к мастеру, а другой раз мы с Грачевым отправляемся на стадион, или в Дом кино, или на его любимую рыбалку, где не столько ловим рыбу, сколько отключаемся от городской суеты и спокойно толкуем обо всем на свете. Отношения наши постепенно упрочняются, и встречи незаметно делаются привычкой.

Не так давно Грачев попросил меня поговорить с ребятами о книгах. Ему никак не удавалось точно определить тему беседы, и, насколько я понял, Анатолий Михайлович хотел, чтобы я поделился своими мыслями о значении и роли книги в человеческой жизни.

Лектор я неважный, что и сколько читают мальчишки, не знал и начал с вопроса: какие книги вы любите больше всего?

К моему удивлению, ничего вразумительного ребята ответить не сумели. Были названы всего две-три книги, и я даю голову на отсечение, что назвали их только для того, чтобы не молчать вовсе.

— Стоит ли повторять прописные истины, ребята, стоит ли толковать, что книга — друг, учитель и все такое прочее? Это сказано до меня, сказано самыми авторитетными людьми, известно всем, кто хоть немного учился в школе... Я просто не представляю, как можно жить на свете, не читая, например, Чехова...

— Чехова мы проходили, — подсказал кто-то из группы, — «Каштанку» и еще это... ну, про шиликшпера и гайки...

И тут я, признаюсь, разозлился:

— Проходить можно мимо киоска, мимо фонарного столба, вдоль тротуара. «Проходить» Чехова нельзя! Чехова надо постигать, Чеховым надо жить. Никто не научит вас любить человека, уважать людей, сочувствовать чужой беде лучше Чехова. Все вы, насколько я заметил, с почтением относитесь к Анатолию Михайловичу Грачеву. Так неужели вы уважаете его только за мастерство, только за отличное владение инструментом? Думаю и даже уверен, вы не раз удивлялись способности Анатолия Михайловича разбираться в ваших характерах, проникать, что называется, в ваши души, угадывать ваши желания, причины ваших обид. Верно? Учить и воспитывать, не владея секретами человековедения, невозможно, а начинается эта наука с настоящей литературы. Вот почему Чехова нельзя проходить, Чехова надо постигать! И не только Чехова! Толстой, Лермонтов, Достоевский, Хемингуэй, Горький, Сент-Экзюпери, Куприн — великие учителя жизни. Не познакомившись с ними, вы, возможно, и станете первоклассными слесарями, но никогда не испытаете многообразия радостей жизни... — вот примерно в таком духе говорил я ребятам о книгах и литературе, не ожидая, конечно, никаких дурных последствий.

С неделю после этого мы с Анатолием Михайловичем не виделись, а потом я услышал:

— Ну и дали вы мне по мозгам! До сих пор не могу в себя прийти...

— Не понимаю, — сказал я, — чем вы недовольны?

— Наругали оглоедиков, насрамили, они схватились за книжки. И что теперь получается: один Чехова читает, другой — Экзюпери, третий — Куприна... И все спрашивают про то, про это, а мне как быть?

— Я сказал им что-нибудь неверное?

— Все вы очень верно растолковали, только сначала надо было меня просветить, дать время на подготовку. — И, вздох-

нув, как бы подвел итог: — Безнадежное дело серость маскировать...

— Могли бы и не приbedняться, — сказал я.

— А я не приbedняюсь. Культуры мне не хватает, не внешней — как вилку, ложку держать, галстук завязывать, — а настоящей культуры маловато... И не вы тут виноваты — сам...

Мне стало неловко, и я попытался смягчить ситуацию. Стал говорить, что Грачев напрасно казнится, надо учитывать условия, в которых он рос, воспитываясь без родителей...

Говорил я довольно долго и, как мне казалось, вполне убедительно. Но стоило взглянуть в лицо Анатолия Михайловича, увидеть насмешливые искорки в глазах, и я понял, — сейчас получу... И получил.

— Так можно все оправдать, — терпеливо выслушав меня, сказал Грачев. — Так всегда виноватые на стороне будут. А я убежден, что бы в жизни ни случилось, если ты настоящий человек и настоящий мужчина, вини прежде всего себя. Приятель разводится и на чем свет стоит клянет жену. А ведь сам виноват! От стоящего мужа нормальная жена к соседу не убежит. А если даже жена недостойная и кругом виновата, все равно молчи — сам выбирал и не разглядел, что за птица твоя «подруга жизни». Другой пример: молодой мастер напился, угодил в вытрезвитель и жалуется: мол, напоили и бросили. Спрашиваю: «Для чего пил? Сам ведь пил, не насильно... себя и вини!» Это все из жизни. Или вот: мальчишка получил законную двойку, а его послушать — кто виноват? Во-первых, учительница — спросила, когда он не ожидал; во-вторых, «Спартак» — играл с киевским «Динамо», и он, вместо того чтобы уроки делать, у телевизора проторчал; в-третьих, виноват еще Колька — тихо подсказывал... Нет уж, не утешайте. Сам человек за себя в ответе, только сам.

Незаметно мы возвращаемся к нашему постоянному и главному разговору — о мальчишках.

— Вы когда-нибудь обращали внимание на выражение лица мальчишки, когда он просит у отца двугривенный? Обратите... Присмотритесь и хорошенько подумайте над тем, что увидите...

Почему-то мне вспоминается почти забытое детство. Конечно, своего лица я не мог видеть, а если бы и видел, не запомнил, но чувство стеснения, отчаяния и чего-то еще, липкого и унижительного, возникавшее каждый раз, когда мне, двенадцатилетнему пацану, приходилось обращаться за деньгами к родителям, оказывается, еще не совсем выветрилось... живет.

— Мальчишка просит у отца двадцать копеек. Возможные варианты? Отец не спрашивая, для чего деньги и почему нужен именно двугривенный, небрежно дает монету и проходит мимо. И есть в отцовском жесте что-то оскорбительное, будто милостыню подал... Это легкий случай! Бывает, бдительный роди-

тель долго выясняет, так ли уж нужны сыну двадцать копеек. Не собирается ли он истратить их на сигареты?.. Не довольно ли будет гривенника?.. В итоге — за двадцать копеек мальчишка унижен на полный трояк. Это уже трудный случай! Между такими, крайними, вариантами с десятков промежуточных. И вот что получается: легкие деньги — плохо, трудные деньги — тоже плохо. Мы стараемся обходить проблему материальной зависимости детей от родителей, помалкиваем, делаем вид, что ничего такого вообще нет, а между тем половина неприятностей начинается с копеек. Даже не с самих копеек, а с того сложного клубка взаимоотношений, который завязывается и часто запутывается именно на этой почве. И тогда приходится по живому резать... Через сорок минут предстоит подобная операция. Если есть желание, можете поприсутствовать. Поучительный будет разговор, хотя и скучный.

Пока Анатолий Михайлович говорит, он низко опускает голову, словно хочет боднуть собеседника — есть у него такая привычка, я думаю: «Вот он всегда такой — стремительный и неожиданный. Выдал мне «за литературу», признал свои промахи и тут же, без передыха, понесся дальше».

Иногда Грачев кажется непоследовательным, вероятно, он и на самом деле не взвешивает заранее каждое слово, не репетирует каждый жест, но курс свой держит точно и цель видит ясно...

Не знаю, возможно ли другому человеку скопировать воспитательные приемы Анатолия Михайловича, скорее всего нельзя, но наблюдать за ним, учиться его искренней увлеченности — одно удовольствие...

В кабинете завуча никого постороннего, кроме меня, нет. Грачев сразу объясняет, кто я, почему здесь, и спрашивает:

— Не возражаете, чтобы разговор происходил в присутствии товарища?

Видю испуганный взгляд, замечаю нервные движения пальцев, слышу чуть хриплый голос матери:

— Как сами считаете, Анатолий Михайлович...

— Я считаю, Сергею будет полезно. Так вот, первый вопрос: сколько вы зарабатываете, Мария Афанасьевна?

— Сдельно работаю, когда сто десять, когда сто двадцать...

— Запиши, Сергей: на круг — сто пятнадцать. Правильно, Мария Афанасьевна?

— Правильно.

— За квартиру сколько платите? За свет? За детский садик Тани? Вычеты? Словом, сколько на сторону уходит?

— За квартиру шесть рублей, за свет — три, за детский садик — десятку, — испуганным голосом перечисляет Мария Афанасьевна...

— Сколько остается, Сергей? — строго спрашивает Грачев.

— Девяносто семь.
— Синяя куртка Сергея сколько стоила?
— Сорок три рубля.
— Так. Сколько остается?
— Пятьдесят четыре, — хмуро отвечает мальчишка.
— Тане в прошлом месяце что-нибудь покупали?
— Ботиночки изорвались... и колготки покупала...
— Сколько истратили? — все тем же жестким голосом спрашивает Грачев.

Я смотрю в лицо Анатолия Михайловича и не узнаю его — прищуренные глаза стали недобрыми, рот поджат. Такой обычно добродушный и располагающий к себе, он выглядит отчужденным и совсем не мягким.

— Одиннадцать рублей отдала...
— Что остается, Сергей?
— Сорок три...
— Себе покупали что-нибудь?
— В прошлом месяце не получилось... что осталось — на питание, ну и в дом тоже кое-чего по мелочи надо было...
— На мелочи сбрось, Сергей, тринадцать рублей. Не много будет, Мария Афанасьевна?
— Нет, что вы...
— Что осталось?
— Тридцать.
— Сколько получается на день, Сергей?
— Ну, рубль.
— А в училище на сколько тебя кормят?
— На рубль пять.
— Погляди теперь матери в глаза и скажи: есть у тебя совесть или нет? Что заработал, до дому не донес, так? Так. И матери на еду меньше, чем тебе, осталось. Так? Так. А вы, Мария Афанасьевна, небось и ему и Тане яблоки покупали, мороженое?..

— Покупала.
— Как это называется?

Наступает долгое и трудное молчание. Молчит мать, вздыхает и смотрит в сторону, молчит Сергей, уставясь в пол и дыша чуть слышно. Какое-то время молчит и Грачев.

— Как думаешь, Сергей, будь отец жив, позволил бы он такое?

Молчание.

Мария Афанасьевна украдкой вытирает глаза.

— Ты мужчина или тряпка? Знаю, деньги не пропил, в карты не проиграл, купил коньки. Но разве это меняет дело? Почему ты не принес получку матери и не посоветовался, как быть? В чем мама тебе отказывает? Отказывает?

— Нет, — едва слышно выговаривает мальчишка.

— А сейчас мать по чьей вине плачет? Или мало она без тебя в жизни плакала?

Молчание.

— Молчишь? Я тебя учил и учу не молчать, а отвечать за свои поступки. Отвечай.

— Я хотел... я хотел... — чуть слышно выговаривает Сергей и больше ничего уже сказать не может.

— Хотел! Все всегда чего-нибудь хотят. Нормальное дело. Но этого мало — хотеть. Надо еще соображать, что можешь, а чего не можешь себе позволить.

— Вообще-то, Анатолий Михайлович, — не выдерживает мать, — я на Сережу не жалуюсь, он неплохо ко мне относится и Таню жалеет... Конечно, в этом месяце нехорошо получилось, мог бы и подождать и спросить, тем более зима уже кончилась...

— Неправильно рассуждаете, Мария Афанасьевна, и напрасно сыночка под защиту берете. Не маленький. Мужчина. И должен сначала думать, а потом действовать. Что это за мужчина — над собой не хозяин? Я лично и руки такому не подам... А чего ревешь? Себя жалеешь? Жалеть, между прочим, мать надо. Удовольствие ей все это слушать и нам, посторонним людям, в глаза смотреть?..

Грачев поднимается и обрывает разговор:

— Вас, Мария Афанасьевна, прошу быть в дальнейшем строже. Что касается Сергея, пока не придет в чувство и не поймет, как надо жить, я с ним разговаривать буду только по делу. Все.

Мария Афанасьевна поспешно прощается и выходит из кабинета завуча. Неслышно исчезает Сергей. Грачев медленно вышагивает от окна к двери и снова от двери к окну, дышит редко и шумно, словно после неудачного подхода к штанге.

— Ну черт, после такой экзекуции ничего на свете не хочется.

— Думаете, поможет? — спрашиваю я.

— Что значит — «думаете»? Не может не подействовать. Тем более Сережка парень избалованный. И учится хорошо. И к матери относится правильно. Сорвался. У них это бывает: хочут! И пусть трава не растет, а дай!.. Родители сами виноваты — потворствуют... А вообще-то я не ожидал, что он так легко протечет. Сережка упрямый, упрямые труднее плачут... подействовало, зацепило...

Мы собирались уже уходить из училища, когда я, соединив многие предшествовавшие разговоры с тем, которому был только что свидетелем, спросил:

— Вот вы, Анатолий Михайлович, заставили Сергея бюджет семейный с карандашом проанализировать, а сами вы такой анализ, я имею в виду своих доходов, делаете?

Он заулыбался и ответил с легкостью:

— Мои доходы и без карандаша подсчитаешь не запутаешься.

— Значит, работа в училище, с точки зрения заработка, вам невыгодна? — спросил я.

— Ясное дело — сплошной убыток.

— Так почему же вы все-таки работаете?

— Из всех вопросов, что вы мне до сих пор задали, этот и самый трудный, и самый простой. Во-первых, я не считаю, что выгода или невыгода выражается только в рублях. Во-вторых, чем прикажете измерять удовольствие? В-третьих, на любой работе ты ее, а она, работа, тебя ломает, и это тоже важно... Короче: здесь я не железки пилю, а людей изготавливаю! И это кое-чего стоит. С пацанами общаясь, сам лучше делаешься. На заводе я бы до сорока лет Толиком ходил, а тут Анатолий Михайлович... А рублей нам действительно маловато платят...

Медленно шел я из училища к остановке метро. Впереди были дела и встречи. Я еще не знал, как сложатся наши дальнейшие отношения с Грачевым, насколько мы сблизимся, насколько необходимы окажемся друг другу, но в одном не сомневался — мы не случайные соседи на земле и не просто нечаянно столкнувшиеся на перекрестке прохожие.

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ И ЕЩЕ МИЛИЦИЯ

С утра еще Анатолий Михайлович заметил — Миша Юсупов подозрительно суетлив и беспокоен: то он просился выйти в туалет и исчезал минут на десять, то, когда Грачев приближался к его рабочему месту, что-то прятал от мастера, то подозрительно часто подходил к точильным кругам и возился над ними. По логике характера Юсупова, мальчишки быстрого, нервного, плохо управляемого, можно было ожидать какой-нибудь очередной каверзы. И Анатолий Михайлович держался настороже, хотя и не торопился вмешиваться, разоблачать Юсупова. Интуиция подсказывала: не трогай, не мешай, ничего плохого не должно случиться. Придись Грачеву держать ответ перед высокой методической комиссией, почему он в этот день предоставил непутевому ученику полную свободу действий, Грачев не ответил бы вразумительно.

— Опыт, знаете, подсказывал... и нюх — не мешай...

День подходил к концу, ребята начали сдавать работу. Грачев отвлекся, разглядывая угольники, — группа, выполняя заказ цеха ширпотреба, делала плоские мебельные угольники: стальная четырехмиллиметровая полоска, перегнутая под девяносто градусов, два отверстия на одном конце, два — на другом. Простая эта работа требовала аккуратности: угольники врезались вплотай, и потому стороны у них должны были быть строго параллельны, а отверстия под головками шурупов раззенкованы точно. Ребята подносили готовые детали в металлических ящичках, докладывали: сорок шесть, сорок восемь, шестьдесят четыре...

Грачев брал один-два угольника, прищурившись, оценивал готовую деталь, иногда промерял расстояние между сверлениями или проводил пальцем по кромке, говорил: «Нормально» — и, отметив в журнале, кто сколько сдал деталей, ставил оценку. Почти вся работа была исполнена хорошо...

Он еще не понял, что произошло, но почувствовал — что-то случилось. В мастерской стало слишком тихо, ребята расступились. И по образовавшемуся проходу, как сквозь строй, к мастеру шел Юсупов. Он сгибался под тяжестью громадного противня, плотно набитого угольниками.

— Вот, двести семьдесят пять штук...

Грачев взял один угольничек, повертел в пальцах — придраться было не к чему, взял второй, взял третий... Промерил. Сработано было на совесть.

— Молодец, — сказал Грачев, — молодец, Миша. Докладывай.

Путаясь в словах, стараясь не слишком выдавать свою радость, Юсупов заговорил быстро и сбивчиво:

— Заготовки рубил подряд, в размер... Потом делал разметку и сверлил: одно отверстие левое, одно — правое... Потом пакет собирал, на два болта затягивал. Пакет — двадцать пять штук. И сразу две поверхности обрабатывал... Вторые отверстия сверлил через пакет: сначала — левое, потом — правое... — и тут же перебил себя: — Если хорошие приспособления сделать, можно и четыре отверстия сразу сверлить, еще быстрее будет...

Работа Юсупова получила общее признание, и группа решила: Юсупова объявить первым мастером дня, использовать его опыт. Тут же объявили соревнование на лучшую конструкцию приспособления.

Грачев был доволен. Дело, конечно, не в двух сотнях лишних угольников, а в том, что наконец-то удалось расшевелить Юсупова, направить неумемную его энергию в разумное русло.

Ребята убрали мастерскую, и дежурный доложил мастеру: — Все в порядке.

По заведенному обычаю Анатолий Михайлович медленно пошел вдоль верстаков. Он не слишком придирался к уборщикам: знал — убрано, да и не было у него привычки фетишизировать чистоту в слесарной мастерской — все хорошо в разумных пределах. Но время от времени он приоткрывал инструментальные ящики и заглядывал внутрь. Так требовал этикет.

В третьем или четвертом ящике вдруг увидел: инструмент разложен, что называется, под шнурок, каждый напильник в своем гнезде, каждое сверлышко в пенале и молоток и ножовка на месте; и все деревянные ручки выкрашены ярко-желтой, блестящей краской.

У Грачева заняло сердце. Петя Шимонин был самым тихим, самым забитым и самым неспособным учеником из всей группы. Анатолий Михайлович едва ли не в первый день знакомства понял: из Шимонина слесарь не получится. По тому, как маль-

чишка брал в руки зубило, по тому, как взмахивал молотком, по тому, как напряженно орудовал напильником, можно было с уверенностью сказать — работа с металлом не его стихия. Но он старался. К тому же Грачев знал: обстановка в семье хуже некуда: мать пьет, отец неродной, чуть не ежедневно в доме скандалы...

И вот теперь Грачев смотрел на трогательные блестящие ручки и будто слышал едва различимый голосок мальчонки:

— Ну хоть это заметь, мастер! Похвали.

Грачев закрыл ящик, быстро закончил осмотр мастерской и сказал дежурному:

— Все в порядке. Свободны. Посмотри, пожалуйста, в раздевалке, если Юсупов не ушел, пусть на минутку вернется.

Юсупов примчался тут же, примчался встревоженный.

Анатолий Михайлович чуть улыбнулся и сказал:

— С работой все в порядке. Не волнуйся. Я вот о чем подумал: а что, если нам разбиться на пары? Один собирает пакеты и сверлит, другой, посильнее, опиливает боковые поверхности, потом первый разбирает пакеты... Как думаешь, пойдет?

— Сильному надо и опиливать и сверлить пакеты, а второму — остальное. Тогда пойдет, — наморщив нос, сказал Юсупов. — А заработок делить так: первому три, второму две доли. Обоим выгодно и справедливо.

— Пожалуй, — будто бы раздумывая, согласился Грачев. — Мне нравится твоё предложение. Кого в напарники возьмешь?

Юсупов внимательно поглядел на мастера. Помолчал. В его непутевой голове происходила какая-то скрытая работа мысли — даже морщинки на лбу проступили. Ответил не сразу:

— Кого назначите, Анатолий Михайлович, я согласный.

— Спасибо, Миша. Предложи Шимонину. Надо...

— Хорошо, Анатолий Михайлович, я понимаю.

— Я уверен. Он будет стараться, — сказал Грачев.

— Факт, будет. И все-таки заработает...

— Ну и хорошо. А деньги у тебя есть?

— Два рубля, — с готовностью ответил Юсупов. — А сколько надо? Больше? Достану...

— Домой через Курский едешь?

— Через Курский.

— Там цветы должны продавать, Миша... Купи.

— Чего?

— Цветы купи.

— На кой?

— Матери отвези.

— Не знаете вы моей матери...

— У тебя сегодня праздник, Миша. Заработал хорошо.

Отвези.

— А чего сказать?

— Ничего. Отдай просто так.

— Да она смеяться будет, Анатолий Михайлович.

— Не будет. Лично я не видел еще ни одной женщины на свете, которой неприятно было получить в подарок цветы. Поверь мне.

Совещание, как обычно, началось точно в назначенное время, в этом Балыков был строг и никаких, даже пятиминутных задержек не допускал.

Выслушали короткое сообщение заведующего учебной частью об успеваемости в теоретических дисциплинах и плане подготовки к предстоящим экзаменам.

Перешли к следующему вопросу.

Николай Михайлович прочитал заявление одного из родителей. Отец пространно, в весьма приподнятых выражениях высказывал свое неудовольствие молодым мастером, «который в ряде отдельных случаев позволяет себе предъявлять требования, не соответствующие возрасту, общей подготовке, а также моральному состоянию моего сына Борискина Валентина, который при прежнем мастере числился в передовых рядах как по практике, так и в еще большей степени по теории, а теперь скатился значительно вниз.

Хочу обратить внимание педагогического совета училища на молодой возраст мастера Андреади Григория Константиновича, его вспыльчивый характер и отсутствие педагогического такта, выразившееся и в том, что товарищ Андреади отказался дать мне объяснения по вышеуказанному вопросу, когда я предложил ему это...».

Заявление было длинным, склочным и не стоило того, чтобы, отнимая время у мастеров и преподавателей, читать его до конца. Но Балыков все-таки дочитал до самой последней точки и спросил:

— Какие будут мнения, товарищи?

— А почему не пришел на совещание этот Борискин, если он так обижен на Андреади? — спросил старый мастер Коновницын.

— Мы приглашали товарища Борискина, но он сказал, что сегодня не сумеет прибыть на совещание, — объяснил Николай Михайлович, — однако я думаю, что от того, присутствует товарищ Борискин или нет, существо вопроса не меняется.

— По-моему, этот вопрос вообще никакого существа не имеет. Андреади молодой — верно, и ни по нашему решению, ни по желанию Борискина старше не сделается, — сказал Коновницын.

— Этого папашу нам бы вызвать следовало, только не для того, чтобы его указания выслушивать! — сказала преподавательница физики. — Пусть бы он узнал, какое наказание Валентин Борискин, а не ученик.

— Не дальше как вчера Борискин сбежал с моих занятий, — подал реплику физрук.

— Минутку, товарищи! — призвал к порядку Балыков. — Что представляет собой Валентин Борискин, мы знаем. Но речь сейчас не о нем. Поступило заявление, верное или нет — другое дело, наша обязанность ответить по существу. Я бы попросил Григория Константиновича в двух словах обрисовать положение. Пожалуйста.

Встал черноволосый, подтянутый парень, меньше всего походивший на преподавателя, и четко, по-военному, заговорил:

— Докладываю суть: Валентин Борискин отказался участвовать в уборке мастерской. Сообщил, что у него грыжа и поднимать тяжести запретил врач. Имея некоторое представление о Борискине, я приказал принести медицинскую справку с указанием, какие работы он производить может и какие не может. Справки Борискин не представил, и я отстранил его от занятий, полагая, что в мастерских работа физическая...

— Кому вы сообщили о своем решении? — спросил Балыков.

— Никому не сообщал.

— Почему?

— Разве я обязан каждую чепуху докладывать старшему мастеру?

— Продолжайте.

— Несколько позже позвонил отец Борискина и стал мне читать мораль. Я сказал: если интересуетесь успехами сына, потрудитесь зайти в училище, и я вас проинформирую. Все.

— Что вам ответил Борискин?

— Мне не хочется, Николай Михайлович, повторять его слов...

— Но это важно...

— Слова были оскорбительные, их смысл сводился к тому, что я щенок и не смею давать указаний старшему товарищу.

— И тут, Григорий Константинович, вы, надо думать, не остались в долгу? Высказались, как умеете высказываться?

— Николай Михайлович, не делом мы занимаемся. Хочет Борискин выяснять отношения, пусть явится, не хочет — напишем ему, что по телефону училище справок о своих воспитанниках не дает, — сказал Коновницын, — и дело с концом.

— Товарищи, товарищи... — снова призвал к порядку Балыков. Но тут зазвонил телефон, и Николай Михайлович отвлекся.

Грачев сидел и злился. Ему ужасно хотелось вмешаться и сказать слово в защиту Гриши Андреади, мастера молодого, во многом неопытного, но исключительно добросовестного и преданного. А главное, Анатолию Михайловичу претила подноготная этой истории — Борискин-старший работал в плановом отделе завода и от него в какой-то мере зависело, выгодные или невыгодные заказы попадают в училище.

Мысленно Грачев уже произнес свою речь:

«Неужели нет на свете зверя страшнее кошки, товарищи?

Ну, работает папаша Борискин в плановом отделе и делает вид, что в его руках выгодные для училища заказы. Так что? Из-за этого носиться с балбесом-сыночком? Смешно! В конце концов, в плановом отделе есть начальник, заместитель, секретарь партбюро и вообще люди. Я вовсе не предлагаю подкладывать свинью папаше Борискина и ставить вопрос о его родительских обязанностях, хотя и не исключаю такого хода, но можно пойти к плановикам и поговорить с ними. Неужели они наших пацанов обидят? Никогда!..»

Произнести речь Грачеву не пришлось, да и вообще разговор о Борискине иссяк сам собой. Николай Михайлович преувеличенно громко сказал в телефонную трубку:

— Все ясно, Аркадий Гаврилович! Раз надо, сделаем...

И все поняли — Балыков разговаривал с директором завода. Училище существовало при заводе. И пожелание, просьба, поставленная директором задача — это подразумевалось само собой — имели силу закона.

— Товарищи, минуту внимания! — сказал Балыков, опустив трубку на аппарат. — Решением заводоуправления нам поручается провести День завода. Все учащиеся, весь преподавательский состав должны выйти на территорию и отработать полный день на приведении в порядок заводских площадей. Подробный план распределения участков, объем работы будут представлены в ближайшее время. Но уже сейчас, непосредственно завтра утром, надо начать разъяснительную работу... Каждый учащийся должен понимать, какой вклад он внесет в общую копилку. Полезно напомнить, что все получаемое училищем идет от завода, что никто не жалеет ни сил, ни средств на подготовку кадров, и в этот день каждый получает возможность отблагодарить старших товарищей за заботу и внимание... — Балыков говорил еще несколько минут, но Грачев не слушал. Все это он знал наизусть, его раздражали не столько слова, сколько напускной пафос, с которым они произносились...

«Завод располагает штатом подсобников. У завода есть техника — тракторы, машины, бульдозеры и всякая еще уборочная чертовщина... те, кто обязан, месяцами не убирают территорию... А теперь аврал... такое безобразие называют патриотическим почином... — думал Грачев. — Почему я должен вести моих мальчишек в этот бедлам, махать вместе с ними метелкой и делать вид, что так и надо?»

Совещание скомкалось и как-то само собой прекратилось. Начали расходиться. Анатолий Михайлович дошел уже до двери, когда его окликнул Балыков:

— Всего два слова, Анатолий Михайлович.

— Слушаю вас.

— Вы дали списки на фотографирование ребят?

— Дал.

— Вы эти списки с ребятами обсуждали?

— Конечно. Как всегда.

— Как всегда, оно-то как всегда, но на этот раз жаль... Юсупова выдвигает группа?

— Выдвигает, и притом единогласно.

— Досадно, однако. Тут запрос пришел. Из отделения милиции характеристику на него требуют. Представляешь, Анатолий Михайлович?

— Ну и что? Раз просят — пошлем.

— Послать-то пошлем... да как бы накладки не получилось? Мы расхвалим, а потом выяснится... Или ты забыл, как в прошлом году с Парамоновым неладно получилось?

— Если хотите, я съезжу в отделение, поговорю предварительно, выясню обстановку... Хотя я не думаю, что там может быть что-нибудь серьезное. Мишей я доволен.

— Договорились. Пока оставляем вопрос открытым. Ты съезди и тогда уже решим.

— Только пусть завтра Юсупова все равно фотографируют, как всех, кто намечен! Чтобы у Миши никаких там сомнений-интерпретаций не возникло.

Грачев взглянул на директора, хотел что-то еще сказать, но раздумал.

На автобусной остановке Анатолий Михайлович увидел Андреади. И тот сказал:

— Или, пока за несоответствие не выгнали, самому заявление подать, как ты считаешь?

— Не валяй дурака, Гриша. Ты на кого работаешь? Тебе ребят разве не жалко?

— Вот то-то и оно — ребят жалко. А иначе бы хоть завтра с утра плюнул, и... будьте здоровы!

— Погоди. И во всяком случае, завтра с утра не плюй. С утра попрошу тебя присмотреть за моими, мне отлучиться надо будет часа на два.

Нужное Анатолию Михайловичу отделение милиции располагалось в новом районе, и добирался он туда долго. Ехал и все удивлялся, до чего велика стала Москва, не город, а государство!

Отделение находилось в небольшом, сложенном из светлого силикатного кирпича кубике, обсаженном молоденькими липками и обрамленном широким аккуратным газоном.

Грачев потянул большую, сплошь из стекла дверь и очутился перед традиционной стойкой.

Несколько дальше, в глубине помещения, за старым канцелярским столом, под зеленой, тоже не новой, лампой восседал младший лейтенант милиции.

— Здравствуйте, — сказал Грачев, снимая кепку.

Почему-то младший лейтенант приветствие Грачева пропустил мимо ушей, строго поглядел на посетителя, спросил официальным голосом:

— По какому вопросу, гражданин?

— К майору Глоба. Приглашен. И пока еще можете смело называть меня товарищем. Можете мне улыбнуться. Я хороший, меня все любят, товарищ младший лейтенант.

— К майору Глоба вход со двора. Второй этаж. Комната семь. — И младший лейтенант, когда уже Грачев и не ждал, улыбнулся ему.

Грачев поднялся по широкой лестнице на второй этаж, отыскал комнату номер семь, постучал и вошел.

Майор Глоба оказалась женщиной.

Почему-то Анатолий Михайлович удивился, хотя он прекрасно знал — в милиции служит немало женщин.

Грачев представился.

— Прошу, садитесь. Меня зовут Тамара Викторовна. Одну минутку... — Она достала какой-то реестр, полистала и, видимо, найдя то, что нужно, спросила: — Вы по поводу Миши Юсупова?

— Собственно, у меня, Тамара Викторовна, нет никаких поводов жаловаться на Мишу. Вы или от вас звонили директору училища и просили представить на Юсупова характеристику. Я, его мастер, подумал: бумагу написать недолго, но не лучше ли съездить и поговорить?..

— И всегда вы так — лично на каждый запрос выезжаете? — серьезно и, как показалось Грачеву, не без подозрительности спросила Тамара Викторовна.

— Не каждый же день милиция моими мальчишками интересуется.

— А трудный у вас народ?

— Почему обязательно трудный? Разный! Есть и трудные, но в общей массе нормальные ребята... Сначала забот с ними хватает, потом, когда они втягиваются в училищную жизнь, легче делается.

— Вы давно мастером работаете?

— Порядочно. В общей сложности почти двадцать лет.

— Так что Юсупов?

— Крученный парень. Надо ему обязательно на виду быть. Есть такой грех. Бойкий, особенно на язык... Самолюбие сильно развито. Я его тут подначил: дескать, здоровый ты парень, с твоими данными только борьбой и заниматься! «Завелся», ходит в секцию, старается... А у нас в спортсекциях строго — двойку по физике или математике схватил, с занятий — вон! Но Юсупова заело, и деваться некуда — пыхтит, тянется...

— С товарищами как у него отношения?

— Обыкновенные. Поможет, если в состоянии. И не скандальный. Чувство справедливости развито. Покомандовать, правда, любит, порисоваться.

— Словом, вы характеризуете Юсупова вполне положительно?

— Вполне. Вот сейчас я здесь, у вас, а его на доску передовиков фотографируют...

— Ну что ж, очень хорошо. Спасибо. Больше у меня вопросов нет. — И майор Глоба жестом радушной хозяйки показала — дескать, рада бы и еще поговорить, но, извините, дела...

— Все? И писать ничего не надо? — удивился Грачев.

— Не надо. Мы старые картотеки проверяли. Юсупов у нас значился... теперь я отмечу — все в порядке, нашего особого внимания не требуется...

— Так просто? Без акта, без протокола?..

— Разве вы от своих слов откажетесь?

На том они и расстались.

Грачев вышел на улицу в странно приподнятом настроении. Прежде всего его радовало, что с Юсуповым все в порядке. Как ни ликуй по поводу его последних трудовых успехов, ждать от Юсупова можно было все-таки чего угодно.

На глаза Анатолию Михайловичу попалась телефонная будка. Он порылся в кармане, нашел монетку, позвонил Балыкову.

— Николай Михайлович! Я из милиции говорю...

— Да-да, слушаю. Что выяснилось?

— Николай Михайлович! Ничего, знаете, пока не выяснилось...

— Какие они хотят получить данные?

— Я уже выдал. Положительные данные...

— Не поторопился?

— Нет. Еду в училище...

— А чего ж ты звонишь?

— Чтобы вы не беспокоились. И напомнить, не пропустили бы Мишку, когда начнут фотографировать. Все.

Балыков с минуту смотрел на умолкшую телефонную трубку и никак не мог понять, что же его настораживает? Конечно, мастер Грачев — превосходный, и доказательств искать не надо — на глазах у всех, буквально за несколько недель наладил самую отстающую группу и упрямо тянет вчерашних бездельников на ведущее место. Это он и раньше умел. Но что-то появилось в Грачеве новое, непонятное. И это непонятное раздражало и сбивало с толку Балыкова.

Как раз накануне он пытался поговорить со своей давней знакомой — интеллигентной женщиной и знающим, как он считал, завучем средней школы.

С Беллой Борисовной Балыков познакомился в двухнедельном доме отдыха.

Избегая называть имена, рисуя ситуацию в общих чертах. Балыков изобразил Белле Борисовне дело так: возникает непонимание между ним — директором и хорошим мастером, мастера он не просто уважает, готов у него даже кое-чему поучиться... а вот вопрос: почему мастер видит жизнь как бы в другом освещении?..

Тут Белла Борисовна перебила Балыкова и, волнуясь, сказала:

— Увы, мне это состояние очень знакомо. Недавно я сама испытала нечто похожее. Правда, столкновение произошло не с мастером, а с родителем моего ученика... Я много думала об этом. Сначала мне казалось, мы, в средней школе, отстаем от жизни... Судите сами: что может быть обыкновеннее автомобиля?! А я в жизни не была на автомобильном заводе и понятия не имею, как делают машину... Мы толкуем об атомной энергии, о космосе, а где мне найти время съездить на выставку и хотя бы на макет спутника поглядеть?.. Но вы-то куда ближе к жизни...

— Что вы говорите, Белла Борисовна?! У нас не меньше совещаний, заседаний, текущих забот, бумаг...

— Летчик должен летать, балерина репетировать новые партии, инженер делать свое дело. Только нам, тем, кто учит и воспитывает, всегда мало того, что мы делаем...

Они поговорили еще некоторое время, посочувствовали друг другу и, так ничего нового не открыв, расстались.

Теперь Николай Михайлович Балыков вернулся мыслью к этому разговору, припомнил несколько реплик Грачева, оброненных вскользь, и неожиданно для себя подумал: «Нам, директорам, завучам, самим учить надо!»

Сначала мысль эта показалась нелепой, но потом, еще и еще раз произнеся про себя столь простые слова, он вдруг отчетливо понял: пока у него были свои, собственные, личные ученики, персональная группа токарей, общаться и с подчиненными и с начальниками ему было куда проще. А с тех пор как он утратил прямую связь с пацанами, жить стало труднее.

Почему?

Ответить на этот короткий вопрос Балыков не мог. Мудрости ли, ума, может быть, смелости не хватало...

Талант мастера в нем жил, а таланта директора не было. В свое время Балыкова приподняли, пока он был «врио», помогали, и сам он, стараясь оправдать доверие, не решался признаться, как ему трудно... А потом, через год, заводить разговор о возвращении на старую должность сделалось невозможным, и Балыков, осторожно балансируя, остался на случайно занятой им высоте...

Не так часто приглашает к себе директор завода начальника цехового участка, тем более неглавного, вспомогательного участка. Не ожидая ничего хорошего, переступил Ермолин порог директорского кабинета.

— Звали? — спросил начальник участка и, спохватившись, поздоровался: — Здравствуйте, Аркадий Гаврилович.

— Здравствуйте и садитесь. Сейчас...

Аркадий Гаврилович поднял трубку селектора и сказал:

— Пожалуйста, Клавдия Васильевна, полчаса не соединяйте меня ни с кем и посетители пусть подождут.

«Полчаса, — отметил про себя Ермолин, — значит, разговор будет серьезный». И приготовился защищаться. Директор достал из стола ученическую тетрадку, заглянул в нее и спросил:

— Скажите, Ермолин: можно ли, на ваш взгляд, в детали 1408 заменить расклепку оси запрессовкой?

Ермолин живо представил себе прямоугольную площадку с коротенькой осью в центре и уверенно сказал:

— Почему нельзя? Если изготовить приспособление, можно...

— Как вам такая идея? — И директор протянул Ермолину листок клетчатой бумаги.

Ермолин взглянул на полудетский наивный рисунок и улыбнулся.

— Вроде толково!

— Правда? И всего-то надо — автомобильный домкрат и опору приспособить! Еще вопрос: стоит ли по детали 1412/7 разбить операцию сборки на два этапа? Первый — подсборка, второй — окончательная.

— А где людей взять?

— Не горячись. В принципе — есть смысл или нет смысла дробить? С точки зрения производительности?..

— Есть, — сказал Ермолин и тут же, почувствовав скрытую угрозу в казалось бы совершенно мирном разговоре с директором, решил катнуть пробный шар: — Если говорить в принципе, то весь участок можно автоматизировать и перейти на технологию двадцатого века.

— Так и будет года через два, когда соберемся с силами. А пока меня интересует, что можно улучшить малыми средствами, без капиталовложений. — И Аркадий Гаврилович, заглядывая все в ту же школьную тетрадку, задал Ермолину еще с десятком вопросов. И каждый раз Ермолин отвечал: можно, годится, стоит...

Наконец, закрыв тетрадку, директор задал новый вопрос:

— Вы Грачева Анатолия Михайловича знаете?

— Мастера из профтехучилища? Знаю, в ремесленном вместе учились; пацанов он на практику к нам приводил.

— Какого о нем мнения?

— Грачев мастер толковый. Если вы собираетесь заменить меня Грачевым, не сомневайтесь — он справится.

— Знаю, справится, — сказал Аркадий Гаврилович, — но... не согласится.

Эти последние слова директора Ермолина не обрадовали, подумал: «Но уж лучше так, чем в жмурки играть...»

— Был у меня Грачев, — заговорил снова Аркадий Гаврилович, — пришел с предложением: в День завода поставить его группу на ваш участок и дать возможность пацанам не просто

поработать, а, так сказать, внести свежую струю... Чтобы им польза и вам чтобы совестно стало. Не морщясь, тебя Грачев не ругал, тебе он сочувствует, а разнес меня. И знаешь за что? «Это, — говорит, — безобразие, вести мальчишек на уборку территории, показывать им, какое мы, взрослые, свинство развели, как бесхозяйственно относимся к материалам и готовой продукции». Говорил деликатно, а если дипломатическую шкурку снять, так получится: горе я, а не директор.

Аркадий Гаврилович подошел к окну и довольно долго смотрел на заводской двор, тесный, захламленный, как большинство старых заводских территорий. И то, что он говорил теперь, было обращено не столько к собеседнику, сколько к самому себе:

— Ничем меня Грачев так не удивил, как рассуждением про совесть: «Если ребят с училища к показухе приучить, какую потом с них работу спрашивать? Придут пацаны, метелками помашут, чужую обязанность кое-как исполнят и пусть им даже благодарность объявят, разве они не поймут — не делом занимались?»

Назначенные Аркадием Гавриловичем полчаса подходили к концу. Начальник участка понял: группа мальчишек-слесарей придет в цех, и он должен оказать ей всяческое содействие. План дня завода пересматривается. Директор одобряет образ мыслей и само вторжение мастера Грачева. Сообразив все это, Ермолин предложил:

— Может, закрепить группу Грачева за нашим участком не на день-два, а на более длительное время?

— А как вы им фронт работы обеспечите? Десять-пятнадцать операций наскребете, это мало, им же учиться надо...

— Можно по-другому сделать, — не сдавался Ермолин, — пусть они молодыми глазами выискивают недостатки и предлагают, что усовершенствовать малыми средствами. Им интересно, нам польза.

— Это дело! На такое можно и премиальный фонд образовывать.

Они уже готовы были расстаться, когда директор сказал:

— Теперь вот что, Ермолин: я у вас о Грачеве ничего не спрашивал, а вы ничего не говорили. — И, увидев откровенное недоумение на лице начальника участка, добавил: — Политика, дорогой! Не подводи.

— О чем разговор, — ничего не поняв, сказал Ермолин.

Десятью минутами позже директор завода звонил Балыкову:

— Привет, Николай Михайлович, посоветоваться хочу. Ты не можешь выделить группу слесаришек в помощь участку Ермолина? Завал у них. Засчитаем эту работу в счет Дня завода. Премируем. Сильная группа туда нужна, чтобы мальчишки были сообразительные и мастер с головой. Как смотришь?

— Раз надо, значит, надо, Аркадий Гаврилович! Есть у

нас и мальчишки сообразительные, и мастера толковые. Например, Грачева можно поставить, а можно и других подобрать...

— Для начала одной группы хватит, тесно у Ермолина... Значит, договорились — даешь группу Грачева и сам ставишь задачу! Пусть чувствуют — дело ответственное, отнестись к нему надо по-взрослому.

На собраниях в группах Балыков выступал довольно часто, но, увы, каждый раз это были малорадостные выступления: или обсуждалось чепе, или приходилось кого-то отчитывать, так что директорское слово бывало либо обличающим, либо стыдящим, иногда карающим...

Но на этот раз Николай Михайлович говорил весело, с воодушевлением. Вот, мол, дорогие друзья, сам директор завода обратился за помощью. И вам выпала честь — пойти на остающийся участок и показать взрослым рабочим, как повысить производительность за счет экономии времени, как приложить смекалку...

Выступление Балыкова приняли хорошо. Ребятам было интересно поработать на заводе да и утереть нос взрослым — так им рисовалась задача — тоже приятно, тем более что такое нечасто случается...

Потом группа осталась наедине с мастером, и Грачев сказал:

— Горим и пылаем энтузиазмом? Научим ермолинцев работать?

В ответ раздалась довольно бойкие реплики. И тогда Грачев спросил:

— А как, интересно знать, вы собираетесь утирать нос участку? Придете, скажете «здрасьте» и начнете вкалывать?

— Без перекуров...

— Инструмент подготовим...

— Рабочие места обеспечим...

— А без вас там, что — сплошной перекур? Или одной пилой весь участок обходится? — Тут Грачев вытащил из своего шкафчика здоровенный кулек и высыпал на верстак с десяток деталей. — Поглядите лучше, что будете делать.

Ребята мгновенно расхватили детали и принялись обсуждать, как изготавливаются все эти угольники, защелки, накладки — та самая метизная мелочь, без которой не обойтись ни одному мебельному производству.

Грачев выждал минут десять, достал пачку «синек» и передал мальчишкам.

— Поглядите чертежи и давайте предложения. Если мы действительно хотим что-нибудь доказать, готовиться надо... тут без хитрости никак не обойтись...

Целый день ребята спорили и ломали головы, как организовать дело, чтобы показать настоящий класс. В конце концов ре-

шили, какие операции разбить на две и на три, где и как использовать приспособления.

В День завода грачевские мальчишки работали как черти и буквально завалили участок Ермолина готовой продукцией. К тому же, уходя, они оставили с десятков толковых приспособлений. И еще успели, так сказать, сверх программы выпустить сатирический листок, который потом еще долго висел в главном пролете и поддразнивал кое-кого из кадровых рабочих.

Фотографии Юсупова, Леонтьева, Багрова и самого Грачева напечатали в заводской многотиражке. Директор издал специальный приказ, высоко оценивший полезную инициативу грачат. Николаю Михайловичу Балыкову в этом же приказе тоже объявлялась благодарность.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА

Может быть, это было ошибкой — приглашать Мишу Юсупова на личный разговор. Но Николай Михайлович так настойчиво давил на меня, что я и не заметил, как «начал собирать материал». Для чего? Этого я и сам не знал. Но идея «улучшенного контингента», не дававшая покоя Балыкову, постепенно овладевала и мной.

При каждой встрече Николай Михайлович внушал мне: «В настоящее время нет и не может быть ничего важнее, чем рассказывать о профессионально-техническом обучении молодых. Надо всюду рисовать нашу жизнь, объяснять особенности нашей системы подготовки, чтобы к нам не просто шли, а шли самые лучшие!»

Произнося эти слова — «самые лучшие», Балыков, видимо, представлял себе крепких, красивых, хорошо подготовленных средней школой мальчишек, и глаза директора становились умильно-мечтательными, а обычно плотно сжатые, тонкие губы слабели в доброй улыбке.

Повторяю: вероятно, было ошибкой — приглашать Мишу Юсупова для конфиденциального разговора, и я понял это, как только увидел мальчишку: причесанный волосок к волоску, в наглаженном форменном костюме, в аккуратно завязанном галстуке, Миша предстал передо мной напряженным, на самого себя непохожим. Видно, не ждал парень добра и приготовился к неприятному разговору.

Но делать было нечего, и я спросил:

— Почему, Миша, ты перешел из восьмого класса обычной школы сюда, в училище?

— Ребята сказали — тут лучше, ну я подумал маленько и перешел.

— А как ты до этого в школе учился?

— Обыкновенно учился. Бывали и четверки, а больше, конечно, троек...

— Где Миша, по-твоему, легче заниматься — в школе или в училище?

— Что за вопрос — ясно, здесь!

Он старательно думает, прежде чем ответить, морщит гладкий невысокий лоб и, стараясь быть по-взрослому доказательным, говорит:

— Во-первых, в училище объясняют в сто раз понятнее, чем в школе, повторяют, на плакатах и на кино показывают. Во-вторых, в школе нам столько на дом задавали, что я никогда и половины не успевал выучить, а здесь столько не задают, сообщают. И еще: тут интереснее учиться.

— Вот ты говоришь — интереснее, но чем же, — стараюсь понять я, — что в школе была математика или физика, что здесь — программа-то одна?

— Программа, может, и одна, но там учишь вообще, а здесь понятно для чего. Разметку делать, углы надо измерять; в школе чертеж — картинка, а тут я по этой картинке деталь изготовлю, тут мне надо обязательно понимать, в чем суть...

— И каждый чертеж без особенного труда можно перевести в рубли и копейки? — говорю я.

На какое-то, но очень недолгое мгновение Миша озадачен. Не может сообразить, как нужно среагировать. Я честно стараюсь помочь парню:

— Ты ничего специально для меня, Миша, не придумывай, говори как понимаешь. Если не хочешь отвечать, не отвечай. И учти — разговор этот вообще для тебя необязательный. Скажешь — вот об этом я говорить не хочу или не могу, я не обижусь.

После такого отступления, кажется, скованность несколько отпускает Юсупова, во всяком случае, он закидывает ногу за ногу, расслабляет плечи и, почесав смешной короткий нос, отвечает вполне доверительно:

— А что, рубли и копейки тоже плюс! Раньше у матери на кино просишь, а теперь берешь...

— Как — берешь?

— Ну, ясное дело! Мы, что зарабатываем, родителям должны отдавать. Все. Анатолий Михайлович сам проверяет. Так? Но раз я отдал, значит, сколько-то я могу и взять. Понимаете? Это же все-таки мои деньги!

— Кажется, начинаю понимать. Скажи, Миша, а ты как считаешь, Анатолий Михайлович строгий?

— Не знаю...

— Ну, ругает он вас много?

— Да меня в школе в тыщу раз больше ругали, только я не очень там надрывался их слушать! Сегодня ругают и завтра... когда за дело, а когда так... от ихних же нервов. Привык я... — И видно, о чем-то вспомнив: — Анатолий Михайлович, конечно, тоже ругает, без этого, наверное, с нами нельзя, только он правильно, справедливо ругает.

— А какие занятия тебе больше нравятся — практические или теоретические?

— Конечно, практические, какое тут сомнение может быть! — не задумываясь, отвечает Юсупов.

— Почему?

И снова возникает пауза.

То ли Миша опасается подвоха с моей стороны, то ли он просто старается выглядеть солиднее и вроде бы тщательно обдумывает, прежде чем ответить, этого мне не узнать.

— Видите ли, на практике, можно сказать, из ничего, из ржавой железки что-то полезное делаешь. Пилишь, сверлишь, стараешься — и получается пусть молоток или кронциркуль... Интересно. И приятно.

— А на теории?

— На теории решаешь: один ехал из А, а другой ему навстречу — из Б, где они сойдутся, если... Решаешь и думаешь: ну и муть, никто так на самом деле не встречается, и решать такое вранье неинтересно.

— Понимаю. Значит, решив трудную задачу, ты не испытываешь того чувства удовлетворения, что от работы, сделанной руками?

Выражение Мишиного лица делается подозрительным, и весь он подтягивается. Небось думает: «Ловит!» — и отвечает скучным, чужим голосом:

— Почему? Удовлетворение я испытываю, потому что понимаю, без теоретической подготовки нельзя стать специалистом высокой квалификации. И потом Анатолий Михайлович каждый день спрашивает, как дела по теории?.. — Миша говорит еще сколько-то времени, украдкой наблюдая за мной, старается угадать, это ли я хотел услышать.

— Ясно. Не замучился? Тогда еще вопрос, последний.

Миша согласно кивает головой.

— У тебя неплохие успехи на практике, кое-что ты уже научился делать и сегодня знаешь про свою будущую профессию, конечно, больше, чем знал раньше. Так вот, ты доволен, что будешь слесарем?

— А может, я и не буду слесарем, — не задумываясь, выпаливает Миша, смущается и умолкает.

Признаться, такого ответа я не ожидал, но не подаю вида. Проговорился мальчишка, ну что ж, пусть соберется с мыслями и сообразит, как выкручиваться... Но Миша не выкручивается:

— Можно сначала спросить? Анатолий Михайлович говорил, что вы тоже слесарем раньше работали. Правда?

— Правда.

— Вот я так думаю: кончу училище, могу работать слесарем. А Юрка — с Юркой мы вместе в школе учились — кончит он свои десять классов и кем сможет? Учеником? Значит, я не прогадываю. Теперь: я и сейчас сколько-то зарабатываю, а

после училища буду получать не меньше инженера. А Юрка? Вообще, потом... я изобретать хочу, — тут Миша снова смущается, краснеет и бормочет, — но это еще не сразу будет.

— Что ж ты хочешь изобрести, Миша, в какой, разреши узнать, области?

— Сам точно не знаю, — немного оправившись от смущения, говорит Миша. — Вы только посмотрите, сколько еще не придуманного на свете! Неужели нельзя, например, изобрести такие колеса для автомобилей, тракторов, самолетов, которые бы никогда не прокалывались? Каждая машина пятое, а некоторые даже и шестое колесо возят — запаски. Это сколько же металла, резины напрасно катаются?.. Разве не интересный вопрос?

— Интересный, — соглашаюсь я, — насколько мне известно, множество людей уже пыталось на него ответить, но пока неудачно. Задача весьма трудная.

— Вот и хорошо, что трудная. Когда трудно, интересно, а если нетрудно, всякий может... Или вот: мы с матерью в Казань летом летали к бабушке. На аэродроме полдня вылета ждали. И посмотрелся я тогда — сколько же по летному полю машин ездит! Одна с керосином, другая с маслом, так и написано на борту: «МАСЛО», третья с баллонами, еще другая с ящиками, еще — с чемоданами. Полно автомобилей! И получается — пять минут машина работает, а час стоит. Неужели и тут ничего невозможно придумать?

— Можно, Миша, и уже придумали, так что ты, пожалуй, опоздал: централизованная заправка самолетов существует — горючее, масло, вода, сжатый воздух подаются по трубам прямо на стоянку, туда же, к борту, подведены и электрические кабели.

Признаться, я думал, что Миша скажет: «Жалко», — но он отреагировал совершенно иначе:

— Вот и хорошо!

Побеседовав еще немного, мы расстаемся, и я говорю Мише Юсупову:

— Спасибо и не сердись, если много времени на меня потратил, может, и не зря окажется...

— Ничего-ничего, пожалуйста, — с достоинством отвечает мне Миша и удаляется походкой Анатолия Михайловича — неторопливой, чуть враскачку.

Смотрю вслед мальчишке и невольно думаю: «Счастливы люди, чьи ученики стараются ходить их походкой, говорить их голосом, подражать их жестам...»

Вестибюль второго этажа совсем непохож на тот, что внизу. Здесь полно солнца, глаз радуют веселые полированные панели светлого дерева (подарок шефов). Здесь по давней традиции вывешены портреты знатных людей завода.

Между окнами, в замысловатой остекленной подставке-вигрине, хранится знамя училища. Здесь постоянно проводят всяческие встречи...

В этот день в вестибюле второго этажа выставляли новые стенды, ребят собралось полно. Я тоже подошел и стал рассматривать новую экспозицию.

На первом светло-сером, обтянутом суровым холстом щите увидел фотографию мужчины средних лет в форме железнодорожника. Из подписи узнал: бывший выпускник училища, двенадцать лет назад окончил отделение слесарей, работал ремонтником, служил в армии, окончил железнодорожный техникум, стал водителем электровоза, женился, растит двух детей...

Дальше была помещена фотокопия Указа Президиума Верховного Совета о награждении орденом Ленина... Совершил подвиг, предотвратил крушение... И подробности: вел пассажирский состав, принял по радио сигнал бедствия — с горки сорвался тяжеловесный товарный поезд, срезал стрелку и неуправляемый мчался навстречу... Расцепил локомотив с составом, разогнал вагоны в обратном направлении, оттолкнул и пошел на таран... При ударе локомотив вылетел с колеи, но и неуправляемый товарный состав, потеряв первый вагон, вскоре остановился...

На щите была вычерчена подробная схема действий машиниста-героя, расписанная по времени и расстоянию, схема показывала: принятие решения заняло тридцать секунд... неуправляемый состав остановился от головного вагона пассажирского поезда в сорока метрах... пострадавших не было, хотя... и снова расчет: что могло произойти, промедли машинист одну минуту...

Рядом выставили голубой стенд. И снова фотография мужчины, и снова подпись: бывший выпускник училища. Семь лет назад окончил отделение токарей, работает на заводе, ввел в практику резцы новой геометрии. Авторское свидетельство. Фотографии резцов — вид сверху, вид сбоку, вид в плане... За счет увеличения скоростей резания сэкономил заводу 274 300 рублей (можно себе представить, что внедрение его метода по стране должно выражаться просто-таки астрономическими цифрами экономии). Премирован... и сводная ведомость за все годы. Общая сумма 5870 рублей.

Несколько слов приветия сегодняшним ученикам написаны рукой знатного токаря. Написаны весело, без налета казенной назидательности.

Третий стенд еще не выставили.

Прислушиваюсь к мальчишкам, обсуждающим подвиг машиниста локомотива.

Один говорит:

— Гастелло...

— Интересно, а куда он помощника девал? — говорит другой.

Третий замечает:

— Во, пассажиры небось перетрухнули!

— Слушай, Васька, а можно определить, какая скорость у товарняка получилась? — спрашивает первый паренек.

— Если уклон известен, можно...

— А живая сила удара через «эм» «ве» квадрат подсчитывается? Да, Васька?..

Деловые мальчишки!

Интересно, пройдут каких-нибудь десять-двенадцать лет — сегодня такой срок кажется ребятам почти вечностью, а на самом деле годы эти мелькнут и не заметишь, — кем они станут тогда, вот эти очередные выпускники училища.

Когда-то в большую жизнь из похожего училища (называлось оно, правда, фабрично-заводским) вылетел мой незабвенный командир и друг Петелин. Теперь училище, если бы сохранилось, могло носить его имя. У входа поставили бы бронзовый бюст Пепе, и я бы рассказывал мальчишкам, что он был за человек — капитан Петелин...

Незаметно мысль соскальзывает от отца к сыну. Какие там новости у Игоря?

Ребята, что стоят рядом со мной, Игоревы одноклассники, а насколько они кажутся взрослее, самостоятельнее. И тут дело не в ширине их плеч, не в номере башмаков, что они носят. Человек, умеющий своими руками проточить валик, заштукатурить стену, отковать, скажем, тракторную деталь, всегда отличается от своего сверстника, только лишь имеющего представление о том, как это делается.

Очень бы мне хотелось взять Игоря за руку, привести сюда, к этим стендам, к этим мальчишкам, и сказать ему... нет, говорить-то как раз ничего бы и не нужно. Привести и оставить его здесь.

Увы, так просто это не делается. Трансплантация — сложная и очень тонкая операция, чтобы она удалась, нужна прежде всего тканевая совместимость... иначе... иначе среда отторгнет персаживаемый орган...

Спрашиваю у ребят: чья это работа — новые стенды?

Оказывается, придумали стенды мальчишки из группы мастера Григория Константиновича Андреади, а делали в кружке. Имя Андреади мальчишки называют с гордостью. И странное дело, я испытываю легкий укол ревности, хочется сказать: «Андреади — это, конечно, прекрасно, но Грачев такой шум на участке Ермолина устроил — будьте здоровы!» Конечно, я ничего не говорю. А только думаю: «Как же случилось: пришел я в училище наполовину из вежливости — невозможно было отказать Балыкову, — наполовину из любопытства и, сам не заметив, превратился в яростного болельщика, да к тому же и необъективного болельщика, Анатолия Михайловича Грачева?..

Как теперь справиться с «заказом» Балыкова? Тот, кто пишет, должен быть прежде всего безукоризненно честным, объ-

ективным, должен уметь подниматься над личными привязанностями и антипатиями...»

Откуда появился Балыков, я не заметил.

— Ну как, нравится? — спросил Николай Михайлович.

— Нравится, очень все по-деловому.

— Андреади вообще деловой. Годика через три-четыре поднаберется опыта, пожалуй, и Грачева вашего за пояс заткнет.

— Почему же Грачев — мой! По штатному расписанию Грачев скорее ваш.

— Шучу, не обижайтесь! Ко мне зайдете? Я тут кое-что приготовил. — И Николай Михайлович, взяв меня под руку, ведет в директорский кабинет.

Оказалось, Николай Михайлович приготовил мне сюрприз — две старые, изрядно потрепанные общие тетради в шершавых клеенчатых переплетах.

У тетрадей этих была своя история: в них Балыков заносил разные соображения, мысли, так или иначе связанные с работой. Тетради эти предназначались исключительно для собственного пользования, и Николай Михайлович никогда никому о них не рассказывал. И тем не менее ребята как-то пронюхали: директор что-то записывает в «секретные тетради».

«Секретные» — действовало магически.

Короче говоря, тетради из директорского кабинета исчезли. Кто, когда и для чего их стянул, оставалось неизвестным. Начинать дознание, искать, выпытывать Балыков не стал. Чертыхнулся про себя и все старался забыть о пропаже.

И вот накануне тетради столь же таинственно, как исчезли, вернулись в запертый шкаф.

И еще записка была к ним приложена: «Извините, пожалуйста. Думали это не то, а оказалось — работа. Читали. Даже можно сказать — интересно. Возвращаем. Все целиком и полностью ложим на место».

— Вот черти соленные! — не очень всерьез возмущался Балыков. — И как дознались, и как в закрытый шкаф проникли, ничего не могу понять. Но не в этом суть — поняли ведь, что это моя работа. И, видно, для них работа эта тоже небезразлична... Теперь и вас прошу — поинтересуйтесь. Может, пригодится. Если пожелаете воспользоваться чем, пользуйтесь на здоровье.

Признаюсь, первую тетрадь, исписанную рукой Балыкова, я открыл не без предубеждения. Однако очень скоро мои сомнения рассеялись.

«Исходная позиция всякого воспитателя, вступающего во взаимодействие с учеником, превосходно сформулирована Генрихом Гейне: «Каждый человек — это мир, который с ним рождается и с ним умирает. Под каждой могильной плитой лежит всемирная история». Понятие среднестатистической единицы,

вероятно, с достаточной достоверной точностью может быть применено к едоку, но неприложимо к воспитуемому.

Пример. Сколько неудачных подходов я совершил (хотя все подходы были правильными!) к Славе Лещинскому, пока совершенно случайно не встретил его на птичьем рынке. Стоило увидеть Славу в голубиных рядах, добавить ему недостававший трюк на какого-то совершенно особенного турмана, и этот свойвольный, не совсем чистый на руку мальчишка сам принес и вложил мне в руки свою азартную, основательно подпорченную душу. Потом он говорил: «Вы мне поверили! Вы меня не пожалели!» А сколько теоретически безупречных «методик» к нему применяли, и все зря?..»

Понятия не имея о Славе Лещинском — Балыков никогда раньше даже вскользь не упоминал этого имени, — я сразу почувствовал в короткой записи и сюжет и характер действующих лиц и как-то очень по-новому воспринял самого Балыкова.

«Воспитание без определенного регламента, без каких-то строгих норм дисциплины — невозможное дело, — писал дальше Николай Михайлович. — Но не всякая дисциплина — благо, и тысячу раз прав Локк: «Род рабской дисциплины создает рабский характер».

Если человек с детства приучен все делать только по приказу, он помимо своей воли становится безразличным и к добру и к злу. И в конечном счете оказывается способным совершить любое преступление, лишь бы ему предписали совершить...»

Разные записи сделаны в разное время. У каждой свой повод, но уже с первых страниц обнаруживается стремление вникнуть в суть воспитательного ремесла, подкрепить свои наблюдения, догадки силой авторитетов.

Балыков, токарь по профессии, ставший с годами инженером-механиком, день за днем старался и, вероятно, продолжает стараться приобрести образование воспитателя и педагога. В личном общении он казался мне куда больше практиком, а вот поди ж ты — тянет человека к обобщениям!

«Часто говорят: в условиях вашей системы подростки устают больше, чем в обычных школах. Или проще: ну куда спешить? Нароботаются еще! За этими мимоходными словами серьезная и принципиальная проблема.

Устают или не устают наши мальчишки? Конечно, устают. Хорошо это или плохо? Сошлюсь на Сухомлинского, едва ли не лучшего педагога трех последних десятилетий: «Без усталости не может быть здоровья...»

И еще запись.

«Если ты хочешь из мальчишки, особенно подпорченного, берущего под сомнение все наши взрослые истины, не признающего авторитеты за одно то, что они не им выбраны, а ему навязаны, сделать человека, постарайся вселить в него гордость за труд, за ту работу, которую он делает.

Когда мои сопливые токаришки выточили полтора десятка затейливых волчков для подшефного детского садика к Первому мая и подарили их малышам, еще ничего не произошло. Но когда через несколько дней к нам пришла заведующая садиком, кстати молодая красивая женщина, пришла сказать спасибо и, между прочим, заметила: «Своими волчками вы, ребята, сделали то, чего мы, воспитатели, сделать не сумели — вот уже неделю малыши не плачут и играют не в летчиков, не в моряков, не в пожарников и милиционеров, а в вас, в токарей...» — вот тут кое-что и случилось! Никогда мне не забыть выражения гордости на лицах ребят. Они готовы были точить эти волчки день и ночь и раздавать их всем малышам на свете».

Казалось бы, в первую очередь Балыкова должны занимать пути овладения ремеслом, секреты профессии, техника безопасности: случилось с мальчишкой несчастье — мастеру тюрьма. Но нет, главная тема записок — человек и люди, во всей неисчерпаемости ситуаций и вариантов.

«Прежде чем обвинять воспитанника во врожденной лени, спроси себя: а достаточно ли ты доверяешь ему? Если человеку шага не дают ступить без контроля, без проверки, без сомнения в его добросовестности, можно ли удивляться, что у него исчезает всякая охота действовать по собственной инициативе? Был у меня в группе король лентяев — Гриша Блюмкин. Я поставил его бригадиром, взвалил ответственность за срочный заказ Химмашстроя, и стал Гриша человеком.

Потом меня спрашивали: как ты решился? Такому лентяю... и т. д.

Отвечать на подобные вопросы невозможно и вот, в частности, почему: когда слышишь хорошо «накатанные» слова: вся жизнь во всех ее проявлениях борьба, — делается вроде даже неловко... А жизнь действительно борьба, и здесь надо искать ответ на вопрос: «Как ты решился?» Бороться не рискуя нельзя, невозможно... это было бы противоестественно...

Жаль, что слишком частым, бездумным употреблением хороших и верных в первооснове слов: героизм, подвиг, мужество, честь, слава — мы стираем, растрачиваем суть этих понятий. А потом мучаемся: как сказать? как объяснить? как ответить?..»

Страницу за страницей переворачиваю я в балыковских трудах и где-то в глубине души чувствую угрызение совести: не слишком ли поспешно я оценил Николая Михайловича? Это наша почти всечеловеческая беда — спешить с оценками, да еще пользоваться при этом упрощенной пятибалльной системой: на троечку товарищ или на четверку, пожалуй, потянет... И как часто за пределами нашего внимания оказывается суть, скрытая не то что второстепенным, а десятистепенным внешним знаком...

«Есть такая очень старая пословица: «Учат слова, но увлекают примеры». Эту мудрость следовало бы, пожалуй, высечь

над дверьми каждого училища, готовящего мастеров. Мне это пришло в голову после случая с Маковецким.

Стоит парень у станка и ничего не делает. Спрашиваю: «Ты чего?» — «Не хочу, — говорит, — работать». Я даже опешил. «Как так?» — «Не хочу — и все». Что делать? Ругать? Срамить? Наказывать (кстати, как?..)? И завязался у нас такой дурацкий разговор:

— Не можешь, так и скажи — не могу, — это я.

— Не хочу, — это он.

— Нет, не можешь.

— Не хочу.

— А так можешь? — в отчаянии спросил я, запустил станок и выполнил его работу за каких-нибудь две минуты. От злости лихо так получилось. — Можешь?

И что-то в парне надломилось. Пустил станок. Выточил. Честно говоря, так себе, на тройку с минусом. Говорю:

— Виноват, ошибся я в тебе. Оказывается, когда ты захочешь, можешь. Но я все-таки лучше и быстрее сделал... Сшиб его с точки...

И еще запись.

«Не так давно, всего каких-нибудь полвека назад, человек, однажды получивший профессию, как правило, вероятно, в девяти из десяти случаев, оказывался приговоренным к своему ремеслу пожизненно. Если ты слесарь, то уж до пенсии или до смерти. Это положение изменилось и продолжает меняться — «уровень образования и профессиональной подготовки должен давать рабочему возможность менять профессию один или даже несколько раз в течение жизни». «Виновата» тут техническая революция!»

И совсем неожиданная лукавая запись в одну строку:

«Болтун не тот, кто говорит много, а тот, кто говорит попусту».

Вот какая странная беседа получилась у меня с Николаем Михайловичем — слушал я его много часов подряд и в отличие от всех предшествовавших случаев не только не мог, но и не хотел возражать. Может быть, потому, что в записках для «себя» Балыков не придерживался своей излюбленной «тактики» — оставаться в любой миг готовым к выходу из атаки, к изменению курса? А может, потому, что записки эти были скорее записками мастера, чем заметками директора? Не знаю.

И еще раз процитирую Балыкова: «Не знать чего-то не стыдно, стыдно делать вид, что знаешь все».

Называть Андреади по имени и отчеству мне удавалось с трудом, был он мальчиковат, подвижен, стоял куда ближе к своим воспитанникам, чем к коллегам. Нам случалось несколько раз толковать о программах, о подопечных его ребятах, на отвлеченные темы. Что сказать? Андреади был независим в

суждениях, остер на язык, порой бурно агрессивен в споре, ничего больше я не обнаружил.

Признаюсь, было полной неожиданностью, когда Гриша спросил:

— Это правда, что вы пишете книжку о нашем училище?

— Столбю людей и так старательно толкают меня, что в конце концов я буду просто вынужден взяться за это.

Андреади широко, задорно улыбнулся и спросил:

— Скажите, а идей у вас хватает?

— Наверное, идеи лишними не бывают. Чем больше идей, тем лучше, шире выбор, большая возможность проникнуть вглубь...

— У меня есть кое-какие свободные соображения. Может, пригодятся? Хотите?

Суть первой идеи Андреади сводилась к тому, что ребят еще в первых классах школы портит и отвращает от учения существующая система отметок. Единицу, как правило, в школах не ставят, только в исключительных случаях и больше в знак презрения: дескать, на тебе кол и знай, Ваня, что ты полный и безнадежный болван! Двойка не отметка, ее полагается возможно быстрее исправлять, заглаживать. Стало быть, остаются три градации знания: на тройку, на четверку и на пятерку. Троечник никого не радует, хотя формально тройка расшифровывается как удовлетворительно!

— И получается черт-те что: или — или. Это одна сторона дела, а другая: допустим, я учусь на все четверки. Прекрасно, да? А что все-таки выражают мои четверки? Вероятно, их суть надо понимать так: я хорошо знаю все преподаваемые науки? Но разве это возможно, чтобы один и тот же человек знал одинаково хорошо и биологию, и математику, и рисование, и так далее — до пения включительно? Чувствуете, тут в основе уже кроется какая-то липа. — Андреади говорил увлеченно и, хотя я не сделал ни одной попытки возразить ему, то и дело темпераментно восклицал: — Минуточку, минуточку! Выслушайте меня.

В конце концов он добрался до главного — надо заменить несовершенную систему оценок, «прекратить играть в это дурацкое пятибалльное лото» и перейти на стоочковую шкалу.

Ваня написал контрольную работу, в которой выполнил задание наполовину, вот и получи, Ваня, свои 50 единиц. И тебе, и учителю, и маме — всем совершенно ясно: тема тобой освоена на пятьдесят процентов. Набрал 80 — значит, почти все... и так далее, до сотни.

— Неужели хуже? — с задором спросил Андреади, закончив изложение первой идеи.

— В некоторых странах такой системой пользуются, — сказал я, — насколько она совершеннее, сказать затрудняюсь, ведь определение «процента знаний» непростое дело и, к сожалению, далеко не точное. Но стремление ваше сделать систе-

му отметок более убедительной, мне кажется, вполне заслуживает внимания...

— Отлично! — радостно выкрикнул Андреади, будто я был министром просвещения и завтра же мог осуществить его предложение. — Пойдем дальше! Вторая идея еще важнее.

Следующая идея Андреади касалась проблемы второгодничества. Гриша предлагает второгодничество по неуспеваемости отменить. Вот так, издать приказ и с первого сентября никого больше на второй год не оставлять.

— Что получится тогда? — рассуждал Андреади. — Заработал, допустим, третьеклассник Ваня по-теперешнему двойку за арифметику. Ничего. Ваню все равно переводят в четвертый класс. И дальше есть две возможности — или Ваня в четвертом классе исправляет свою плохую отметку, подтягивается, берется за ум, или хромает дальше. Худший вариант — продолжает отставать. Пусть! Его все равно переводят в пятый класс и далее. Что достигается таким путем? Во-первых, за время обучения в школе достаточно точно выявляются склонности человека; во-вторых, у Вани не развивается психология второгодника — лоботряса и дубаря, он просто осознает — математика не его стихия, и в связи с этим выбирает себе соответствующее направление в жизни; в-третьих, общество экономит громадные деньги, экономит их дважды! Первый раз, когда не учит Ваню два года в одном и том же классе, и второй раз, когда автоматически закрывает ученику средней школы не соответствующие его возможностям дальнейшие дороги...

— А как быть с аттестатами?

— Так и быть — записывать, что есть. Не исправил до конца школы двойку по географии, записать. Это будет значить, что в географический вуз Ване хода нет. А на работу повара, слесаря пожалуйста, а, допустим, в почтовое ведомство атанде...

— Заманчиво, — говорю я, — но вы не боитесь, Гриша, что такой порядок может резко снизить уровень образования вообще?

— По-вашему, уровень образования определяется отметками? Да, судя по отметкам, мы все такие грамотные, дальше некуда, а остановите на улице сто человек подряд и спросите: «Чем знаменит, да вообще, кто такой Бальбоа?», сколько ответят — два или один!.. А между прочим, чем Бальбоа не Колумб! Не Чистые пруды, а как-никак Тихий океан открыл!

— Слушайте, Гриша, а почему бы вам публично не выступить, не внести предложение? — спрашиваю я.

— Мне? — В черных Гришиных глазах смятение. — Вы что, шутите?

— Почему?

— Мое дело учить пацанов. Этим я и занимаюсь. А тех, которые всюду лезут — в газету, в телевидение, я вообще не уважаю. За такого напишут и пусть все перепутают, а он все равно рад фамилию свою в газете увидеть.

— Но как на практике вы можете изменить систему отметок?

— Очень просто. Своим мальчишкам я оценок почти неставляю. По месяцу, по два. Чего зря людей дергать, ярлыками обвешивать? Каждую работу разбираю, растолковываю, что хорошо сделано, что можно бы лучше, быстрее; отметки потом — для учета и порядка...

— Но другие преподаватели ставят же оценки вашим ребятам.

— И пусть! За тройки я никого не ругаю. Если двойка, учиняю допрос: чего не решил, на что не ответил, почему не выучил? Стараюсь доказать, для чего это надо знать, где оно может пригодиться... помаленьку довожу до сознания: не отметка — знание нужно. — Тут Андреади хитро щурит глаза и с удовольствием говорит: — Вот, между прочим, по наукам моя группа не первое место в училище занимает, но кто все литературные викторины выиграл? Кто лучшие альбомы по местам боевой славы составил? Кто новые стенды придумал? Мои ребята. Почему?

— Наверное, вам удастся организовать заинтересованность ребят.

— Как же! Просто так их не заинтересуешь... Просто так они будут с утра до ночи мячик гонять. Каждый день приходится повторять — ищите суть! Меня на педсоветах ругали, — не без гордости сообщает Андреади, — только я все равно при своем мнении остаюсь: пятерки и всякое оформление — это как шляпа, а знания — голова! Толковая башка раньше ли позже себя покажет, а шляпа... она шляпа и есть.

Чем дольше длится наше знакомство, тем симпатичнее делается мне Гриша Андреади. Почему? Он из тех людей, что стараются жить своим умом, как Пепе, как Грачев, как Валерий Васильевич Қарич. Нет, они не всегда и не обязательно бывают правы, но что неизменно привлекает в них — они не равнодушны, они готовы рисковать ради дела, которому служат, они не боятся ответственности и не бегут от нее. Но этого мало: они готовы заниматься «не своим делом», если только от этого кому-нибудь может быть польза; они не замыкаются в своем ремесле — летном, слесарном или любом другом, они ищут себе применения в большой жизни, в открытом нашем мире и не за ради славы и почестей, а потому, что не могут существовать в ином масштабе.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НЕПРИЯТНОСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Неожиданно, еще не было семи, позвонил Фунтовой:

— Валерий, это я — Олег. Не разбудил? Ты справочник просил по иномаркам, так вот: достал, правда, не в собственность, а на время. Я недалеко и могу закинуть.

— Спасибо, — сказал Карич, — заезжай, чаю дадим.

— Нет-нет, никаких чаев, дежурю. Заеду на одну минуту. Если кого в город подкинуть, могу...

Надо ли говорить, что появление двухцветной милицейской «Волги» не прошло мимо синюхинских глаз. Милиция! У подъезда Петелиных! Может, Гарька и не напрасно говорил!..

А когда минут через десять из дому вышли Ирина и Валерий Васильевич в сопровождении рослого капитана милиции и юркнули в оперативную машину, Варвара Филипповна едва не задохнулась от любопытства. Как была в домашнем халате, в шлепанцах на босу ногу, так и помчалась в петелинскую квартиру, на ходу придумывая повод для столь раннего визита. Двери открыла Галина Михайловна.

— Извини, Галочка, вчера еще собиралась забежать, да не успела...

— Заходите, Варвара Филипповна. Что-нибудь случилось?

«Это же надо! — подумала Синюхина. — Тут такое творится, девку потянули, мужика в милицию увезли, а ей хоть бы что!» Но сказала она совсем другое:

— Белла Борисовна очень недовольна нашими мальчиками, Галя, так, может, нам сходить в школу?

— Вы сейчас собираетесь идти, к первому уроку?

— Не знаю, можно и позже... хотела с тобой посоветоваться. — В это время из ванной вышел Игорь. — А, Игорек, доброе утро! А Иришка тоже встала?

— Ирина на работу уехала, — сказала Галина Михайловна.

— На работу? И Валерий Васильевич — на работу?

— И Валерий Васильевич...

— Эх, Галина, Галина, чего от подруги скрывать? Нехорошо!.. Я к тебе всем сердцем, всей душой, можно сказать, а ты? Разве Варвара хоть раз в жизни подвела тебя? А могла ведь! — Тут на глазах Синюхиной появились неподдельные слезы, и она, махнув рукой, поспешно ретировалась.

— С ума она, что ли, сошла? — входя в кухню и обращаясь не то к Игорю, не то рассуждая сама с собой, выговорила Галина Михайловна.

— Это я Гарьке натрубил, а он, конечно, ей, — расплылся в улыбке Игорь.

— Чего ты наболтал Гарьке?

И Игорь, торопливо дожевывая завтрак, поглядывая на часы — времени оставалось не так много, — передал матери свой разговор с Гарькой и импровизированный детектив, сочиненный под луной.

— Для чего это тебе понадобилось?! Ты представляешь, что она теперь плести будет?

— Ну и что? Пусть плетет. Шакалы воют, а караван идет! — не задумываясь, объявил Игорь и, схватив портфель, направился к двери.

— Довоспитывала тебя Ирина на собственную голову. — Но этих слов Игорь уже не услышал, перепрыгивая через три ступеньки, он скатывался по лестнице во двор.

Галина Михайловна прибиралась в доме. Добралась до книжного шкафа и стала перетирать книги. И тут ей попал в руки старый альбом с фотографиями. Она не открывала его уже много лет. Теперь вот открыла и первое, что увидела, — Пепе с роскошным аккордеоном в руках. Вспомнилось: вскоре после войны экипаж Федора Ивановича Баракова (Пепе был у него тогда вторым пилотом), того самого Баракова, что недавно стал генерал-майором и дважды дедушкой, возвращался из командировки. Они отогнали в капитальный ремонт старенький Ли-2 и ехали домой поездом. В дороге их обокрали. Уцелел только аккордеон, Пепе был тогда в полосе увлечения музыкой и постоянно таскал его за собой. Бараков сказал:

— Придется, Петька, аккордеон продавать... Пе подышать же с голодухи?

— Да ты что! — возмутился Пепе. — Я тебя этим ящиком сто лет кормить могу!

И Пепе содрал засаленный аэрофлотовский китель с борт-механика Асиновского. Рукава были ему коротки, китель выглядел на Пепе жалкой курточкой с чужого плеча, нацепил темные очки, растрепал волосы и пошел по вагонам.

— Сестрицы и братья, к вам обращаюсь я, бывший гордый сталинский сокол, а теперь инвалид, не откажите в трудовой копеечке, не дайте пропасть защитнику нашего неба, чьи крылья подпалила жестокая война с беспощадным фашистским зверем... — И он пел, импровизируя на ходу:

От солнца в атаку тот «мессер» пошел,
поджег мои быстрые крылья,
и вспыхнул мотор, я глазами повел —
дерется вокруг эскадрилья!

Прощайте, друзья, и мой полк боевой,
за Родину я погибаю.
Надежда одна — парашют за спиной,
кабину я с ним покидаю...

Он пел, наматывая строчку за строчкой, и, протягивая фуражку, шел по вагону нетвердым шагом.

И надо же было случиться: в последнем вагоне Пепе наврался на начальника штаба — майора Усова. Сияя орденами, наутюженный, в форме с иголки, рано поседевший майор смотрел на него пристально и осуждающе. Отступления не было. И Пепе остановился против начальника штаба и, придав голосу наивысшую выразительность, наполняя каждое слово сдержанным рыданием, произнес:

— И ты, поседевший в воздушных боях герой, не откажи в братской помощи товарищу по оружию. Три рубля тебя не разорят, а мне помогут добраться до дому и услышать голоса обездоленных крошек, за которых не жалели мы ни живота своего, ни крови...

Майор Усов щедростью не отличался, но тут, видимо, чтобы не привлекать к себе внимания, брезгливо поджал губы и положил в фуражку трешник.

Потом, уже в части, разразился колоссальный скандал.

И замыть дело стоило немалого труда. Пожалуй, если бы не активная поддержка Баракова, пользовавшегося уже в ту пору авторитетом, трудно сказать, чем бы все кончилось.

Галина Михайловна смотрела на старую фотографию и думала: «Ох, и многое все-таки у Игоря от отца, но почему не лучшее?»

Игорь подсел на кровать к Ирине и осторожно начал:

— Ты спишь, Ир? Ну, я же вижу — не спишь. Ты обиделась? А чего я такого сказал? И вообще, Варвара Филипповна и без меня может что угодно наврать. Зато ты только подумай, сколько у нее сегодня крови испортилось?! Гарька говорил — она даже капли принимала! Ир, ну Ир...

— Чего ты хочешь? Поздно, спать надо.

— Ладно, сейчас лягу, только ты скажи — злишься?

— Чего на тебя, дурака, злиться, когда ты простых вещей не понимаешь.

— Зато я теперь сложные понимаю! Знаешь, как меня Танька с Вадимом натаскали. Вчера физичка спрашивала, так у нее глазищи во как вылезли. «Чего ж ты, Петелин, — говорит, — раньше прикидывался?» Ну я ей сказал, что раньше на меня осложнение действовало, после менингита, а теперь прошло, от уколов и от витаминов. И еще я ей сказал, что, когда на меня кричат, я ничего не понимаю, а когда со мной хорошо общаются, тогда пожалуйста.

— И она поверила?

— А что? Поверила. Я же правильно ей отвечал и задачу решил. Ир, а если я тебя попрошу об одном деле, ты можешь не спрашивать, зачем?

— Не спрашивать могу, исполнить — не знаю, смотря какое дело.

— Ничего такого не думай, потом я все расскажу, честно.

— Чего тебе?

— Семь рублей можешь дать?

— Подумаю.

Утром Игорь обнаружил около своей кровати очередную записку: «...человеку свойственно мыслить разумно, а поступать неразумно». Анатолий Франс.

Рядом с запиской лежали семь рублей. Игорь собрался как по тревоге и мигом очутился во дворе. Быстро дошел до гаража и, закинув портфель в щель между задней стенкой и забором, выкатился на улицу.

Все было рассчитано: на автобусе до станции, на электричке до Москвы, с вокзала на вокзал на метро, и до пункта, где находилось суворовское училище, снова на электричке. В один конец четыре часа, на возвращение четыре, два часа на разведку, два на всякий случай... К вечеру он вернется.

Но не все пошло гладко: он опоздал на первую электричку. В пункт назначения прибыл не через четыре, а через пять с половиной часов. Тут выяснилось, что училище на другом конце города, добираться туда не так просто. Но он все-таки разыскал проходную и доложил дежурному старшине:

— Товарищ старшина, я от генерал-майора Баракова, к начальнику училища, по личному делу...

Старшина подозрительно покосился на него и спросил:

— По своему личному делу или по личному делу генерал-майора?

— Генерал-майора, — не моргнув глазом, ответил Игорь.

— Та-ак... Родственник генералу будешь или знакомый?

— Мой отец служил с генерал-майором Бараковым, летал с ним на фронте...

— Та-ак... Доложим. — И старшина, покрутив ручку пологого телефона, сказал кому-то невидимому: — Товарищ подполковник, тут к начальнику училища товарищ просится от генерал-майора Баракова, говорит, по личному делу. Какие документы, пацан. Слушаюсь, слушаюсь... Так точно.

— Если насчет приема в училище, то подполковник велели передать: генерал-лейтенант Усов этими вопросами не занимается, надо в районный военкомат обращаться, — сказал старшина, — а если по другому вопросу, пройти можно, но придется подождать.

Игорь прождал с полчаса, а потом по указанию старшины прошел на территорию училища, миновал просторный сад, вознесенный на бетонный постамент танк Т-34, поднялся по усталанной ковровой дорожкой широкой лестнице и очутился перед высоченными белыми дверями. Здесь ему пришлось подождать еще около часа. Наконец двери распахнулись, и из кабинета начальника училища вышла большая группа офицеров. А спустя несколько минут позвали Игоря.

На стене, расположенной против двери, он увидел огромный, в рост, портрет Суворова. Генералиссимус смотрел вдаль, и

в лице его светились ум и насмешливое лукавство. Игорь даже оробел немного. Но, взяв себя в руки, смело приблизился к столу, скользнул взглядом по погону пожилого генерала и доложил:

— Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться по личному делу?

— Вы от Баракова? — спросил Усов и внимательно посмотрел на Игоря. — Давненько мы не виделись с Федором Ивановичем. Как он поживает?

— Спасибо, товарищ генерал-лейтенант, хорошо поживает. Второй внук у него родился. Сам еще летает...

— Приятно слышать. А вы ему кто?

— Сын Героя Советского Союза, летчика-испытателя Петелина.

— Каждый мужчина — сын своего отца, — тусклым, недружелюбным голосом сказал генерал. — Зовут вас как?

— Игорь.

— Игорь Петрович Петелин, стало быть? Не удивляйтесь, знавал я вашего отца. Превосходный был пилот, отчаянной смелости человек, — странно, в этих, несомненно, хороших словах Игорь явственно расслышал осуждающие нотки.

— Чем могу быть полезен? — спросил генерал-лейтенант, спокойно и внимательно глядя в глаза Игорю.

— Я заканчиваю восьмой класс и хотел бы знать, какие у меня шансы на зачисление в ваше училище?

— Та-ак. Значит, имеете наследственную склонность к мистификациям и обману?

— Что? — не понял Игорь.

— Дежурному сказали, что приехали не по вопросу приема в училище. Нехорошо. Офицер должен быть правдив!

— Виноват, товарищ генерал-лейтенант, но...

— Виноваты, виноваты, и никаких «но» быть не может. Какие у вас успехи в школе, только честно?

— Средние.

— Следует понимать, что учитесь вы на три с плюсом?

— Приблизительно так, товарищ генерал-лейтенант...

— Семейные обстоятельства, позвольте спросить, какие?

— Мама, сестра, у мамы муж...

— Отца своего помните?

— Помню.

— Я тоже его помню. Хорошо помню. В давние времена состоял начальником штаба части, где после войны проходил службу капитан Петелин. Встречались. Превосходным пилотом был Петр Максимович, отчаянным... — Генерал встал и, заканчивая разговор, сказал: — Порядок поступления общий — заявление от родителей, личное заявление, свидетельство о рождении — все подадите в районный военный комиссариат, пройдете медицинскую комиссию. Ну а шансы? Шансы у вас минимальные, мой друг. Успехи оставляют желать лучше-

го, а то, что вы сын Героя Советского Союза, о чем нескромно упомянули в первых же словах нашей беседы, это ничего прибавить не может. Не смею задерживать...

И училище оказалось за спиной.

Игорь шел по темнеющему незнакомому городу, терзался.

«Пусть я зря сказал, что отец был Героем Советского Союза, пусть, — думал Игорь. — Но почему он так на меня? Что я сделал?»

Игорь добрался до моста и, шагая уже по гулкому деревянному настилу, все еще не мог прийти в себя. Ему хотелось, чтобы сейчас кто-нибудь завопил из реки: «Тону!» А он бы тогда бросился в ледяную воду. И пусть генерал узнал бы потом, кого он прогнал из кабинета! Но с реки не доносилось призыва о помощи...

Пусть бы загорелся дом. Тогда, задыхаясь от дыма, он вытащил бы какого-нибудь ребенка или даже взрослую тетку... И все бы узнали... Но окружающие дома почему-то не горели, пламя не лизало их сонные фасады, и черный дым не валил из слепых, глухих окон...

Когда не везет, тогда не везет!

Игорь ужасно проголодался, слюна так и набегала, и он то и дело сплевывал себе под ноги. За мостом он заметил светящуюся витрину — не то кафе, не то буфет — и решил зайти.

Старый швейцар неодобрительно взглянул на мальчишку с беспокойными, голодными глазами, но ничего не сказал. Игорь присел к столику, ему показалось, что прошло, по крайней мере, часа два, пока подошла официантка, и попросил:

— Чего-нибудь пожевать, пожалуйста, или бутерброд, или котлету — все равно.

— Можно с колбасой, можно с сыром бутерброд, есть еще салатик свежий...

— Пожалуйста, с колбасой, с сыром и салат тоже, пожалуйста.

— А пить что будете: кофе есть, лимонад есть, пиво имеется.

— Все равно, — сказал Игорь. Его уже тошнило от голода.

В кафе было тепло. Не сказать — уютно, но все-таки; после строгой, укрытой красной ковровой дорожкой лестницы, после высоченных белых дверей, после благоговейной тишины училищных сводов здесь пахло чем-то домашним, повседневным.

Игорь пригрелся в кафе, расслабился и как-то незаметно утратил ощущение времени. Он даже не очень переживал свою неудачу у генерала Усова. Думал и вспоминал о всякой чепухе — как он когда-то давно-давно ходил с Иркой в лес, как они собирали землянику, крупную и душистую; как он в другой раз едва не устроил пожара в доме — от его «научных» опытов загорелась занавеска в кухне; потом он вспомнил Ирки-

ну подругу — длинноногую Олю... И все кончилось тем, что к поезду он опоздал. Опоздал на каких-нибудь пять минут, но беда была в том, что следующий поезд отходил только в четыре пятьдесят семь утра. И ничего другого не оставалось — только ждать...

Ирина делала матери уже второй укол камфары (Галину Михайловну прихватил сердечный приступ) и, подражая кому-то из своих коллег, приговаривала ласково-воркующим голосом:

— Ну вот, голубушка, сейчас полегчает, лежи спокойненько, не думай ни о чем, постарайся заснуть...

— Перестань болтать глупости, — тихо сказала Галина Михайловна, — ты не в больнице. Ну как ты могла, не спросив на что, дать ему деньги? Он же никогда раньше столько не просил. Семь рублей все-таки...

Казалось, у Галины Михайловны должно быть тренированное сердце — Игорь доставлял матери, увы, далеко не первую неприятность, ему уже случалось исчезать из дому, не показываясь в школе, словом, многое уже было, но в этот день напряжение начало расти с самого утра.

Сначала пришли соседские девочки и принесли Галине Михайловне Игорев портфель. Из сбивчивого рассказа двух подруг она с трудом поняла, что девочки нашли портфель между гаражом и забором, когда играли в прятки.

Потом последовал звонок из школы. Классная руководительница чуть не плакала в телефон:

— Ну, что ж это такое, Галина Михайловна? Только-только пошли наши дела на поправку, и, пожалуйста, Игоря опять нет в школе.

Приехала из своей больницы Ирина и тоже не успокоила мать. Эти несчастные семь рублей гвоздем засели в голове Галины Михайловны.

Наконец вернулся с работы Валерий Васильевич, выслушал, нахмурился и стал успокаивать Галину Михайловну:

— Куда его понесло, я, конечно, не знаю, но совершенно уверен, что ничего с ним плохого не случилось. Отрицательная информация поступает всегда намного быстрее, чем положительная, точно.

Время шло, наступила ночь, а информации не было никакой. И тогда Валерий Васильевич позвонил Фунтовому.

— Извини, Олег, но такое дело... — И он коротко рассказал о случившемся. — Не можешь ли ты навести справки... ну да, по своим каналам?

Фунтовой отнесся к просьбе Валерия Васильевича прежде всего профессионально и стал задавать вопросы:

— Когда он ушел из дому? Так, записано. Какие-нибудь документы при нем были? Сомневаешься? Резонно. Так, а в чем

он был одет? Так, так... Портфель, говоришь, оказался спрятанным...

Когда Галина Михайловна услышала, как Карич перечислял: брюки синие вельветовые, куртка темно-серая нейлоновая с воротником, ей сделалось плохо.

Часа через полтора Олег Павлович сообщил.

— По городу и области никаких подходящих дорожных происшествий не было; я просил дополнительно навести еще справки по больницам, но, кажется, и там ничего, что могло бы нас насторожить, не отмечается.

Неопределенность не рассеивалась, а время шло. Никто в доме не спал, ночь казалась невероятно длинной, угнетающей и бесконечной.

— Вот что я бы хотела понять: откуда в нем такое бессердечие? Поехал по своим делам, не рассчитал, задержался — это все может быть, допускаю, — так позвони. Есть же телефон! Предупреди: не беспокойтесь, буду утром, или там завтра, или через три дня, — в какой уже раз повторяла Галина Михайловна, — подумай — мать с ума сходит.

И тут Галина Михайловна заплакала, что с ней случалось чрезвычайно редко. Она умела сдерживаться, уходить в свою скорлупу. Жизнь давно уже выучила ее трудной науке — ждать. Ждать, не поддаваясь панике, ждать, веря в лучшее, даже в тех случаях, когда для надежды остается совсем мало оснований...

Только в начале восьмого тихо повернулся ключ в двери, и в дом вошел Игорь.

Вид у него был достаточно встрепанный: волосы торчком, куртка измятая, глаза подпухшие, какие бывают после трудной бессонницы. Он возник на пороге, тупо глядя перед собой, не зная, что сказать, как объяснить свое исчезновение.

Ирина молча вышла из комнаты.

Галина Михайловна только и смогла, что спросить:

— А позвонить ты не мог?

Он не ответил.

Карич поднялся с кресла и сказал коротко:

— Пошли.

Когда они оказались на кухне вдвоем, Валерий Васильевич спросил:

— Где ты был?

— В суворовское ездил.

— Что ж ты там делал ночью?

— Я опоздал на поезд, пришлось ждать. На вокзале...

— Дрожал и жалел себя: в школе все вверх ногами идет, в суворовском, могу предположить, по тебе не сильно скучают... Жалел себя? А о матери почему, подлец, не подумал?!

— Не имеете права...

— Что-о? Душу из тебя вытряхну и буду прав! Ты как смеешь родную мать убивать? За что?

Тут Игорь хотел повернуться и гордо уйти из кухни, но Карич схватил его за шиворот, тряхнул, как котенка, и шепотом, чтобы не услышала Галина Михайловна, проговорил:

— За маму... прикончу...

Впервые Игорь увидел бешеные глаза Валерия Васильевича и испугался.

— Ступай к матери, — тоном, не терпящим возражения, сказал Карич, — в ногах валяйся, на коленях ползай, а успокой. Понятно?

Игорь молча повернулся и вышел из кухни.

В большой комнате он присел на ковер, рядом с диваном. Поглядел на мать, она лежала бледная, измученная, с прикрытыми глазами. Игорь дотронулся до руки Галины Михайловны. Рука эта была холодная, как неживая. Он ткнулся лицом в эту страшную, неживую руку и... заплакал.

Когда минут через двадцать выбритый и одетый Валерий Васильевич появился в комнате, он увидел сгорбившегося на диване Игоря и Галину Михайловну, тихо выговаривавшую что-то сыну.

— Умывайся, переодевайся, жуй — десять минут на все и вместе пойдем в школу, — никак не называя Игоря, решительно распорядился Карич.

— Он же спать умирает хочет, — сказала Галина Михайловна и вопросительно-жалостливо взглянула на Карича: «Неужели не понимаешь?» — спрашивал ее взгляд.

— Я тоже, между прочим, очень сильно хочу спать, — сказал Карич, — но это, к сожалению, еще не основание, чтобы не идти на работу.

Игорь не сказал ни слова и покорно вышел из комнаты.

— Он же уснет на уроке, — попыталась еще раз вступить за него Галина Михайловна.

— От этого не умирают.

Молча дошли они до школы — Игорь и Карич.

Перед самыми дверьми Игорь остановился и вопросительно взглянул на Валерия Васильевича.

— Ступай в класс, а я пойду к Белле Борисовне, скажу, что мы всю ночь не спали — у матери был приступ. Противно мне распинаться, но что делать, не вижу никакого выхода.

Прошло несколько дней. С утра Карич возился в гараже. Перемонтировал проколотую накануне запаску, вытряхнул заодно коврики и собирался помыть машину, но тут пришел Игорь, оценил обстановку и предложил:

— Помочь?

— Помоги. Открой капот и запусти двигатель. Я буду регулировать малый газ, что-то обороты гонит.

Игорь открыл капот, уселся на водительское место и запустил мотор. Сквозь ветровое стекло он видел широкую спину

Валерия Васильевича, склоненную над карбюратором, сидящую голову, он слышал его короткие команды: «Дай газ. Сбрось. Еще дай, плавненько, так... Сбрось резко».

Игорь дышал теплым автомобильным запахом, ни о чем не думал, просто воображал себя мчащимся по шоссе. Какой мальчишка не грезит машиной?

Карич опустил капот, подошел к дверке и сказал, нагибаясь к Игорю:

— Выгони машину во двор, а я пока руки ополосну и шланг достану.

Игорь плавненько отпустил сцепление и осторожно попятил машину к воротам. Он слышал, как приподнялись на пороге задние скаты — и тут же провалились, потом подпрыгнул передок, и «Жигуленок» оказался во дворе. Игорь поглядел на гараж, но Карича не увидел. Тогда он отъехал еще немного задним ходом, переключил передачу и аккуратно развернулся. Валерий Васильевич все не показывался из гаража.

Игорь тихонько объехал вокруг двора и поставил машину около водостока. Тут и Карич показался. Подошел к машине, внимательно взглянул на Игоря, но ничего не сказал.

Вместе они быстро помыли машину.

Потом Карич сказал:

— Поднимись в дом, Игорь, и скажи матери, что мы поедем на полчаса. Если спросит куда, объясни — прогуляться и тормоза проверить.

Они выехали за границу городка, прокатили по шоссе километра три, и Валерий Васильевич свернул на узкую лесную дорогу. Здесь он остановился, вылез, обошел машину спереди, открыл правую переднюю дверку.

— Ну! Чего сидишь? Давай...

Еще раньше чем Игорь окончательно понял, чего хочет Карич, ноги его сами собой задрались и перекинулись через рычаг переключателя скоростей, и он очутился за рулем.

Валерий Васильевич уселся на место Игоря и сказал совсем буднично, будто в тысячный, а не в первый раз:

— Поехали.

По узенькой, к тому же не просохшей еще лесной дороге было не разогнаться, и Игорь волей-неволей вынужден был вести машину на малой скорости, аккуратно переключаясь со второй передачи на третью и снова на вторую.

Карич не делал ему никаких замечаний. Так, молча, они и выехали на просторную поляну, поросшую штучными старыми елями.

— Остановись, — сказал Валерий Васильевич. — Обрати внимание вот на что: торопиться переходить на третью. Не надо. Эта машина любит разгон. А нет разгона — лучше идти на пониженной передаче. Ясно?

— Да, — сказал Игорь.

— Я вылезу, сделай круг влево, потом — вправо. Не торопись и лишнего не газуй.

Покрывшись легкой испариной, Игорь выполнил задание.

— Хорошо, — сказал Карич, снова уселся на правое сиденье и поглядел на часы: — А теперь давай к дому.

Игорь ожидал, что на выезде из леса Валерий Васильевич велит остановиться и сядет за руль сам. Но он ничего не сказал.

— На шоссе выезжать? — спросил Игорь.

— Если не боишься, выезжай. Посмотри влево — чисто?

— Чисто.

— Давай. Газу меньше. Поворот включи.

На шоссе легко набиралась скорость — шестьдесят, восемьдесят...

— Обороты меньше. Скорость — пятьдесят. Поставь и держи!

Их обогнала сначала «Волга» и следом громадный крытый фургон. Игорь было прибавил газу и потянулся за уходящим вперед фургоном, но Карич сказал строго:

— Пятьдесят!

Так они доехали до границы городка.

«Ну здесь он меня точно высадит», — подумал Игорь. Пожалуй, он даже желал этого — Игорь устал. Но Карич молчал.

— Дальше мне самому ехать? — спросил Игорь.

— Если можешь, давай. Только осторожно. Люди кругом. Дети.

До дому они добрались благополучно. В воротах им встретился Гарька, и осмелевший под конец Игорь даже помахал ему рукой, за что, правда, тут же схлопотал легкий подзатыльник.

— За нахальство! — сказал Валерий Васильевич.

Перед гаражом Валерий Васильевич спросил:

— Загонишь?

— Лучше ты, — и, сам того не ожидая, спросил: — А можно я вообще буду вам говорить «ты»?

— Можно.

Шла контрольная по математике. Может быть, первый раз в жизни Игорь решал примеры, ничего не слыша и не замечая вокруг. За последние недели он сделал кое-какие успехи, и усилия его, направляемые Алешей, поощряемые Валерием Васильевичем, близко принимаемые к сердцу Таней, Вадимом, Ириной и, конечно, матерью, давали себя чувствовать.

Как подошел Иван Карлович, Игорь не заметил, как нагнулся и протянул руку, тоже не видел. И, только услышав вопрос учителя, с полным недоумением уставился на математика.

— Что это такое? — спрашивал Иван Карлович.

— Не знаю, — поспешно ответил Гарька, — первый раз...

— И ты, Петелин, тоже первый раз?

— Что первый раз?

Учитель показал Игорю крохотный квадратик фотографической бумаги, значками-маковками на нем были изображены формулы.

Игорь молчал. Теперь-то он понял, в чем дело — шпаргалка и, надо сказать, очень хорошая! — принадлежала Гарьке. Иван Карлович засек ее случайно — по части сдувания Синюхин был непревзойденный мастер. Согласно школьному этикету Игорь не мог ответить математику, молчал, и только тоскливая волна поднималась откуда-то из глубин живота к груди.

Теперь... Его опять будут ругать, будут звонить домой, потащат к Белле Борисовне...

Игорь мимоходом взглянул на Гарьку: «Видишь, молчу, но и ты-то не должен на меня сваливать», — говорил этот взгляд.

Синюхин, конечно, понял Игоря, он сказал преувеличенно громко, чтобы его услышал не только Иван Карлович, но и все ребята:

— Чего ты на меня так смотришь? Я-то при чем?

Но старый Иван Карлович, немногословный и справедливый человек, правильно понял и мгновенно оценил ситуацию.

— Синюхин свободен. В классе задерживать не смею. А Петелин, — марш за мой стол, заканчивай работу.

Игорь без особой охоты перебрался за учительский стол. Гарька, гримасничая и пожимая плечами, убрался из класса.

Давно уже, однако, замечено: если уж не везет, то не везет! Не успел Гарька притворить за собой дверь, как наткнулся на Беллу Борисовну.

— В чем дело, Синюхин? — строго спросила завуч. — Раз-ве сейчас перемена?

— Выгнали, — обреченно пояснил Синюхин. — Писали контрольную. Иван Карлович подкатился, увидел на столе шпагу и вот... Гуляю.

— Выходит, все дело в том, что ты не сумел вовремя припрятать шпаргалку?

— Я бы припрятал, не сомневайтесь...

— После уроков зайдете ко мне вместе с Петелиным.

Во время перемены между Гарькой и Игорем состоялось первое в этот день объяснение.

— Уж не мог толкнуть, Карлыч-то с твоей стороны крался?! — возмущенно кипел Синюхин.

— Не видел я его, понимаешь, решал и не видел.

— А когда он спрашивать стал, чья шпага, на меня показал! Скажешь, не показывал? Так я-то точно уж видел...

— За такие слова... — вспыхнул Игорь.

— Горячий больно... Не жди — я тебя тоже перед Беллой выгораживать не стану.

— А Белла-то при чем?

— При том: велела после уроков прийти.

— Никуда я не пойду. — И не пошел. К Белле Борисовне явился один Синюхин.

— Где же твой друг? — спросила Белла Борисовна.

— А что мне, его силой вести?

— Но ты ему сказал, что я звала вас обоих?

Гарька пожал плечами и отвернулся к окну. Понимать его следовало так: не заставляйте меня наговаривать на друга. Все, что вы мне велели, я исполнил, а за результат отвечать не могу.

— Не понимаю, Синюхин, вы с Петелиным дружите или не дружите?

— В одном доме живем, на одной парте сидим...

— Петелин, на твой взгляд, хороший человек?

— А я знаю? Сегодня такой, а завтра...

— Петелин раньше подводил тебя?

— Вообще-то... из-за сестры...

— Сестра у него? Она как будто взрослая?

— Ясно взрослая и спуталась с проходимцем. Я спросил у Петелина, что за тип, он расписал — фарцовщик и вообще. Я с матерью поделился, а она его матери сказала... И мне же досталось.

Белла Борисовна брезгливо поморщилась. Разговор принимал совершенно нежелательное направление, и она попыталась изменить тему:

— Ладно, оставим сестру в покое, что произошло в классе?

В это время Игорь сообразил, если он не явится к Белле Борисовне, она снова будет звонить, жаловаться, и все получится еще хуже. Идти к завучу было неприятно, но он все-таки заставил себя.

Когда Игорь тихонько приоткрыл дверь кабинета Беллы Борисовны и хотел попросить разрешения войти, он услышал голос Синюхина:

— Ладно, раз велите, я про сестру его больше ничего говорить не буду, хотя все это вместе, к одному идет...

Позабыв спросить разрешения, Игорь мигом очутился в кабинете и с порога крикнул:

— Ты чего, гад, Ирку тут поливаешь?

Белла Борисовна даже вздрогнула от неожиданности. А Гарька и вовсе отпрянул в сторону.

— Петелин! Все-таки изволил явиться! Очень разумно, — сказала Белла Борисовна. — Я как раз стараюсь выяснить, что у вас произошло на математике? Одну версию я уже прослушала, теперь твое слово, Игорь.

— Хотите — верьте, хотите — не верьте, но я даю честное слово — решал сам.

— Ты всегда говоришь правду, произнося честное слово?

— Не всегда, но сейчас я говорю правду. Не верите, позовите Ивана Карловича, пусть он даст мне другие примеры, я решу при вас.

Белла Борисовна почувствовала: какие-то новые нотки звучат в этих словах Петелина. «Он уверен, — подумала она, — что решит и другие примеры. Уверен. Откуда это?»

— Идите оба. Я еще поговорю с Иваном Карловичем. И запомните, особенно ты, Петелин, у меня не хватает сил заниматься твоими делами. В школе как-никак восьмьсот учеников, не могу я с тобой каждый день объясняться. Идите.

Ребята вышли: первым Игорь, следом Гарька.

— И какая шпага пропала! — примирительно сказал Синюхин. — Микрофото, трешник цена!..

— Ты для чего про Ирку натрепал? — спросил Игорь.

— Надо же было выкручиваться...

— Вот про меня бы и врал, а Ирка тут ни при чем.

— Подумаешь какая... — И тут Гарька произнес непечатное, гнусно-оскорбительное слово.

Игорь почти никогда не дрался. Во всяком случае, он не был агрессивен по характеру. Но в этот момент вспомнил: если ребром напряженной ладони ударить человека по шее, тот должен упасть. Об этом приеме самозащиты он вычитал в детективном романе, а может быть, видел в кино. Игорь неспешно развернул ладонь, напряг руку и, почти не замахиаваясь, коротко и сильно стукнул Гарьку по шее. Тот рухнул.

Игорь очень удивился — слишком уж просто все получилось. И испугался: «Что теперь будет? Что будет?»

Как раз в это время в коридоре появился Иван Карлович. Видел он или не видел, как свалился Гарька, Игорь не знал.

— Если человек упал, — сказал учитель, — ему надо помочь подняться на ноги.

Вместе с Игорем они подняли Гарьку и посадили на край бочки с рододендроном.

Гарька открыл глаза и с недоумением уставился на учителя, потом ошалело посмотрел на Игоря.

— Все в порядке? — спросил Иван Карлович. — Случается, что долгий перерыв в приеме пищи приводит подростка к голодному обмороку. Не надо, Синюхин, задерживаться в школе. Я надеюсь, Петелин, ты поможешь товарищу выйти на воздух? Кстати, я поглядел твою контрольную — вполне.

Во дворе, под ветерком, Гарька пришел в себя и спросил:

— Чем ты мне врезал?

— Рукой, — сказал Игорь. — И если нажалуешься матери или опять капнешь Белле, я еще не так тебе врежу...

Все на этом вроде бы и кончилось, обошлось, если не считать руки. Рука у Игоря распухла и отчаянно болела. Он подумал: «Если мать заметит, разговоров не оберешься». И Игорь очень обрадовался, когда никого не застал дома.

Поел на скорую руку. Нацарапал записку: «Уехал к Тане с Вадимом, заниматься. Если задержусь, не беспокойтесь». И укатил в Москву.

Тане и Вадиму он рассказал все, как было. Таня его пожалела, намазала ладонь йодом, Вадим похохатывал и переспрашивал:

— Ты его — рра-аз, а он — готов? Силен! — И, перестав восхищаться, сказал: — Смотри, парень, доиграешься, нельзя так.

— Но он же гад.

— Могу поверить. Но если каждый начнет лупить по головам гадов, исходя из своих личных соображений, что ж это будет? Есть закон, там сказано, что применять силу в целях самообороны допустимо только в том случае, когда все остальные средства уже исчерпаны! А твой гад на тебя даже и не замахнулся, значит, агрессор не он, а ты. И отвечать тебе!

— Так он же на Ирку наговорил...

— Допустим. На слова полагается отвечать словами. За оскорбление можно привлечь к ответу в административном или судебном порядке.

Игорь смотрел на Вадима и никак не мог взять в толк — серьезно тот говорит или шутит? И почему-то вспомнил смеющиеся глаза Ивана Карловича и окончательно уверился: математик все видел, все понял и про голодный обморок сказал нарочно.

— Хороший человек ты, Ига, — сказала вдруг Таня, — простоват только. Лезешь напролом и схлопатываешь.

— Не люблю я хитрых, чего хорошего... — сказал Игорь.

— Ну, совсем уж без хитрости тоже нельзя, — вмешался Вадим. — Детективы небось с удовольствием заглатываешь — про разведку, про войну... Кто же без хитрости побеждает? Пораскинь мозгами, зря, что ли, говорится: простота хуже воровства. Честная хитрость — это знаешь что? Тактика! Суворова почитай!

— В самый раз ему сейчас Суворова читать, — засмеялась Таня, — «Науку побеждать» вместо геометрии, да?..

Домой Игорь вернулся поздно. Все спали. Рука у него адски болела. Не зажигая света, он пробрался в свою комнату. На подушке лежала записка. Чтобы не беспокоить Ирину, он не стал читать записку до утра. А там было сказано: «Действовать всегда лучше, чем бездействовать». Аллан Силлитоу.

ДОРОГИ, ЧТО НАС РОДНЯТ

Есть такой старый обычай — присаживаться перед дорогой и минутку молчать. Не знаю, как возникла эта традиция, но если тихая предотъездная минута должна помочь сосредоточиться и еще раз мысленно «проиграть» маршрут — обычай этот добрый и вполне целесообразный.

Накануне своего очередного отъезда я присел к письменному столу и задумался.

Впереди меня ждала дорога — три тысячи километров автопути, двое суток бессонной гонки. Чего я жду от этих километров, что рассчитываю увидеть, узнать, почувствовать?

Новые, города, новые подъемы и спуски скоростной автотрассы, медный закат и нежно-розовый рассвет; тихую равнину средней России, только что оттаявшую, зеленеющую изумрудными озимыми всходами; угасшие вулканы старого Крыма, врезанные в бледно-голубую эмаль прозрачного весеннего неба?.. Да, все это обязательно будет, и я знаю, не оставит меня равнодушным. Сколько бы ни приходилось колесить по родным просторам, возвращаться в некогда уже открытые для себя города и открывать новые, никогда я не расstaюсь с чувством изумления перед бесконечностью земли, не устаю радоваться ее обновлению. И в какой бы раз ни попадалась на глаза одинокая придорожная могила — след минувшей войны, или вознесенный на бетонный постамент танк Т-34, или поднятая над землей пушка, сердце всегда охватывает новая волна горькой, неизлечимой обиды за тех, кто не дошел, не выжил. Годы прибавляют к этому чувству только один оттенок — какими же они, погибшие, были молодыми. Двадцатилетним я не думал об этом, теперь думаю...

И все-таки я отправляюсь в новый путь не ради городов, которых не видел, и не ради встреч, что непременно дарит каждая дорога, и не потому, что воспоминания минувших лет помогают лучше оценивать сегодняшний день. Все куда проще: я должен увидеть в работе и понять человека, с которым разделю этот путь.

Георгий Иосифович Цхакая — водитель-испытатель. Ему поручено прогнать прототип автомобиля, которого еще нет в производстве, от Москвы до Черного моря и как можно быстрее вернуться назад.

Пока что о новой машине я знаю больше, чем о ее хозяйне: легковая, со двадцатисильным двигателем, высокооборотным и приемистым, машина эта обещает принести славу своим создателям. Она устойчива — в этом я успел убедиться на автодроме; легко разгоняется, великолепно «держит дорогу»; в ней предусмотрено все возможное для безопасности пассажиров; она расходует сравнительно мало горючего и по всем прогнозам должна быть безотказной.

Вот, собственно, ради того, чтобы прогнозы превратились в официальное заключение экспертов, и трудится изо дня в день Цхакая; именно для этого сначала он прогонит машину до берегов Черного моря и вернется в Москву, а потом будет мучить ее по бездорожью, накручивая сотни километров в среднеазиатских песках, на скользких шоссе Прибалтики, в морозной стороне — Сибири...

До отъезда осталась одна ночь.

Мысли мои о дороге, о машине, о Цхакая.

Пока что мы виделись всего несколько раз и поговорили на ходу, так что представление о Георгии Иосифовиче у меня прежде всего внешнее: черноголовый, курчавый, белозубый, он выглядит лет на двадцать семь, хотя на самом деле ему тридцать шестой год. У него светлые насмешливые глаза. Крупные руки с длинными сухими пальцами. Все на заводе зовут его сокращенно-ласково Гоги, и такое обращение не кажется фамильярным. Может быть, потому, что Гоги хорошо и постоянно улыбается.

Когда нас только познакомили, Георгий Иосифович спросил:

— Кино вы сочинять умеете?

— Возможно бы, и рискнул, — сказал я, — найдись подходящий режиссер.

— Могу подкинуть шикарный сюжет. — И улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой.

С тех пор как я печатаюсь, все или почти все хорошие люди: товарищи, знакомые, приятели, близкие друзья — стараются снабжать меня темами. Почему-то людям кажется, что для человека пишущего нет ничего важнее, чем накапливать неожиданные истории, забавные или, напротив, трагические случаи и происшествия. Странное заблуждение — ведь настоящая литература вовсе не собрание анекдотов и не коллекция случаев, а прежде всего исследование и истолкование характеров, анализ человеческих судеб. Но когда человек искренне хочет поделиться, помочь, принять участие в твоём деле, это приятно и всегда подкупает.

Начальник цеха сказал Цхакая, что в дороге он может использовать меня для подмены. Георгий Иосифович не обрадовался предложению и, не пытаясь скрыть этого, сказал:

— Сначала надо проверить. Ваше слово — воробей, вылетело — не поймал, а в случае чего отвечать мне. — Такая откровенность меня немного обидела; он уловил это и тут же предложил:

— Давайте, пока есть время, катаем на автодром, вы примеряетесь к машине, я на вас за рулем погляжу, а то теперь все себя мастерами вождения считают.

И мы съездили, и он дал мне руль и целый час просидел рядом, не произнеся ни единого слова. Я очень старался весь этот час, старался так, будто сдавал экзамен, от которого зависело если не все мое будущее, то, по крайней мере, его значительная часть.

Потом Гоги сказал:

— Не понимаю, для чего вы книжки пишете? Вполне могли бы на такси работать. — Вероятно, это следовало принять за комплимент, и я поблагодарил Цхакая. И тут мы совершенно незаметно, без тостов и церемонных слов, перешли на «ты».

Теперь, сидя за столом перед дорогой, припоминая день на автодроме и возвращение в Москву и наш разговор, очень по-

верхностный, очень конспективный, целиком посвященный предстоящей поездке, я неожиданно поймал себя на мысли — ко мне вернулось что-то из прошлого. Только что? Этого я еще не понял, хотя старался...

Приехали попрощаться Таня с Вадимом. Ребята рассказывали о своих делах, Танька поддразнивала меня:

— Буду всем рассказывать: папуля на старости лет подался в гончики! Все-таки это здорово: писателей тыщи, а испытателей автомобилей — раз-два, и обчелся...

Вадим делал страшные глаза и хватался за сердце:

— Татьяна, не играй на папином самолюбии, это может плохо кончиться.

— Ни на чем я не играю, я бужу в нем зверя!

— А как поживает уже разбуженный зверь? — спросил я.

— Ты имеешь в виду Игоря? — спросила Таня.

— Да.

— Хороший мальчишка, но жуть какой запущенный. Мы с Вадькой стараемся, натаскиваем его по науке, кое-что стал соображать. Но, если честно, положила руку на сердце, не могу за него поручиться. Он и сам не в состоянии сказать, что выкинет через минуту.

— Странно, — сказал я, — отец его уж чего-чего, а цель свою и как ее достигнуть всегда знал.

— Так ведь не одни гены делают человека человеком, — сказал Вадим. — Вы говорите — цель! Как раз цели у Игоря нет. Родился — живу! Как, для чего, он и не думает. В школе дела зашатались — рванул в суворовское. И не потому, что мечтает стать офицером, а просто так — может, там будет лучше, чем в школе, и полегче?

— А в суворовском ему от ворот поворот сделали, — говорит Таня. — Не те успехи, чтобы нам без вас не обойтись, молодой человек...

— Он, конечно, разозлился. Обиделся, — сказал Вадим.

— И теперь землю носом роет, вроде назло начальнику училища исправляет свои дела в школе.

— Возможно, домашняя обстановка еще сказывается, — говорит Вадим. — Он мало про семью рассказывает, но понять можно — не просто там.

— Это верно, — сказал я, — хотя чем конкретно напряженность создается, я так и не понял. И чем именно Валерий Васильевич мне не приглянулся, тоже не могу сказать.

— Это-то как раз объяснить легко, — говорит Таня, — ты же Валерия Васильевича с Пепе все время сравниваешь?! А он сам по себе...

«А как не сравнивать? Мы постоянно все и вся сравниваем. И в конце концов, все оценки — поступкам, людям, книгам, большим и малым событиям — сравнительные оценки», — думаю я.

— А ведь и твой Петелин, — говорит Таня, — тоже небось

не без недостатков был? Полагается: о покойных или хорошее, или ничего, только не уверена, что это очень мудро и так уж универсально. Если мы станем все прощать умершим, как же тогда избежать повторения ошибок, например?

— Не высоко ли берешь, Татка? — спрашивает Вадим.

— Высоко и низко тоже понятия сѹтъ относительные! — парирует Таня. — А применительно к Игорю меня что волнует: вот мы его по физике натаскиваем, Алексей математику в него вводит, Ирина морально поддерживает. И у всех самые лучшие намерения. А кто парня на генеральный курс поставит? Суворовское или не суворовское училище, техникум, ПТУ — мне плевать... Человеком он должен стать, а то куда ветер дует, туда его и клонит...

Ребята вскоре уходят. Снова я думаю о своем. И кажется, начинаю понимать, что вернулось ко мне из прошлого: рядом с Цхакая я снова ощущаю себя ведомым.

Это ничего не значит, что Гоги моложе меня, что настоящую войну он видел только с экрана, что он и не подозревает, какую роль я готов ему уступить; важно другое — Гоги поведет меня навстречу ясной цели, по точно проложенному маршруту, и ничто не должно помешать нам выполнить задание.

Милый Гоги, я никогда не признаюсь в этом, ни словом, ни полсловом не выдам себя — завтра утром ты станешь моим героем, и я буду счастлив этим возвращением в молодость. Тебе этого не понять...

Давно-давно, еще на войне, Пепе вылечил меня от мелочного, суетливого тщеславия. И случилось это так: в дни последних наступательных боев под Берлином отозвал меня в сторону и сказал:

— Вчера разговор с командиром был. Батя сказал, что тебя пора ведущим ставить. Созрел. Я возражать не стал. Уйти — твое право. Сегодня он у тебя спросит: согласен или нет? Решай по совести, я не помешаю...

— А ты другого ведомого хочешь? — спросил я. — Только честно.

— От добра добра не ищут.

И я остался. Остался ведомым до последнего часа войны. Жалею? Нет. «Ведомый — щит героя», — любил повторять Пепе. Это были не его слова, но он, как никто, умел произносить их — скучно, осуждающе, одобрительно, патетически, насмешливо, благодарно.

Первые триста шестьдесят километров мы проехали почти не разговаривая. Остановились заправиться. Гоги посмотрел на часы:

— Триста шестьдесят километров за четыре десять. Ничего, если учесть, что мы почти час потеряли на выезде из Москвы, — сказал Гоги. — Пойдем в буфет или на ходу перекусим?

— Как командор.

— Жалко время терять, может, все-таки на ходу?

— Давай на ходу.

Дальше повел машину я. Гоги расслабился на правом сиденье, сначала он что-то насвистывал, потом спросил:

— Ты стихи любишь?

— Люблю.

— Пишешь?

— Нет.

— Почему?

— Потому, что люблю. На хорошие таланта не хватает, а плохие писать стыдно.

— Удивительное совпадение! Я тоже люблю и не пишу. Даже никогда не пытался. Правильно ты сказал — плохие стихи стыдно писать.

— А какие ты считаешь хорошими? — спрашиваю я. И почему-то ожидаю услышать — Есенина.

— Хорошими? «Которые историю творят, они потом об этом не читают и подвигом особым не считают, а просто иногда говорят...» Высший класс! Кто написал, знаешь?

— Знаю — Слуцкий.

— Молодец! — И без видимой связи с предыдущим Гоги спрашивает: — Ну так что, рассказать тебе то кино?

— Рассказывай.

— Только я коротко буду, без подробностей. Если понравится, подробности отдельно. Хорошо?

Вот каким мне запомнился «сюжет» Гогоино кино.

Жил на свете мальчик. Обыкновенный, средних способностей и нижесреднего прилежания. И родители у мальчика были обыкновенные. Ничего выдающегося в семье не замечалось. Впрочем, одна особенность у мальчика все-таки имелась: он обалдевал от одного вида автомобиля. В пять лет мальчик с удовольствием глазел на машины. В семь — знал все марки, имевшиеся в городе. В девять — мог толком объяснить, для чего служит дифференциал и какие имеет преимущества воздушное охлаждение перед водяным.

Если мальчик пропадал среди дня из школы, искать его надо было в гараже. Одиннадцатилетнего автоболельщика знали чуть не все шоферы города. И уважали. В правилах уличного движения он разбирался так, что с ним невозможно было спорить. Его показывали в городском ГАИ, как показывают музыкантов-вундеркиндов в консерватории.

Автоинспекторы здоровались с ним за руку.

В четырнадцать лет он контрабандно выучился водить ГАЗ-53 и мечтал попробовать «Москвич».

На этом оптимистическое вступление заканчивается.

Ему было пятнадцать лет, когда, проходя по улице, он увидел: около гастронома стоит машина, двигатель работает, шофера нет. Ни о чем не думая, мальчик сел за руль и поехал.

Нет, он никого не задавил, не совершил аварии, просто он не мог остановиться — это было выше его сил. Сначала он ехал вперед по городу, потом вперед по шоссе... Его задержали на шестьдесят третьем километре.

— Для чего ты угнал автомобиль? — спросил инспектор.

— Не знаю. Так вышло...

— Куда ты ехал?

— Вообще...

— Ты понимаешь, что за угон автомобиля придется отвечать?

— Да.

— Кто-нибудь знал, что ты собираешься угнать автомобиль?

— Так я и не собирался, пока не увидел — мотор работает, а водителя нет.

Короче говоря, мальчик попал в колонию.

Здесь у него оказалось достаточно возможностей для «повышения преступной квалификации», но его спасли любовь к автомобилю и толковый воспитатель. Почти два года паренек слесарил в гараже и вышел на свободу с лучшими характеристиками: трудолюбив, автомобильное дело знает отлично... Его приняли в гараж. Слесарем. Заставили доучиться в вечерней школе.

Мальчик жил тише воды и ниже травы. Жил ожиданием совершеннолетия, чтобы получить законные права водителя и сесть за руль. Совершеннолетие наконец пришло, он получил права и был призван в армию.

Через неделю после того, как ему доверили тяжелый вездеход ЗИЛ, в его машину врезался пьяный автолюбитель-доктор. Доктор погиб, а молодого военного шофера, хоть и признали ни в чем не виноватым, на всякий случай от вождения отстранили.

— Может, ты вообще невезучий? — не то в шутку, не то всерьез сказал командир роты.

Он слесарил еще два года, пока не пришло дело, для которого он считал себя родившимся: автоклуб! Должность у него была скромная — аккумуляторщик, но теперь он мог тренироваться на спортивных машинах и показать, на что способен.

Тут Гоги делает отступление:

— Я не слишком длинно рассказываю? Хочется, чтобы ты все понял. Я не умею писать кино, но знаю, как все было на самом деле...

— Рассказывай как тебе нравится, Гоги, все, что ты пока рассказал, интересно, — говорю я и вспоминаю последнюю встречу с Таней и Вадимом. «А кто парня на генеральный курс поставит?» — сказала тогда Таня.

— Раз говоришь — интересно, слушай дальше. Попал я в руки к замечательному человеку. Фамилию его по некоторым соображениям не буду называть. Поездил он со мной и говорит: «Учиться надо». Как учиться? Я же восемь классов

окончил, водительские курсы на все пятерки?.. «Это ничего не значит, — говорит он, — раз ты собираешься иметь дело с машиной, надо еще учиться. Машину не только руками и ногами водят, головой тоже. Если твой потолок — водитель автобусного парка, колхозный шофер или таксист-разбойник, восемь классов довольно, но, если хочешь стать настоящим гонщиком, надо еще учиться». Спорить с ним я не мог. Поступил в вечерний техникум. Без охоты, но пошел...

Неожиданно в нашей машине что-то взрывается. Торможу, сворачиваю на обочину, глушу двигатель. Смотрю на Гоги. Он смеется.

— Ты чего? — спрашивает.

— Рвануло, слышал?

— Боржомная бутылка лопнула. Не машинный звук.

— Посмотрим?

— Чего время терять, не машинный звук...

И мы едем дальше, и Гоги продолжает свой рассказ.

Прошло с полгода, и молодому нетерпеливому парню стало казаться, что тренер его зажимает, придерживает, не дает ходу. Кое-что он, правда, успел — получил спортивный разряд, участвовал в соревнованиях, но хотелось большего.

И тут его позвал к себе руководитель клуба. Войдя в кабинет, парень оробел, хотя никакой вины за собой не знал.

Но разговор начался миролюбиво, и Гоги сразу успокоился.

— Ты как считаешь, должен или не должен наш советский спортсмен обладать высоким моральным обликом? — спросил начальник.

— Должен, о чем говорить...

— Пить может?

— А я не пью.

— Не о тебе речь. В принципе спрашиваю. А семью развлекать может? А товарищей оскорблять? Ясно — ты стоишь на правильных позициях. На прочти. — И начальник дал ему бумагу — письмо женщины, в котором та жаловалась на мужа. Письмо было длинным и отчаянным. Жена просила обсудить поведение мужа — мастера спорта — на общем собрании клуба, поставить его на место, призвать к порядку, а если не подчинится требованию коллектива, наказать.

Гоги спросил:

— А может, это все вранье?

— Проверено и установлено — плохо твой бог себя ведет. Очень плохо. На собрании выступишь?

— Неудобно...

— Очень удобно! Надо, чтобы человек понял — его осуждают все. И молодые тоже. Ему же на пользу будет. А не захочет осознать, пусть не обижается. — И начальник дал понять Гоги, если даже его тренер из клуба уйдет, Гоги не только не пострадает, но скорее выгадает.

— Теперь-то я понимаю, — рассказывает Гоги, — на какое

свинство он меня подбил, а тогда молодой был, глупый, к славе рвался и... выступил.

Конечно, не Гогино слово было решающим, не выступи он, скорее всего ничего бы не изменилось, и запомнил он не столько свое, сколько его выступление.

Когда все осуждающие слова были произнесены и заранее отрететированное собрание подходило к запланированному концу, слово дали ответчику. Он встал, оглядел собравшихся пристальным взглядом и спросил:

— А кто вам дал право требовать у меня ответа? Нет закона, по которому я обязан раздеваться перед вами... и перетряхивать грязное белье...

— Вот именно — очень грязное белье! — язвительно заметил начальник клуба.

— Достойные уважения люди, — игнорируя реплику, продолжал он, — не станут терять время и разбирать сплетни. Весь цирк, что тут устроен, препохабная инсценировка, и жалко мне только мальчика. Из Гоги мог бы выйти человек, но этого, к сожалению, под вашим руководством не случится. Теперь я думаю: что делать дальше? Наплевать на все сказанное и продолжать работать. Ничего вы со мной не сделаете. Советский суд не даст меня уволить. Но общаться с вами противно...

Поднялся невероятный шум. Выкрики следовали один за другим, кто-то даже засвистел на пальцах, но он продолжал рассуждать вслух:

— Конечно, из вашей лавочки я уйду. Уйду по собственному желанию. И вы дадите мне приличную характеристику. Вам спокойнее и выгоднее сделать все тихо. — И дальше он обратился к Гоги. Глядя парню в глаза, сказал: — Ты совершил подлое предательство, мальчик. Если по глупости — это еще можно простить, если из расчета, тогда плохо. Уйди вместе со мной, и я все забуду. Если останешься, прощения не жди...

Оскорбленный словами «предательство и подлость», Гоги остался.

— Вот и все кино. Как? — спросил Гоги.

— А где же конец, Гоги?

— Придумай. До конца я еще не дожил. То есть понять я все понял: из спорта ушел, чтобы не встретиться с ним где-нибудь случайно, на трассе. Все пережил, но одного не могу сделать — пойти и сказать: «Виноват, простите!»

— Раз понял, что виноват, почему ж не можешь? — спросил я.

— Он не простит.

Километров за десять до Крымской базы у нас полетела шестерня первой передачи. С трудом доковыляли до места. Стянули коробку скоростей — от шестеренки только куски остались. Гоги со злостью плюнул и сказал:

— Этого только не хватало. Пока телеграмма дойдет, пока вышлют, неделю будем загорать!

— Загорать в Крыму, Гоги, совсем не худший вариант из возможных.

— Радуюсь, а мне еще двенадцать тысяч километров накрутить надо. И есть план, и есть премиальные...

— Поедем на аэродром, — предлагаю я, — попробуем договориться с ребятами, которые летят в Москву, чтобы они позвонили на завод и подняли панику! Если твои гаврики позаботятся, завтра утром можно получить коробку.

Вечером я присаживаюсь к столу и решаю написать Игорю. Что? Как? Зачем? Увы, не все можно объяснить — есть чувства, выражаясь по-старинному — порывы души, которые не укладываются в логические рамки и очень плохо поддаются расшифровке. И когда б не это, мы бы давно перевели человеческую жизнь на компьютерное управление.

Пишу: «Милый Игорь! Привет из Крыма. Хотел перед отъездом заехать, но не успел. Было много забот, и сборы проходили на повышенной скорости. К тому же предполагал вернуться дня через два. Да вот непредвиденность — выражаясь по-авиационному, сидим на вынужденной.

Когда ты был у меня, я отдал тебе спецгашения, а еще одну вещь забыл. Будешь в Москве, загляни и скажи жене, что в среднем ящике письменного стола лежит большой серый конверт. Там карта. Забери ее. Не знаю, поможет ли сталинградский лист, а вдруг... Человек способен на большее, чем он предполагает, в этом я давно убедился. Надо только понять, чего ты хочешь, и заставить себя идти к намеченной цели.

Желаю успеха. До встречи».

Письмо я собирался отправить утром, но не пришлось. Аэрофлот сработал без осечки — в восемь нам привезли новую коробку; к одиннадцати мы ее поставили и в двенадцать выехали.

Гоги повеселел и до Зеленого Гая вел машину со средней скоростью сто двадцать километров час. Вся обратная дорога показалась нам много короче. Может быть, потому, что светило солнышко и шоссе подсохло, может быть, потому, что мы притерлись друг к другу и чувствовали себя не просто двумя людьми в одной машине, а экипажем... Не исключено, что действовали и какие-то другие факторы, но как бы там ни было, Москва приближалась в достаточно резвом темпе, и поздно вечером, а точнее, в начале ночи мы были у цели.

— Ты не придумал хороший конец для нашего кино? — спросил Гоги на прощание.

«Наше кино» прозвучало признанием, оно утверждало возникшую между нами общность, и я ответил:

— Буду стараться, командор, хотя и не уверен, что в кино должны быть непременно счастливые концы со свадебным путешествием или малиновым перезвоном.

Мы пожали друг другу руки, и я стал подниматься по лестнице домой. Ступеньки чуть-чуть покачивались под ногами. Все-таки я здорово устал от этой гонки, у меня было такое ощущение, будто я вернулся из воздушного боя. Бой не проигран, но выигран или не выигран, предстояло подтвердить земле...

Спал я без сновидений, а утром нашел в кармане старой кожаной куртки не отправленное Игорю письмо, посылать теперь было нелепо, я порвал и выбросил его. А сталинградский лист положил на видном месте.

И вот опять я в петелинском доме. На этот раз меня встречает Валерий Васильевич:

— Заходите, располагайтесь, Галина вернется через часок, задержалась у врача, звонила; Ира придет скоро, а когда явится Игорь, не знаю, в Москве он, у вашей Тани.

В словах Карича нет ничего такого, к чему можно придрать. И все-таки мне чудится: «Раз уж моих женщин нет дома, придется самому с вами заниматься».

Не хочется показывать Каричу мою предвзятость, улыбаюсь, поддерживая разговор, подчеркивая свое дружелюбие.

Сначала речь идет о каких-то пустяках, и нам обоим немного неловко, потом тема незаметно смещается в область развития автомобиля, и разговор принимает по-настоящему неприкрытый характер.

— А вы не будете возражать, если мы перейдем на кухню? — неожиданно спрашивает Валерий Васильевич. — Я бы там чуть-чуть похозяйничал, чтобы к Галиному приходу все было готово, а то она голодная явится.

В кухне Карич ловко орудует у плиты, неторопливо и сноровисто чистит картошку, открывает консервные банки, шинкует лук. Почему-то оба мы чувствуем себя здесь куда свободнее, чем в комнате.

— А вы куда уезжали? — спрашивает Валерий Васильевич. — Игорь говорил, но я не очень понял, что за автопробег?

Рассказываю сначала про автомобиль, потом про маршрут, передаю, не называя ни имени, ни фамилии Гоги, содержание его «кино»...

— Занятно, — говорит Карич, — только я не совсем понимаю, для чего вы так старательно сохраняете инкогнито персонажей? Или Гоги специально просил вас об этом...

— Позвольте, вы знаете Цхакая, Валерий Васильевич?

— И его, и себя, и того сукиного сына Короткова, начальника автоклуба, и всех других персонажей знаю.

— Даю честное слово, — чтобы нарушить неловкость, говорю я, — ни сном, ни духом, как говорится, и подумать не мог, что рассказываю вам о вас...

— Бывает. Еще одно доказательство — тесен мир или, ес-

ли угодно, гора с горой не сходятся, а человек с человеком сколько угодно.

— Если не секрет, Валерий Васильевич, а вы с Цхакая так и не виделись с тех пор?

— Собственно, я не искал встречи. К чему? Он тоже...

— Гоги произвел на меня самое, знаете ли, хорошее впечатление. Неужели вы до сих пор не забыли и не простили ему той истории?

— Вы думаете, такое можно забыть? К счастью или, к сожалению, даже не знаю, что вернее, у меня хорошая память. Я ничего не забываю. А простить... так не мне же идти к Цхакая...

— Да он бы пришел, но боится.

— Интересно человек устроен — напакастить не страшно, а прийти и сказать виноват — страшно...

На этом разговор обрывается. Валерий Васильевич прав — грешить легче, каяться труднее, даже если тысячу раз сознаешь: виноват, виноват, виноват...

Приходит Галя. Валерий Васильевич расставляет посуду, и мы садимся обедать. Пока Галя рассказывает о посещении врача, я стараюсь соединить облик этого, домашнего Қарича с тем, который действовал в Гогином «кино».

И странное дело, Валерий Васильевич, муж Гали, отчим Ирины и Игоря, пожилой, грузно сидящий на месте Пепе, делается вдруг гораздо симпатичнее и понятнее. Смотрю на них рядом — на него и Галю, замечаю, как внимательно он слушает, как настораживается, когда она говорит о кардиограмме, в которой изменился какой-то ответственный зубчик, как улыбается словам: «А вообще бы я всю эту медицину с удовольствием взорвала — пугают, пугают...»

— А ты совсем и несколько не боишься? — спрашивает Валерий Васильевич.

— В том-то и дело — боюсь. Стала бы иначе я к ним ходить!

— Надо тебя, Галя, в Кисловодск отправить. Воздух, горы...

— А Игорем кто заниматься будет?

— Чего им заниматься? Если он сам себе не поможет, никто не поможет.

Вероятно, это уже не первый разговор об Игоре, мне кажется, что Гале эта тема неприятна: и уйти от нее не получится, и решить ничего не может.

— Слушайте, люди, — вмешиваюсь я, — смотрю на вас, и хочется спросить: — Где это вы так здорово нашли друг друга?

— Под дождиком, и не друг друга, а он меня. — Показывает Галя глазами на Валерия Васильевича. — Ехала я из города, мотор заглох. Вообще-то срамота, и признаваться в этом стыдно — машину водить умею, заправить могу, протереть, а дальше — тундра в двенадцать часов ночи... Меня еще Петя ругал. Ну остановилась машина, я на стартер — ника-

кого впечатления. Что делать? Вылезла под дождик и голосую. Машин на шоссе полно, и все мимо. Кому охота мокнуть? Я даже психовать начала. Ребята дома с ума сойдут — куда мать девалась, и позвонить неоткуда. Тут останавливается автобус, выходят люди. Ежатся. И он появился...

— Он — это я, — усмехается Валерий Васильевич.

— Но я же не знала, как тебя зовут. Подходит и спрашивает: «Не могу ли, дамочка, быть вам чем-нибудь полезен?»

— Положим, «дамочка» я не говорил, спросил: «Помочь надо?»

— Ну может, и не говорил «дамочка», все равно ты мне активно не понравился. Но делать нечего. Говорю: «Если вы понимаете в автомобиле, помогите».

— А сама была уверена, что я ни черта не смыслю, а просто вяжусь?

— Ты и вязался! Что, неправда? Правда! Командует мне: «Откройте капот!» Открыла. «Нажмите на стартер!» Нажала. Спрашивает: «Насос есть?» — «Ну, — подумала я, — специалист! Насос ему нужен!» Говорю: «Должен быть в багажнике». — «Откройте багажник». Короче говоря, что-то он в моторе продул...

— Не что-то, а бензопровод! Подачи у тебя не было.

— Значит, продул и говорит: «Запускайте». — «И запустится?» — спрашиваю. А он: «Обязательно, куда ему деваться». И запустился. «Заплатить, — думаю, — надо и как-то неудобно деньги предлагать». Но все-таки полезла в сумку. Он увидел и спрашивает: «Интересно, сколько же собирается дамочка отвалить?»

— Не говорил я «дамочка», никогда я этого слова не произношу...

— И сколько я тебе заплатить собираюсь, тоже не спрашивал?

— Спрашивал. Это было.

— Я говорю: «Теперь, насколько я знаю, цена стандартная — на бутылку. Или мало?» И тогда он мне заявляет: «Не мало, но я не пью». — «Как же быть?» — это я у него спросила. А он и говорит: «Может, разрешите пока в машину сесть, а то дождик».

— И тут уж Галина Михайловна точно решила, что я обольститель и мелкий жуир. Однако не пустить в машину было неловко — дождь правда шел. Пустила. А у самой вид взбесившейся королевы...

— Не ври, Валера, я очень спокойно держалась. Только один момент был, когда ты сказал: потрогайте мне лоб...

— Но глазом не моргнула и потрогала.

— А у него, наверное, тридцать девять, весь горел. И я, конечно, спросила, куда его отвезти. И услышала... Что ты сказал?

— А что? Все, как на самом деле было, так и сказал: дома

у меня больше нет — одна прописка, ехал я в этот поселок, чтобы снять комнату, да не рассчитал сил и теперь даже не знаю...

«Господи, — подумала я, — как все глупо получается. К себе взять его не могу — дети, соседи... ясно. И на улице бросить не могу...»

— В жизни не забуду, как она меня спросила: фамилия, имя, отчество? Я представился и попробовал что-то сострить относительно анкеты. А она строго так говорит: не ломайтесь, Валерий Васильевич. Сейчас я вас отвезу к одной старушке, представлю фронтовым другом, а там посмотрим...

— И ты знаешь, к кому я его свезла? К Шурке.

— К какой Шурке?

— Медсестрой у нас в полку была. Шурка Арефьева, оторва, ругательница, но добрая душа! Помнишь?

Действительно, припоминаю я, была. Некрасивая, много старше нас. Жалостливая и к мужчинам очень даже снисходительная.

— А она разве здесь? — спрашиваю я.

— В Москве. В больнице работает. Одинокая... Вот так мы и нашлись. Все.

— Как все? — очень серьезно спрашивает Валерий Васильевич. — А самое главное что ж не рассказываешь?

— Ну ладно... Завалились мы к Шуре, а та говорит: «Ничего ты мужика подобрала, подлечим, сгодится...»

— Александра Федоровна сразу оценила! А Галина Михайловна еще долго в сомнениях пребывала. И почему решила...

— Только не хвастай, Валера! Я тебя умоляю.

— А чего хвастать? Когда я на ноги поднялся, Александра Федоровна ультиматум предъявила: или ты его берешь, а то себе оставляю...

— Нарасхват мужчина! Очередь на тебя стояла...

— Повезло тебе, — говорю я и смотрю на Галя.

— Мне? А ему?

— По-моему, нам в самый раз выпить по рюмочке за справедливость и везение, — предлагает Валерий Васильевич, — чисто символически, всерьез тебе, Галка, нельзя, я понимаю.

— За справедливость и за везенье можно, — говорит Галя и достает пузатый графин с какой-то темно-коричневой настойкой.

Мы выпиваем по рюмочке. И Галя спрашивает:

— Ну что, поладили? А то я все время как по ножу ходила. Все-таки. Валера, он, — Галя кивнула в мою сторону, — нашим ведомым был, самый старый друг, ребят с рождения знает. И по первому знакомству нехорошо вы друг на друга смотрели. Или вру?

— Так ведь не каждый раз с первого взгляда получается, — замечает Валерий Васильевич.

Приходит Ирина. Оглядывается и спрашивает:

— Что это у вас такой вид, будто на свадьбе гуляете?

— Тебе не нравится? — спрашиваю я.

— Нравится.

Игоря в тот день я так и не дождался. Уезжая, положил на его стол развернутый сталинградский лист. Сказал Ирине:

— Если спросит, откуда карта, скажи, что я оставил.

— А это отец написал?

— Да.

— Вам?

— Мне.

— «Человек должен стремиться вдаль», — читает Ирина. И молчит.

К вечеру подморозило, и асфальт сделался сухим, светло-серым. Я люблю пустынные улицы моего города, особенно в поздний час, когда идешь и слышишь собственные шаги. Идешь, и вдруг начинает казаться, что рядом с тобой шагает время...

Приближаюсь к Самотеке. Это район нашего с Пепе детства. Здесь в кривых старых переулках мы гоняли мяч, лазили на крыши сараев, дрались и строили первые планы. Сколько лет минуло? Целая жизнь, можно сказать, прошла. И всегда мне казалось, похожего на Пепе человека быть не может. Лучше, хуже сколько угодно, но такого, чтобы я сказал: он похож на Пепе, — нет! И вдруг, словно в голову ударяет, а ведь Карич удивительно напоминает Петелина. Не лицом, не манерой держаться, а чем-то куда более существенным, глубинным. Я даже останавливаюсь, будто хочу услышать ответ в шелесте еще голых деревьев Цветного бульвара; они должны помнить Пепе...

Человек — сложная система, но все равно и люди, как всякая система, должны укладываться в какие-то условные координаты: честный — нечестный, смелый — трусливый, щедрый — жадный, осторожный — рискованный, открытый — замкнутый, умный — глупый, добрый — злой...

И укладываем, стараемся, подгоняем и ставим отметки: честности — на четверку, смелости — на тройку, щедрости — на пять с плюсом, ума — на тройку... и тщимся вывести средний балл — хороший, вполне приличный, так себе... Жаль, что, ставя отметки людям, мы чаще всего забываем оценить отношение к труду. А в этом отношении, я совершенно уверен, ключ от главной тайны каждого — надежный ты или нет?

Когда-то Пепе был слесаренком, потом стал летчиком истребительной авиации, позже поднялся в летчики-испытатели. И всегда он оставался работником, всегда труд для него был не только обязанностью, но радостью, необходимостью, гордостью. И в этом они похожи — Пепе и Валерий Васильевич...

Тихо. Прохладно. Сухо щелкают шаги по светло-серому пустынному асфальту. И время будто шагает рядом, безостановочное, неутомимое время. Один современный писатель назвал Москву добрым городом, кажется, это лучшая строчка из великого множества опубликованных им строк.

И снова я думаю об Игоре.

Только труд убеждает. Лучше всех слов... Труд может совершить и изменить все... Но как сказать об этом Гале, Валерию Васильевичу, Игорю?

Вот Пепе я бы не задумываясь выложил:

— Отдай, Петька, своего красавчика в руки хорошего мастера, и через год он станет человеком!

Пепе понял бы и, уверен, согласился со мной.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Ирина проснулась среди ночи и, еще не до конца разлепив веки, поняла — в комнате включен свет. Взглянув сонными глазами на часы, увидела — четверть четвертого. На письменном столе горела настольная лампа, прикрытая сложенной вдвое газетой. Игорь сидел за столом, уронив голову на скрещенные руки. Постепенно до Ирины дошло: заснул над физикой. Ей сделалось жалко Игоря.

Поеживаясь, Ирина спустила босые ноги на пол, зевнула, потянулась и быстрыми, мелкими шагами перебежала комнату.

— Игаш, Игаш! Проснись.

— А? Сколько времени?

— Четвертый час, Игаш. Ложись, ты же не встанешь в школу.

— Я что, заснул?

— Заснул. И не разгуливайся. Быстренько раздевайся и ложись.

Игорь заглянул в учебник, судорожно, по-собачьи, клцнул бами и сказал:

— И всего-то чуть-чуть не дочитал... Жалко.

— Ложись, Игаш, теперь уже никакого толка читать нету. Поздно.

Они разошлись по своим кроватям, и Игорь потушил свет.

Ирина не сразу пригrelась под одеялом и не сразу уснула. Она думала об Игоре. Вот уж месяц, как он судорожно цепляется за книжки, пачками решает задачи, носится в Москву на дополнительные занятия с Таней и Вадимом, терпеливо отчитывается перед Алексеем, когда тот раза два в неделю приезжает его проверять и натаскивать... Он старается, как не старался никогда еще в жизни. И все-таки не верится, чтобы Игорь благополучно рассчитался за восьмой класс. В Игоревом упорстве есть элемент истерики, перенапряжения. Что говорить, не к знаниям он рвется, нет; честолюбие выиграло: «Я не хуже других!» — и еще он хочет «отомстить» Белле Борисовне, классной, вообще школе, которую не любил раньше и не любил теперь. А если сорвется, что тогда будет?..

Как только тренькнул будильник, Игорь вскочил и сразу стал собираться.

Первых двух уроков он даже не заметил. Игорь не слышал, о чем шла речь: мысли его, опережая время, были на контрольной по физике; неустойчивые, надо сказать, это были мысли: то ему казалось, что он напишет работу с легкостью, то его шибало в нервный озноб — нет, ни за что не написать! И тогда Игорю представлялось насмешливое Танино лицо и иронически вздернутые брови Вадима. Что сказать ребятам, если засыплется?

И еще Игорь вспомнил: «...учение в худой голове тщетно есть и бесполезно». Ломоносов. Это Ирка когда-то написала ему... Тут он подумал: «Давно написала, а помню! Раз это помню, может, и еще что-нибудь в голове осело?..»

К величайшему своему удивлению, Игорь написал контрольную без особых затруднений. Как-то так вышло — задачки вроде сами решились. Когда все уже было кончено, когда на перемене Игорь убедился, что у большинства ребят ответы сходятся с его ответами, он почувствовал вдруг совершенно необоримую слабость во всем теле, ему смертельно захотелось уснуть. Казалось, стоит подремать каких-нибудь пять-десять минут, и это валящее с ног чувство липкой, как грязь, усталости исчезнет.

Рядом со школьным спортивным залом была узкая длинная комнатуха, там складывали спортивный инвентарь, на длинном столе писали плакаты, там иногда выясняли отношения... Игорь заглянул в эту комнату-пенал, здесь никого не оказалось. В его распоряжении было двадцать минут. Не теряя зря времени, он бросился на сложенные в углу гимнастические маты. Подумал: «Пылью воняет...» — и тут же провалился, как умер.

Давно закончилась перемена, давно прошел урок, и только тут хватились: где Петелин? Портфель в парте, а самого нет...

— Синюхин, — спросила классная руководительница, — ты не знаешь, где Петелин?

— Он мне не докладывает! Но, может, за сараем загорает? Перед физкультурой мощности набирается?

— Сбегай посмотри и, если он там, приведи в класс.

Гарька отсутствовал минут десять, а когда вернулся (вернулся один), вытарашил страшные глаза и прямо от двери поманил классную руководительницу пальцем.

— Что случилось?

— На минуточку... по секрету... — и громким шепотом: — Он там... в спортзале... Плохое дело, пойдемте...

Когда классная заглянула в комнату-пенал, у бедной учительницы подкосились ноги: раскинувшись крестом на горке спортивных матов, лежал Игорь, вся нижняя часть лица и шея были залиты кровью, а рядом валялась пустая пол-литровая бутылка.

Учительница не сразу отважилась приблизиться к нему, а когда, преодолев испуг и растерянность, склонилась над ним,

заметила: Игорь ровно и глубоко дышит, спит... Постепенно до нее дошло — красное не кровь, а чернила... Осмелев и как-то сразу остервенившись, она резко дернула Игоря за руку.

— Петелин!

Он вскочил, словно подброшенный пружиной, и ничего не соображающими глазами уставился на учительницу.

— Что за представление? На кого ты похож? Как это понимать? — тряся под носом у Игоря пол-литровой бутылкой, выкрикивала учительница. — В чем дело, Петелин? Что это такое?

— Бутылка, — сказал Игорь и потер лицо руками. Кожа была неприятно стянутой.

— Отлично! Изумительно! Нет слов... Вот в таком виде, в полной красе ты пойдешь сейчас со мной... И не вздумай удивлять...

— Пожалуйста, пойдете, я что?..

Размахивая бутылкой, учительница повела встрепанного и перемазанного Игоря по коридору. Редкие встречные шарахались от них. Классная была человеком невредным и собиралась предъявить Игоря классу. Вот, дескать, полюбуйте и решайте, что с ним делать. Так классная предполагала, но получилось иначе. На лестничной площадке классная, Игорь и эскортировавший их Гарька столкнулись с тучным незнакомым мужчиной, медленно поднимавшим себя по ступеням; справа его сопровождал директор школы, чуть позади завуч и завхоз.

— Что, позвольте узнать, случилось? — удивленно спросил важный посетитель.

— Небольшое недоразумение, — начала было классная.

— Кто его? — спросил директор. — И за что?

— Я сам, — сказал Игорь.

— Как же это сами? — снова поинтересовался гость.

— Заснул и проспал, — ответил Игорь, — я до трех ночи готовился к контрольной... И вот... Прилег на минутку, а дальше не помню.

— А кровь? — спросил директор.

— Какая кровь? — удивился Игорь.

— Это не кровь, — сказала классная, — я тоже сначала подумала, это чернила.

И тут важный товарищ громко и искренне расхохотался:

— Ах, задери тебя черти! Напугал. Я думал, ты порезанный...

На том объяснение закончилось; все заулыбались и пошли дальше. Только Белла Борисовна, задержавшись на мгновение, тихо, почти шепотом сказала:

— Приведешь себя в порядок, Петелин, и зайдешь ко мне с дневником! Мало тебе было в школе отличаться, теперь на весь район прославился. Поздравляю!..

Не вдаваясь в подробности, Белла Борисовна записала в Игоревом дневнике: «Прошу родителей принять самые строгие

меры! Поведение вашего сына выходит за все мыслимые пределы».

— Дневник покажешь отцу. Без его подписи в школу не являйся.

Валерий Васильевич прочитал запись в дневнике, никак своего отношения к резолюции Беллы Борисовны не проявил и довольно спокойно спросил Игоря:

— В чем выразилось твое нечеловеческое поведение?

Игорь рассказал, как было, ничего не утаивая и не смягчая.

— Ты веришь? — спросил он, напряженно взглянув в глаза Каричу.

— Верю. Только не понимаю — кто тебя раскрасил, для чего?

— Ясно — Гарька! Больше никому. Для чего? Просто так! Он гад! И с ним я еще посчитаюсь...

— Стоп! Синюхина ты пальцем не тронешь и слова ему не скажешь. Это сразу из головы выбрось! Понял? Не до него сейчас. Есть задача поважнее. И давай договоримся: или мы атакуем вместе, или выкручивайся сам...

— Как вместе? Чего мы вместе будем делать?

— Твоя задача — сдать все науки не меньше чем на тройки. В состоянии?

— Я же стараюсь.

— Стараться мало! Надо сдать. Понял? Теперь слушай дальше: в ближайшие пять дней ты в школу не идешь. Занимаешься дома.

Тут Карич позвонил в школу, и Игорь сделался свидетелем его разговора с завучем.

— Белла Борисовна, здравствуйте, с вами говорит Карич, родитель Петелина, если помните. Я получил ваше послание и принял меры...

Что говорила Белла Борисовна, Игорь, понятно, не слышал, но кое о чем мог догадаться по выражению лица Валерия Васильевича: завуч жаловалась на него — долго, обстоятельно, с подробностями.

— В ближайшие дни Игорь школу посещать не сможет, — сказал Карич. — Как почему? Я же принял меры, Белла Борисовна. Вы же сами меня об этом просили.

И опять говорила Белла Борисовна, а Карич терпеливо слушал и время от времени шурился, будто свет глаза ему резал.

— Видите ли, этого я как раз не опасюсь... В семье, думаю, все уладится автоматически и мать поймет, она ведь тоже, что ни говорите, лицо заинтересованное... Лишь бы Игорь не пошел в инстанции жаловаться... Может! А что... Вполне...

Теперь, когда Карич вновь слушает Беллу Борисовну, глаза его откровенно смеются. И Игорь невольно начинает улыбаться вместе с ним — по индукции, что ли.

— Ну, вы уж извините, Белла Борисовна, все-таки я не профессиональный воспитатель, а так... дилетант... Нет-нет, понял я вас нисколько не превратно, возможно, слишком буквально...

Положив трубку, Белла Борисовна задумалась.

Можно ли было подумать, что этот вполне приличный с виду человек, так логично рассуждавший в ее кабинете, решится избить мальчишку, да еще не родного сына? Ужасно.

Ей вспоминаются суровые глаза Карича, его тяжелые руки, его необъятная грудная клетка... Кошмар! И виновата, выходит дело, она, хотя ей и в голову не приходило вкладывать скрытый смысл в свои слова.

«А какой смысл был в твоих словах? Что ты имела в виду, когда просила принять самые решительные меры? Какие более действенные меры, чем твои, есть в распоряжении родителей?»

Это спрашивала совесть.

И отмахнуться от нее было не так-то просто, особенно человеку, в самой основе своей неплохому.

«Кто ты, Белла? — не успокаивалась, вела свой допрос встрепенувшаяся совесть. — Ты восторгалась Макаренко, когда поступала в институт, ты собиралась совершить хотя бы маленькую революцию в педагогике, а теперь?»

Теперь тебя прошибает, словно малярный ознобом, при одной мысли, что Петелин может пойти в гороно, и будет комиссия, и придется писать объяснительные записки, униженно ждать решения...

Кто же ты, Белла? Неужели обыкновенная, пошлая неудачница?

И кто виноват в этом? Сама. Больше спрашивать не с кого, Белла».

Так, размышляя, она вышла на улицу и почему-то вспомнила, как однажды в доме отдыха судьба ее свела с директором профессионально-технического училища Балыковым. Он даже пытался за ней ухаживать — робко, правда, и довольно неуключе. Но дело не в этом. Как она позавидовала тогда спокойной уверенности этого Николая Михайловича, его убежденности в своих педагогических концепциях и принципах.

О чем бы ни заходила речь — а говорили они главным образом о своей работе, — на все у Балыкова был готовый и всегда веский ответ.

Вспомнив Николая Михайловича, Белла Борисовна даже вздохнула: и откуда только берется в людях такая уверенность. А она еще снисходительно поглядывала тогда на Балыкова...

Синюхина встревожена. И снова причина беспокойства — непутевый ее сын.

Что-то он подозрительно тих все последние дни и почти безвыходно сидит дома. Странно! Обычно его домой и медом не

заманишь: или по двору гоняет, или допоздна утюжит окрестные улицы, или болтается вокруг стадиона, где не столько «болеет» за выступающие команды, сколько меняется значками.

— У тебя что болит? — подозрительно косясь на сына, спрашивает Варвара Филипповна.

— Ничего не болит.

— А почему тогда дома сидишь?

Гарька делает удивленное лицо и не без пафоса отвечает:

— Странный вопрос! Я занимаюсь. Экзамены ведь скоро.

— Ну вот что, — решительно пресекает эту речь Синюхина, — давай без фокусов! Чего натворил? Почему нос боишься на улицу высунуть? И не смей врать! Все равно узнаю, так уж лучше сам отвечай.

Гарька хорошо знает материнский нрав и несколько не сомневается, что-то, а дознаться она дознается. И тогда будет правда хуже. Пошмыгав носом, суетливо порывав глазами из угла в угол, он начинает: Игорь смылся с урока. Классная послала его найти. Он и нашел... — и так далее со всеми подробностями рассказывает Гарька.

Когда рассказ доходит до половины — до пол-литровой бутылки и красных чернил, — Гарька замечает, что мать слушает без одобрения, но с интересом. Это подбадривает, он подпускает слезу в голос:

— Не стал бы я его красить, сам виноват, по шее мне тогда врезал — я без памяти свалился. А за что? Ведь правду сказал...

— Какую еще правду? — строго спрашивает Варвара Филипповна.

— Ирку его прекрасную обозвал, чтобы не врал про нас...

— Про кого это?

— И про тебя, и про меня.

Как ни странно, но последние слова Синюхина пропускает мимо ушей, ее, должно быть, совершенно не интересует, что может говорить Игорь о ней, о ее сыне. Она спрашивает:

— А он знает, кто его покрасил?

— Догадывается. Но свидетелей нет...

— Учительнице он сказал? Может, Белле Борисовне?

— Кто его знает... мог и сказать, а мог и не сказать.

— Или дождик, или снег, или будет, или нет! Ничего ты не соображаешь. И чего он тебе по второму разу шею не накомтил? Знал бы, чья работа, ходить тебе битому... — И после довольно продолжительного молчания говорит: — Сходи-ка ты к Петелиным — за книжкой или еще за чем — и погляди, какой у тебя разговор с Игорем выйдет, что в доме у них, погляди... И нос не вороти. В доме при Вавасике, при матери он тебя не тронет.

— Игорь три дня как в школе не был, может, болеет, — сказал Гарька. — Чего я припущу...

— Болеет? Вот и хорошо: бери в холодильнике апельсин и ступай проводить товарища. Синюхины обид не помнят и зла на соседей не держат.

Домой Гарька возвращается через полчаса и сразу же докладывает матери:

— А он, оказывается, и не больной совсем. Говорит: дома лучше к экзаменам готовиться, больше за день успеть можно... Только он чего-то крутит...

Варвара Филипповна выслушивает сына молча, поправляет прическу, подкрашивает губы, запахивает халат поплотнее и исчезает. Ее дипломатический визит к Петелиным продолжается еще меньше, чем посещение Гарьки. Возвращается она сумрачная и раздраженная. Ничего не объясняя, велит Гарьке:

— Завтра пойдешь к Белле Борисовне и все ей, как на духу, расскажешь, как искал, как нашел, как покрасил Петелина чернилами...

— Вот она обрадуется и спасибо мне скажет.

— Не перебивай. Она тебя спросит, почему ты только теперь, поздно так пришел? Скажешь — совесть мучает. И признаешь — поступил нехорошо, понимаешь это, а почему так поступил — от обиды, скажешь...

— Может, мне и на колени сразу стать?

— На колени не надо. Гордость соблюдай. А помнить помни, кто кается, того легче прощают! Вот так-то. Я плохо не научу. И не позабудь сказать, что ты заходил к Петелину мириться. Она обязательно спросит, как его здоровье. Говори — здоров! С удивлением так, глаза разинув это говори, чтобы она поняла — прогуливает он, а не болеет...

К Белле Борисовне Синюхин входит на мягких лапах, вся его длинная, нескладная фигура — смущение и раскаяние, и голос жалкий:

— Можно, Белла Борисовна?

— Что случилось, Синюхин?

— Виноват... И вот пришел, чтобы сказать... извините...

— За что извинить?

— За Петелина...

— Опять Петелин? Что он еще натворил?

— Не он — я... Покрасил тогда чернилами, чтобы на кровь было похоже... и бутылку поставил рядом...

— Для чего ж ты это сделал и почему сразу не признался?

— Со злости. А сразу побоялся... Разве я знал, что из-за этого такой шум получится... А теперь совесть... — И еще долго тягуче и бессвязно Гарька объясняет Белле Борисовне, как было дело, что из этого вышло и как ему стыдно...

— Ну ладно, — говорит Белла Борисовна, — а Петелину ты это объяснил, у него прощения попросил, ведь пострадал он, а не я?

— Хотел... нарочно к нему ходил, а он не стал слушать...

— Он что — сильно болеет? — спрашивает Белла Борисовна.

— Кто? — прикидываясь непонимающим, спрашивает Гарька.

— Неужели не понятно? Я спрашиваю: Петелин сильно болеет?

— По-моему, он совсем не болеет. Веселый был, с Вавасиком, то есть ну с этим, который у них теперь муж, в шахматы играл...

«Что ты делаешь, Белла? До чего ты опускаешься? Не верь, не верь ни одному слову. И возьми себя в руки, Белла!»

— Что у тебя еще, Синюхин? — спрашивает Белла Борисовна, и Гарька понимает, что-то случилось, только он не может угадать, что именно. Одно ему совершенно ясно — надо сматываться. Где-то совсем близко притаилась опасности!

— Больше ничего, — говорит Гарька, — можно идти?

Вот уже несколько дней подряд, оставаясь наедине с собой, Белла Борисовна ведет спор с невидимым собеседником. Он, этот отсутствующий некто, задает вопросы, она старается отвечать, защищается, порой наступая. Диалог действует Белле Борисовне на нервы, утомляет и... не прекращается. Порой Белле Борисовне кажется — она свихнется, если не поставит точку, если не найдет последнего, решающего слова. Но поставить точку не удается...

— Почему ты не уважаешь Петелина? Пусть он еще глупый, многогрешный, тысячу раз запутавшийся мальчишка, но разве все это может уничтожить личность?

— А за что, собственно, его уважать? За что? Лентяй, плюет на дисциплину, с презрением относится к окружающим, не контролирует ни поступков, ни слов. И ведь все прекрасно понимает! И хамит не по недомыслию, а с расчетом, стараясь причинить боль...

— Остановись на минутку, Белла! И ответь — ты прокурор или учитель?

— Да-да-да, я учитель, а не прокурор, мое дело давать им образование и заниматься их воспитанием... Знаю!

— Так почему же ты говоришь о неопровержимых претензиях? Разве твое дело обличать, а не исправлять пороки?

— Правильно, я должна их облагораживать и возвышать душой, только как воспитывать, все прощая? Они сядут на голову, будут болтать ножками и покрикивать: «Быстрее вези, аккуратнее». Они не знают жалости...

— Не клевети, Белла!...

— Я не клевету: стоит оговориться на уроке, они торжествуют; стоит не выйти на работу, они радуются; стоит...

— погоди, вспомни. Когда тебя на «скорой помощи» уво-

зили из школы в больницу с острым приступом аппендицита, разве кто-нибудь ликовал?

— Это был особый случай! Они просто перепугались...

— Что ты говоришь, Белла! Разве девочки не приносили тебе цветов в больницу, не присылали записок? Неужели у тебя повернется язык сказать, что они лицемерили?

— Не знаю! Цветы их научили отнестись...

— Допустим. Но чего стоишь ты, воспитатель, если не научила их болеть чужой болью, прежде чем это сделал кто-то другой? Признайся, любишь ли ты своих учеников, Белла?

— Как понимать — любишь?

— Очень просто: любить — значит участвовать и разделять радость, горе, успех, падение, маленькую неприятность и большое несчастье...

— Раньше, когда я была моложе, я играла с ними в волейбол, ходила в лыжные походы, меня ругали строгие методисты: вы держитесь слишком нараспашку, так нельзя, надо соблюдать дистанцию...

— И ты поверила этим ханжам, Белла? Послушалась и застегнулась на все пуговицы, нацепила маску непрístupной строгости, чуть-чуть смягчив ее иронией, которую мальчишки принимают за презрительное к ним снисхождение? Эх, Белла, Белла, расстегни хотя пару верхних пуговок, улыбнись...

Входит завхоз, прерывая изнурительный молчаливый диалог. Белла Борисовна недолюбливает завхоза, пожилого, неопрятного человека с неверными глазами и манерами отставного гусара, но сейчас она даже рада ему.

— Простите, Белла Борисовна, если оторвал вас от размышлений, директора нет, надо подписать накладные и доверенность. Надо получить приборы для физического кабинета. Осмелюсь просить вас расписаться за директора.

— Давайте, — говорит Белла Борисовна. — Где?

— Вот здесь и здесь, пожалуйста. Премного благодарен и должен отметить — сегодня у вас, Белла Борисовна, вид императрицы. Весна себя оказывает?..

— Какое у вас воинское звание, Семен Сергеевич? — спрашивает Белла Борисовна.

— Гвардии старшина запаса, Белла Борисовна.

— Гвардии старшина. Гвардии! Почему же вы так похолуйски держитесь? Вам не стыдно, офицер гвардии?..

— Не понимаю, чем заслужил? Это в некотором роде даже оскорбление...

Вечером Белла Борисовна звонит в дверь Петелиных. Она собрана и полна решимости. Ей надо высказаться. И пока это не произойдет, Белле Борисовне не войти в обычное русло работы, жизни, словом, тех будней, которых у каждого человека, хочет он или не хочет, куда больше, чем праздников.

И вот они друг перед другом — лицо в лицо.

— Здравствуйте, Белла Борисовна, заходите. Не ожидал.

— Здравствуйте, Валерий Васильевич, я пришла повидать Игоря...

— Заходите, пожалуйста. Правда, Игоря вам повидать не удастся, его нет дома, но все равно — прошу вас.

Белла Борисовна входит в довольно просторную, очень обыкновенную, как у всех, комнату, бегло оглядывается и отмечает: книг много, парадные хрустали не бьют в глаза, не дают на воображение, фотография Хемингуэя на стене не висит...

Ей ненавистны дома, где нет книг, где лопающиеся от стекла, безделушек, посуды серванты молча орут: вот мы какие, знай наших; где примитивность образа мыслей прикрывается портретом Хемингуэя: дескать, мы тоже интеллектуалы и знаем что нынче почем не только в мясном ряду Центрального рынка...

Белла Борисовна опускается в предложенное Каричем кресло и, прежде чем успевает что-нибудь сказать, слышит:

— Вы пришли осудить меня, Белла Борисовна? Я готов принять осуждение, но прежде прошу у вас прощения.

— За что?

— Я ввел вас в заблуждение, Белла Борисовна... я не драл Игоря офицерским ремнем, не совал ему подзатыльники и вообще не применял никаких мер физического воздействия. Так что простите и не думайте обо мне хуже, чем я того стою.

— Почему же Петелин не ходит в школу? — испытывая не столько чувство облегчения, сколько досаду, спрашивает Белла Борисовна.

— Видите ли, тут есть две причины: первая — острый дефицит времени. Чтобы наверстать, хотя бы частично, все упущенное исключительно по его и по нашей родительской вине, Игорю надо очень много заниматься. И он трудится с утра до ночи, ему помогают друзья, кстати, и сейчас Игорь поехал в Москву на консультацию по физике. А вторая причина — обстановка в школе сложилась не в его пользу, и я опасался срыва...

— Что вы имеете в виду?

— Не обижайтесь, но, если человеку сто раз подряд сказать, что он свинья, человек поверит и захрюкает. Не подумайте, будто я считаю, что Игоря ругать не за что. Увы, есть и даже очень есть за что, но ваша система не гарантирует успеха.

— Мы встречаемся, Валерий Васильевич, всего второй раз, это, разумеется, не дает мне права судить, что вы за человек впрочем, вы меня не очень заботите, но все-таки я бы хотела понять — откуда у вас такая уверенность в суждениях?

— Наверное, от жизни и от людей. Фронтовой старшина Микола Потапенко преподавал мне в свое время весьма полезный урок педагогики. Он мало разговаривал и говорил не очень складно, что-нибудь в таком роде: «Не можете, научим, не хотите, заставим!» Но когда с приближением к передовой у молоденького солдата начинали трястись руки, старшина садил-

ся с ним рядом и, без особой нужды посмеиваясь, ехал под обстрел и подбодрял зеленого шоференка, а потом, возвращаясь, говорил: «Воно мени треба?» или: «Як ще раз злякаєшся, скажи — я знов тебе повезу!» И знаете, никто не просил его съездить вторично. Воспитывает прежде всего личность воспитателя и справедливость! Тот же старшина Потапенко совершил, с точки зрения всех армейских уставов, ужасное преступление: избил шофера — за обман, за мелкое и подлое предательство — тот бросил исправную машину с боеприпасами, а доложил, что машина вышла из строя. С шофера был свой спрос. А старшине полагалось предстать перед трибуналом. Так верите, весь автобат вступился за Миколу, потому что даже самый последний разгильдяй понимал — справедливость на стороне старшины...

— В чем же, Валерий Васильевич, мое прегрешение и прегрешение школы перед Петелиным?

— Стоит ли говорить об этом? У меня нет никаких прав ни осуждать, ни давать советы.

— Отчего же? Во-первых, вы лицо заинтересованное, во-вторых, я бы хотела понять...

— Год с небольшим я наблюдаю за Игорем и вот что меня удивляет: мальчишку все время ругают, ежедневно прорабатывают, непременно подчеркивая при этом, что верить ему нельзя, положиться на него невозможно. От разговоров толку чуть, вы это видите лучше меня, так почему же никому в голову не пришло сменить пластинку, попытаться подойти к человеку с другой стороны?

— Конкретно, что вы предлагаете?

— Ничего. Если хотите, могу только привести пример из нашей заводской практики. Не так давно в литейном цехе возникла совершенно неожиданная проблема — пошли жалобы на мужей. И женщины требовали: воздействуйте, поставьте на место. Проанализировали мы жалобы и, между прочим, обратили внимание, что почти все претензии исходят от неработающих и преимущественно молодых женщин. И тут нашелся умный человек — старший мастер цеха, он же председатель месткома, — собрал всех недовольных мужьями жен, провел их в цех ночью и, не показывая мужьям, простоял с ними от звонка до звонка. Заметьте, ничего при этом он не рассказывал, никаких лозунгов не выкрикивал. Литейный цех сам по себе убедительный. Если никогда не наблюдали, рекомендую. Впечатляет! И когда женщины досыта насмотрелись на работу мужей, он проводил их до проходной и напутствовал: «А теперь ступайте и подумайте, какая она, наша жизнь. Может, и за собой какие ошибки и промашки углядите? Через неделю приходите, потолкуем».

— И что? — спросила Белла Борисовна.

— Наполовину конфликты прекратились. Без слов. Без работок. Сами собой...

— Это любопытно, но применительно к Игорю...

— Для чего ж так буквально, Белла Борисовна? Игорь безумно любил отца, гордится им — Петр Максимович был не только замечательным испытателем, но и незаурядным человеком. Личностью. В городке живут и работают его товарищи. Здесь, на старом кладбище, могила Петелина... Может, с этой позиции и надо подходить к Игорю? Мне, как вы понимаете, это не совсем с руки, но вы могли дать почувствовать Игорю — ты сын Петелина! Ты ходишь по улице, носящей имя твоего отца! Каждому ли дано такое?

Карич ни в чем не обвиняет Беллу Борисовну, он не пытается ее ничему научить — только рассуждает, делится своими мыслями. И постепенно раздражение Беллы Борисовны угадает, растворяется. «Странно, — думает она, — пришла выяснять отношения, а никакого выяснения не получилось».

И сидят двое, тихо, обстоятельно разговаривают; нет в словах ни упреков, ни горечи... Что это? Общение. Обыкновенное человеческое общение — самая доступная и, увы, столь редкая радость нашей суетливой жизни.

Потом Валерий Васильевич поит Беллу Борисовну чаем, угощает конфетами...

Когда Белла Борисовна собирается уходить, время уже позднее, Карич провожает ее. Лестница темная — то ли перегорел предохранитель, то ли мальчишки, выбегая из подъезда, щелкнули выключателем и вырубили лампочки на площадках.

— Минуточку, я только возьму ключ и спущусь с вами, — говорит Карич.

— Не беспокойтесь, Валерий Васильевич, у меня много недостатков, но я никогда не была трусихой...

— Нет-нет, минуточку.

Они спускаются со ступеньки на ступеньку, придерживаясь рукой за стену, и в самом низу сталкиваются с кем-то.

— Простите, — говорит Карич.

— Валерий Васильевич? — раздается из темноты голос Сиюхиной. — Слушай, Галя, я чего тебе сказать хотела...

— Это не Галина Михайловна, Варвара Филипповна, — предупреждает Карич.

Минутой позже она видит: из подъезда выходят Валерий Васильевич и Белла Борисовна.

— Ну-у, дела! — мысленно произносит Варвара Филипповна.

Вернувшись домой, Игорь находит на своем столе «Справочник слесаря». С недоумением разглядывает небольшую серенькую книжку, открывает, медленно перелистывает несколько страниц и спрашивает у Ирины:

— А это что за справочник?

— Не знаю, я стирала и в комнату не заходила.

Игорь спрашивает у матери, откуда взялся справочник, но и она ничего не знает.

— Чудеса и хиромантия! — говорит Игорь.

— Да это Алексей привез, — объясняет наконец Валерий Васильевич. — Сказал — пригодится. Вообще-то я думал, что он задачник тебе оставил.

— Странно, — удивляется Игорь. — Никакого разговора у нас не было. — И принимается разглядывать книжку.

Перечень инструментов, таблицы резьб, приемы слесарной работы, чертежи, снова таблицы. Кое-что Игорю приблизительно знакомо, а кое-что ну чистая китайская грамота. И он откладывает справочник в сторону.

— Завтра мне идти в школу? — спрашивает Игорь, обращаясь к Валерию Васильевичу, но никак не называя его.

— Придется. Тут Белла Борисовна заходила... Интересовалась твоим здоровьем. Я сказал, что ты в порядке и завтра выйдешь.

Поздно. На серо-лиловом небе, будто недорогая чеканка, висит пятнистая, почти полная луна, подернутая дымкой. На аэродроме надрывно режут двигатели. Помаргивая фарами, ползет желтый автобус от станции к центру. Сквозь приоткрытое окно доносится на улицу бормотание телевизора. Жизнь продолжается. Какая она? Разная, пестрая, приглушенная сумерками, замедленная к ночи, не ведающая хода назад...

Игорь лежит в постели и листает «Справочник слесаря».

«Численное значение часто встречающихся постоянных величин» — понятно, «Обозначения допусков» — это что-то из черчения, «Посадки и допускаемые отклонения в системе ОСТ» — черт знает что такое... Но самое удивительное — в справочнике на равных упоминаются сверловщик В. И. Жаров и профессор В. А. Кривоухов — оба авторы разных способов подточки твердосплавных сверл.

— Кончай, — говорит Ирина, — завтра вставать рано.

— Сейчас, — не спорит Игорь и неожиданно спрашивает: — Ирка, а ты когда замуж выйдешь?

— Что это ты забеспокоился?

— Просто так. Все девчонки когда-нибудь замуж выходят...

«ИГОРЬ + ЛЮДМИЛА = ?»

Настроение в этот день испортилось у меня с утра — в военкомате. Вызвали к капитану Рыбникову, явился, вошел в указанную комнату и увидел: три канцелярских стола, шеренга выкрашенных в голубой цвет сейфов, за одним из столов молодой, тщательно выбритый блондин с полевыми капитанскими погонами на плечах.

Перед капитаном стоял пожилой плохо одетый посетитель и

сбивчиво объяснял, что в войну служил в такой-то дивизии пулеметчиком. Демобилизован после войны, в июле. А вскоре с воинского учета по болезни снят. Теперь на пенсии. И вот отдел социального обеспечения требует справку, а справки он получить не может...

— Писал я, товарищ капитан, в облвоенкомат, ответили: сведений нет, в министерство обратился, оттуда написали, надо в райвоенкомат обращаться... Ну, я в тот пошел, где теперь живу, а они к вам посылают, потому что увольнялся я тут...

— Я вам уже пояснил, — нудным, как зубная боль, голосом говорил капитан, — наш районный военный комиссариат вашими данными не располагает.

— Понимаю, у вас данных нет. Куда теперь обращаться?

— Удивляюсь я, папаша, третий раз одно и то же повторяю, а вы свое — куда, куда, прямо как курица...

— Так мне шестьдесят седьмой год, товарищ капитан, инвалид я, думаете, легко — ходить, писать и все без толку?

— Вы ко мне? — пропуская последние слова старика мимо ушей, спрашивает Рыбников и смотрит на меня.

— Почему вы не предложили старому солдату сесть, капитан? — сам того не ожидая, спрашиваю я.

— Не понял...

— Вы вообще мало чего понимаете. К вам пришел ветеран войны. Вы не родились еще, когда он под огнем ползал... Кто он вам — подчиненный? А если б и подчиненный, разве не надо старость уважать? Где вас учили такому обращению?

— У вас повестка или просто так — вопрос? — не смутившись и недобро поблескивая глазами, спросил капитан.

— Повестка или нет, потрудитесь сначала ответить.

— Отвечать я обязан только на служебные вопросы...

Я повернулся и вышел.

Военком оказался пожилым полковником с совершенно седой головой. Большие, в модной оправе очки портили его простое солдатское лицо. Полковник выслушал меня и как-то по-домашнему сказал:

— Молодо-зелено, что с него, щенка, возьмешь, когда он родней прикрыт... — снял телефонную трубку, медленно набрал номер и сказал жестко: — Рыбников? Как фамилия старика, который у тебя сейчас был? Записываю — Путятя Семен Михайлович. Завтра к семнадцати ноль-ноль доложишь, что все сделал... Сделаешь! И справку Путятю на квартиру отвезешь. Сам. Лично отвезешь и извинишься. У меня все.

На улице было солнечно и ветрено. Весна наступала в тот год медленно и трудно. Я шел к центру и думал: как, однако, легко мы портим друг другу жизнь и как мало надо, чтобы ее не портить. Не из романа история со старым солдатом? Да это ведь как взглянуть... Жизнь лучше всего не словами, а примерами учит, и худыми тоже.

Незаметно я дошел до Кремля и свернул к могиле Неиз-

вестного солдата. Негасимое пламя трепетало и рвалось на ветру. К огню приблизился пожилой человек в аккуратном потертом пальто. Снял шапку и строго взглянул на мальчика, вероятно, внука, которого вел за руку. Мальчонке было лет шесть. Он вопросительно посмотрел на деда и тоже стащил с головы беретик. Какая-то женщина сказала:

— Ребенка простудите, холодище и ветер...

Человек ничего не ответил. Молча стояли они рядом — бывший солдат и мальчонка-несмышлениш. Весенний ветер трепал им волосы.

Подходили и уходили от могилы люди.

Площадь шумела ровным прибойным шумом. Отдельные людские голоса растворялись в монотонном звучании машин. И тем резче и неожиданнее прозвучали вдруг звонкие слова малыша:

— Деда, а тот дяденька почему в шапке?

Старик глянул на «дяденьку» — широкие плечи в защитного цвета нейлоне, шляпа оттенка жухлой травы, приставшая к губе, едва дымящая сигарета, — и молча шагнул к незнакомцу. Сдернул шляпу с чужой головы, вынул сигарету из чужого рта и далеко в сторону откинул окурки. От неожиданности незнакомец дернулся и взвизгнул:

— Как вы смее? — но тут же осекся.

— Запомни, — тихо сказал старик, — здесь так стоять надо...

Шумела улица, подходили к могиле Неизвестного солдата люди.

Я постоял еще немного и двинулся вдоль кремлевской стены, к Москве-реке. И снова мысли мои вернулись к Игорю: как важно, чтобы он наконец поглядел на окружающий мир задумчивыми глазами, попытался сравнить, оценить и обобщить увиденное.

У Валерия Васильевича был усталый и нездоровый вид. Глаза подвело, скулы отсвечивали синевой, но разговор он начал бодро:

— Не ждали? И гадаете, что случилось?

— Ждать, если честно, действительно не ждал...

— Вы, вероятно, уже знаете — в конце недели в нашем городке открывают памятник Петру Максимовичу Петелину...

— Впервые слышу.

— Странно. Товарищам, сослуживцам, организациям посланы официальные приглашения. Не может быть, чтобы вам не послали. Галина сама составляла список.

— Может, почта виновата? — сказал я.

— Возможно. Но суть не в бумажке. Вы будете?

— Конечно.

— А как быть мне — присутствовать или воздержаться?

Я взглянул на Карича, у него был обеспокоенный, пожалуй, даже встревоженный вид. И разговору этому Валерий Васильевич придавал явно большое значение.

— Раз вы спрашиваете — надо или не надо, значит, колеблетесь. Почему?

— Если бы церемония была не публичной, а семейной, и речь шла бы об открытии памятника на могиле, я бы не сомневался. Но тут... памятник открывают в городке, при скоплении публики, с участием старых товарищей, однополчан... Вот я и заколебался... С вами решил посоветоваться.

— Идите! Старые товарищи не осудят ни вас, Валерий Васильевич, ни Галю. Я знаю авиацию не первый год и ручаюсь. А что касается некоторых других, так сказать, отдельных личностей... пусть их как хотят комментируют. Стоит ли **обращать** внимание?

— Понятно. Но есть одна личность, которой не пренебрежешь. — Карич помолчал, будто собираясь с духом, и сказал: — Игорь.

И тут Валерий Васильевич ввел меня в курс событий.

Все в последнее время шло нормально. Игорь делал почти героические усилия, чтобы залатать прорехи в школе; с Каричем у него наладились приличные отношения, Игорь перестал хамить матери. Словом, все выглядело лучше, чем можно было ожидать месяца полтора назад.

Но внезапно около Игоря появилась девица по имени Люда. И парень как с цепи сорвался: «откалывает номера» в школе, дома не желает никого признавать, заниматься, правда, пока занимается, но похоже — скоро **бросит**.

— А откуда взялась эта Люда? — поинтересовался я.

— Черт ее знает, откуда! Вы бы только посмотрели на нее — малолетняя хищница, пума какая-то, пантера недоразвитая...

Никогда еще я не видел Карича в таком откровенном ожесточении.

— Были эксцессы? — спросил я.

— Все было! И машину Игорь пытался самовольно брать, и матери безобразный скандал устроил из-за денег! Словом, чего-чего только не было.

— А какое это имеет отношение к предстоящему открытию памятника?

— Можете быть уверены, Игорь приведет ее на церемонию. Если сам не додумается, так она сообразит и не упустит случая показаться рядом с сыном героя.

Некоторое время мы молчим. Потом Валерий Васильевич, тщательно подбирая слова, говорит:

— В своем положении я ничего ложного не вижу. Законный муж вдовы Петелина. Кто-то, может быть, недоволен Галей, или мной, или нами вместе, но это пустое. И затруднение я вижу в другом. Видите ли, я с искренним почтением отно-

шусь к имени Петра Максимовича и всякое оскорбление его памяти — обывательскими пересудами, поведением его сына, чем угодно, мне безразлично... Может быть, я говорю странные вещи?

— Почему? Ничего странного я не вижу. На Петелина даже на живого многие готовы были молиться, принимали его за эталон. И он заслуживает такого отношения.

— З а с л у ж и в а е т ? — переспросил Карич.

— Да. Я не оговорился. В данном случае смерть его решительно ничего не меняет.

Так же неожиданно, как он появился, Валерий Васильевич встает и откланивается.

— Спасибо. Поеду. Решено — буду.

— Думаю, это правильно. А что касается юной тигрицы, не волнуйтесь, Валерий Васильевич, прикроем. Только не забудьте мне ее предварительно показать.

— Показать? Святая наивность! Вы полагаете, ее можно не узнать? Да вы определите ее на расстоянии двух километров от цели, без всякой посторонней помощи. Я слабо разбираюсь в авиационной терминологии, вот вы сказали — «прикроем», боюсь, тут не прикрывать, а отсекай надо.

— Задача понятна — отсечь! Не беспокойтесь, Валерий Васильевич, будет исполнено в лучшем виде: прикроем, отсечем и блокируем.

На этом мы и расстались.

В тот же вечер я поговорил с Татьяной. Сколько-нибудь достоверных сведений об увлечении Игоря и сопутствующих этому событию инцидентов у нее не было, она только сказала:

— Какой-то он психованный в последнее время ходит. Хотя занимается... Доказывает! Вадьке, кажется, он про какую-то девчонку болтал, да я не обратила внимания...

В дни, оставшиеся до открытия памятника, я невольно думал о Пепе больше обычного. Человек на редкость открытый и компанейский, в чем-то даже рубаха-парень, в делах, что принято называть сердечными, он был исключительно скрытен и всякие разговоры на эту тему пресекал мгновенно.

За все годы нашего теснейшего общения мне лишь однажды случилось прикоснуться к интимной стороне его жизни. Вскоре после войны он получил задание: оттренировать летчицу-спортсменку, назову ее условно Анной Ковшовой, к выступлению на воздушном параде. Девушка оказалась способной ученицей и, вероятно, незаурядным человеком, и ко всему она еще была очень хороша собой.

После тренировок Пепе смотрел на меня лунатическими глазами и несколько раз говорил:

— Ну, знаешь, ради такой девки не то что под мостом пролететь, можно под поездом проскочить...

На аэродромах, как в небольшой деревне, знают обычно все

и про всех. Имя Пепе стали все чаще упоминать рядом с именем Ани Ковшовой.

Помню я спросил Пепе: не тревожат ли его эти разговоры?

— Пусть, — сказал он, ничего не отрицая, не оправдываясь, но и не развивая темы, и неожиданно: — Завидуют. И правильно!

За три дня до воздушного парада Анна Ковшова разбилась.

Выполнив на малой высоте стремительный комплекс фигур высшего пилотажа, она уходила с летного поля в перевернутом полете — на спине, уходила ниже, чем предусматривало задание, и, оборачивая машину полубочкой в нормальное положение, зацепила крылом за землю...

Я видел Пепе у гроба Ковшовой. Он смотрел в одну точку и, могу поручиться, никого и ничего не видел. Его неподвижное лицо было как маска, только нижняя губа мелко-мелко и непрерывно дрожала.

За час до условленного времени Татьяна предупредила, что Вадим поехать не сможет — подошли срочные регулировочные работы на новой аппаратуре, — а она заскочит за мной, и мы отправимся вместе. И правда, заскочила, да еще на мотоцикле.

— Ты хочешь, чтобы я ехал на твоём снаряде?

— А что? Все ездят, и никто не жалуется.

— Как-то не по возрасту мне, Тань, и потом всем ты посторонняя, а мне как-никак дочка.

— Предрассудки! Главное, не помогай мне на поворотах...

Что было делать? Я не люблю мотоцикл и не стесняюсь в этом признаться. На мой взгляд, у этой машины есть принципиальный недостаток — у нее мало колес, и это несовершенство конструкции не компенсируется мастерством и талантом водителя...

Но я люблю свою дочь, хотя и у нее есть свои принципиальные и весьма серьезные недостатки. В конце концов победила Татьяна, и минут за двадцать до начала церемонии мы шикарно подкатали на Таткиной «Яве» к устью бульвара, где высилось непонятное, окутанное белой тканью сооружение.

Народу собралось порядочно, а люди все подходили и подходили. Подъехала черная «Волга», из машины не спеша выгрузился генерал Бараков. Да-а, потрепало время Федора Ивановича, тучен стал, тяжел; следом приехал Осташенков; Станислав изменился меньше, но от прежнего Славки остались разве что бойкие цыганские глаза и стремительная походка. К величайшему своему удивлению, я сразу узнал Шуру Арефьеву, хотя мы и не виделись с самой войны...

Галя, Валерий Васильевич и Ирина пришли вместе, чуть позже показался Игорь, он был с девицей. Ничего хищного я

в ней не обнаружил: тоненькая, глазастая, в коротенькой черной юбочке, в черном свитере, в распахнутой модной курточке. И лицо живое, смышленное. Единственное, к чему можно было придраться, — перекрашена была девочка, особенно глаза...

— Ничего кошечка, — сказала Татьяна, стрельнув глазами в сторону Игоревой спутницы, — и никаких признаков тигры я лично не обнаруживаю.

— Пожалуй, Валерий Васильевич действительно преувеличил, но все-таки не будем терять бдительности, Тань.

Мы едва успели поздороваться с Галиной Михайловной, Ириной и Каричем, как начался митинг.

Первое слово произносил незнакомый моложавый мужчина, вероятно, представитель городского Совета.

Он сказал все, что говорят в таких случаях:

— Наш город, открывая этот скромный памятник замечательному советскому летчику-испытателю Петелину, выражает этим уважение к памяти человека, отдавшего всю свою жизнь, свое пламенное сердце народу и Родине... — После этих слов он перечислил основные даты жизни Пепе, назвал все ордена, которыми тот был награжден. И закончил традиционно: — Разрешите митинг, посвященный открытию памятника Герою Советского Союза, летчику-испытателю первого класса Петелину Петру Максимовичу, считать открытым. Слово предоставляется генерал-майору авиации, заслуженному летчику-испытателю СССР Федору Ивановичу Баракову.

Бараков снял фуражку, поднялся на возвышение и тихо сказал:

— Ну вот, Петя, ты и вернулся к нам. Я еще не видел, каким тебя изобразил скульптор — наверное, молодым и красивым; говорят, он старался и сделал все как надо, но мы, товарищи твои, летчики трех поколений, помним тебя честным, добрым, никогда не унывающим. Ты был самым талантливым среди нас, и мы старались хоть немножко походить на тебя. И сегодня стараемся. Одним это удастся больше, другим меньше, но главное в чем? Мы и теперь учимся у тебя если не летать — это, увы, невозможно, — то жить...

Я посмотрел на Игоря. Он опустил голову и, как мне показалось, внимательно слушал Баракова. Вплотную с Игорем, прижавшись к нему и обхватив рукой за плечи, стояла Таня. Когда она успела чуть-чуть оттеснить Людмилу, я не заметил, подумал: «Молодец Таня, знает, что делает».

У Гали было отсутствующее, замкнутое лицо, она держала под руку Карича и едва ли слышала, о чем говорит Бараков.

— Пять лет прошло, как мы не видели тебя, Петя, — продолжал Бараков. — Нам не стыдно за прожитые годы. Мы работали и работаем много. Доделали и то, что не успел сделать ты... Теперь мы сможем приходить к тебе с цветами, как полагается по традиции, и со своими мыслями, может быть, с бедами, и обязательно — с радостями. Мы снова будем рядом.

И за это наша благодарность искусству, не дающему оборваться ниточке жизни...

Наконец настал самый торжественный момент — уже появились ножницы на тарелке: предстояло разрезать ленту и спустить покрывало.

В этот момент произошло какое-то короткое замешательство. Не зная, кто должен был разрезать ленту по плану, но думаю, что слова Баракова, произнесенные им в полный голос, оказались для устроителей церемонии совершенно неожиданными.

— Тут, товарищи, присутствует сын Петра Максимовича Петелина — Игорь Петелин. Мне кажется, это будет справедливым, если мы доверим и поручим ему разрезать ленту...

Игорь, не сразу понявший, что он должен делать, замешкался, потом медленно, как-то неуверенно, словно с опаской, двинулся вперед.

— Запомните этот момент, Людмила, — тихо сказал я, наклонившись к самому уху девушки.

Она обернулась, за так резко и неожиданно, что я чуть было не отпрянул в сторону. Запомнились ее растерянные, нагловатые и совершенно еще детские глазищи и сбивчивый, пожалуй, испуганный шепоток:

— А откуда вы, собственно говоря, знаете, как меня зовут?

— Я вообще все знаю, Людочка, все. Смотрите внимательно и запоминайте!

Игорь разрезал ленту, и с камня сползло покрывало.

Памятник нельзя рассказать. Как ни старайся, слова все равно будут лишь бледной тенью настоящей работы. Громадный орел с неестественно раскинутыми, ломающимися крыльями был изваян на обломке гранитной скалы. В необработанной глыбе скульптор выполировал одну довольно большую плоскость неправильной формы, и на ней профиль Пепе, смеющийся, дерзкий, чуточку приукрашенный...

К памятнику потянулись люди.

Несли цветы. Гвоздики, гладиолусы и тюльпаны скрыли постамент и поднялись к лицу Петелина.

Игорь подошел ко мне, поздоровался и сказал:

— А это Люда.

— Знаю, мы уже познакомились.

— Она вам нравится?

— Пока нравится. А чтобы насовсем понравилась, надо познакомиться ближе. Подойди к матери, Игорь. Это надо сейчас, — сказал я и спросил у Людмилы: — Вы согласны со мной?

— Согласна, — сказала она.

Игорь чуть заметно пожал плечами, но спорить не стал, пошел.

— Чем вы занимаетесь, Людмила? — возможно мягче спросил я.

— Учусь на продавщицу... А вы не знаете, кто эта рыжая, которая к Игорю опять клеится?

— Очень хорошо знаю — моя собственная дочка — Татьяна.

— А вы кто Игорю будете?

— Как бы поточнее объяснить? У него, — я кивнул головой на памятник, — у Петра Максимовича я был на войне ведомым... Или это вам непонятно — ведомый?

— Выходит, вы тоже летчик?

— Бывший. А что, непохож?

— Совсем даже непохожи! А дочка ваша...

— Не беспокойся, Люда, моя дочка уже сто лет замужем, а с Игорем они приятельствуют с детства.

— Слушайте, вы жутко хитрый! — рассмеялась вдруг девчонка. — Вы мне точно нравитесь.

— Благодарю, — сказал я и сразу же спросил: — Хотите, Люда, доброе дело сделать? Пусть Игорь побудет сегодня дома, с матерью, с сестрой... Все-таки такой день у них.

— Разве же я его держу?

— Людочка, я с вами откровенно говорю, вы, конечно, поступайте как найдете нужным, только постарайтесь понять: Галине Михайловне сегодня трудно. Памятник, прошлое... старая жизнь и новая... Человеку помочь надо.

С Людой мне пришлось потом встретиться еще несколько раз. Не берусь утверждать, что я до конца понял девочку, но все-таки некоторое представление о ней и ее жизни у меня сложилось.

В основе своей Людмила была неплохим человеком, хотя и ограниченным, если без прикрас о ней говорить — книжек почти не читала, ничем всерьез не увлекалась, млела от зарубежных фильмов про «изысканную жизнь»; ее представление о счастье сводилось к роскошным, сверхмодным тряпкам, праздному сидению в ресторане и как предел — к автомобилизированной жизни на курорте.

Но так как Людины желания явно не соответствовали ее возможностям, она рано и весьма искусно научилась шить и умудрялась переделывать старые одежды в такой «модерн», что подружки-девчонки умирали от зависти; она проявила завидное упорство — выучила по разговорнику десятка три английских фраз и произносила вполне сносно, к месту...

По природе своей Люда была застенчива, это ее удручало. Застенчивость она считала ужасным пороком и маскировала этот недостаток наигранной развязностью, а порой взрывами необузданного хамства. При всем этом в ней жили и доброта, и восприимчивость, и задатки каких-то художественных способностей.

Насколько мне стало известно, Люда охотно нянчилась с соседскими детьми, и те души в ней не чаяли; постоянно вы-

полняла чьи-то поручения: что-то кому-то покупала, доставала, укорачивала, удлиняла, перелицовывала — и все совершенно безвозмездно.

Однажды я ей сказал:

— Ты ведь хорошенькая девчонка, а сама себя уродуешь.

— Как уродую? — далеко не мирно откликнулась она.

— Глаза неправильно красишь.

— Почему неправильно?

— Не мажь нижние веки, и тогда у тебя во какие глазищи будут.

Когда я увидел ее в следующий раз, даже не сразу понял, куда девался неприятно вульгарный привкус, так раздражавший и меня, и Карича, и особенно Ирину. А Люда, улыбаясь, сказала:

— Соображаете! И в девчонках разбираетесь, старичок!

— Это неприлично, Люда, говорить человеку — старичок, даже если он не особенно молод.

— Да? А как прилично?

— Пожилой можно сказать или солидный...

Вскоре она позвонила мне по телефону:

— Здравствуйте, солидный мужчина, это Людка, послушайте, какое у меня дело... — и затараторила, словно пулемет...

Вероятно, я не стал бы так подробно рассказывать об этой девчонке, если бы Люда не помогла до конца понять и оценить Карича.

С тех пор как Игорь буквально угорел от знакомства с Людой, Валерий Васильевич ходил чернее тучи. Мне это было непонятно, и я попытался вызвать Карича на откровенный разговор.

— Чего вы так переживаете? Все влюбляются в пятнадцать лет и обалдевают, стоит ли придавать такое значение?

— Да пусть бы он в кого угодно влюбился, я бы слова не сказал, на здоровье... Но эта... эта же не человек...

— Бросьте, Валерий Васильевич. Ну, глупенькая, ну, ограниченная девчонка, что за несчастье?

— Не туда смотрите. Не так важно, какая она сейчас, важнее, какой будет. Из нее так и прут замашки хищницы. Давай-давай! — ее принцип жизни. Для такой все равно, откуда что берется, лишь бы бралось. Если мужчина украдет для нее, будет гордиться! Зарежет — не осудит...

— Вы преувеличиваете, вы колоссально преувеличиваете.

— Из маленького семечка вырастает дерево. С этим вы согласны? Почему же вы не хотите видеть тенденцию, не придаете значения деталям, из которых в конечном счете складывается судьба? Вы же инженер человеческих душ!

— Самое большое — техник-смотритель.

— Тем более, техник-смотритель должен придавать значение и замечать каждый отсыревший угол, каждое лопнувшее стекло, каждый неисправный кран. В конце концов, что мне дев-

чонка? Я за Игоря боюсь. Он неустойчивый, понимаете вы это? Куда его подтолкнут, туда он и клонится. Только-только начал налаживаться — и нате! Вы можете сказать, что дальше будет?

— Точно, конечно, не могу. Но приблизительно... пожалуй. Очень скоро Людмила Игорю надоест. Развлекать ее трудно — для этого нужны другие возможности, но, кроме того, Игорю прискучит ее примитивность.

— Вашими бы устами да мед пить.

— И Люда очень скоро поймет, что Игорь вовсе не герой для киноромана, который она себе сочинила. Улица Петелина в городе есть, но не того Петелина; автомобиль имеется, но не Игоря, а самое главное — семнадцатилетние девицы долго пятнадцатилетними мальчишками не увлекаются...

— Возможно, доля истины, и даже большая доля, в ваших рассуждениях имеется, — сказал, подумав, Карич, — но сколько дров еще может наломать парень, пока осуществляются ваши оптимистические прогнозы.

— Однако вы непримиримый, бескомпромиссный человек, Валерий Васильевич, и едва ли такая позиция облегчает вам жизнь.

— Не облегчает. Верно. Но, знаете, я такой и другим уже не стану.

И снова наш разговор вернулся к Игорю. Валерий Васильевич переживал за него и постоянно испытывал чувство известной скованности: все-таки неродной сын. Ладно бы рос при нем с малолетства, не помня родного отца, а то попал в руки взрослым уже, и всякое слово, всякое действие приходится сто раз взвешивать, прикидывать, примерять...

— Если бы Алешки все это касалось, я бы как задачу решал? Во-первых, вытащил бы из такой школы, которая, на мой взгляд, приносит много вреда. Во-вторых, немедленно пересадил бы его в рабочий коллектив, чтобы почувствовал, как рубль достается. В-третьих, девицу отцовской волей спустил бы с лестницы. А тут маневрируй, придумывай, как сказать, чтобы не слишком... Честно признаться, трудно.

Впервые Валерий Васильевич пожаловался.

По дороге домой мне пришло в голову позвонить старому приятелю Грише Дубровскому, много лет подвизавшемуся на разных ампулах в кино. Начинать он актером, пробовал себя ассистентом режиссера и в конце концов прочно утвердился в должности директора картин. Теперь он был успокоившимся, голысевшим немолодым человеком, обладавшим известным влиянием и широкими связями в киномире.

Правда, мы давненько не виделись, и я не был уверен — захочет ли он что-нибудь для меня делать, но все-таки позвонил.

— Гриша, — сказал я без лишних слов, — мне надо занять

в массовках одну девочку месяца на два, на три... — И я возможно короче изложил ситуацию.

— Сколько ей?

— Семнадцать?

— Она сильно испорчена?

— Думаю, не очень...

— Она считает себя неоткрытой Гретой Гарбо?

— Не считает.

— Тогда ладно, пусть приедет на студию. Что-нибудь придумаем. Только предупреждаю: заниматься ее воспитанием я не буду. Снимать — можем, опекать — нет. Годится?

На другой день я вызвал Люду и сказал, что у меня есть колоссальное предложение, все надо решать сейчас же.

— В кино сниматься желаешь? — спросил я ее в заключение.

Люда смотрела на меня с минуту молча, потом как-то нервно передернула плечом и еле слышно спросила:

— Вы шутите или вы смеетесь надо мной?

— Не шучу и не смеюсь, спрашиваю серьезно: хочешь?

— Конечно, хочу, но разве я смогу?

— Не знаю. Поедешь к человеку, от которого зависит многое. Только не вырайся под кинозвезду. Играй скромность! Штукатурку долой! Патлы расчеши, побрякушки тоже долой.

— Вы все по правде говорите, да?

— По правде. На студии ты будешь занята, возможно, по многу часов подряд, так что на гулянки и развлечения времени оставаться пока не будет...

— Только бы взяли!

— А как же Игорь? Ты же каждый день с ним встречаться привыкла.

— Что он — муж?

— Смотри, Люда, я вовсе не хочу вас ссорить. Если у тебя там получится, ну, возьмут если, напиши ему письмо, объясни, чтобы он понял: пока занята на съемках, встречаться некогда, кончатся съемки — увидимся.

— Раз вы хотите, напишу.

— Договорились, значит: Игорю напишешь, а мне будешь позванивать по телефону и сообщать, как идут дела. Ни пуха ни пера тебе, поезжай!

— К черту! — храбро выкрикнула Люда и рванулась к дверям, потом, что-то вспомнив, вернулась, вlepила мне поцелуй и сказала:

— Большое спасибо. Даже если не возьмут, все равно.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

С некоторых пор наиболее привлекательным для Гарьки Синюхина местом на стадионе сделался закуток под южными трибунами. Здесь по субботам и воскресеньям собиралась самая разношерстная публика и шел оживленный обмен марками, почтовыми открытками, монетами, значками, бутылочными этикетками, пакетиками из-под безопасных бритв. Большинство коллекционеров были ребята, но попадался и взрослый народ.

Кто, как и когда устанавливал неписанные законы обмена, сказать трудно, но скоро Гарька усвоил, что за такой значок дают один, а за такой — два, а за этакий — и все пять штук. Пока он входил во вкус обменных операций, его не интересовали сами значки — спортивные, или гербы городов, или военные — все равно! Просто Гарьке хотелось наменять возможно больше, и он приходил в радостное возбуждение, когда, принеся на стадион десять значков, уносил полсотни. Изворотливый, хитрый, он без труда выработал особую тактику обмена. Выбрав мальчонку поменьше, Гарька подходил к нему и придушенным шепотом, опасливо косясь по сторонам, выговаривал:

— Есть олимпийский. Только не ори... — После такого предупреждения отводил жертву в сторону и, чуть приоткрыв ладонь, показывал «ценность». Таинственный шепоток, опасливый взгляд действовали гипнотизирующе, и в трех случаях из пяти мальчонка выворачивал карманы, отдавая за обычную двадцатикопеечную железку и три, а то и пять значков. Благодаря такой методике, нахальству и настойчивости «богатство» Синюхина росло необыкновенно быстро.

Так продолжалось довольно долго. И Гарька был вполне счастлив: начав с десятка металлических кружочков и прямоугольников, он за какой-то месяц стал обладателем нескольких туго набитых значками коробок из-под монпансье. Гарьке казалось, что он ведет дело ловко и как никто хитро.

Обрабатывая очередного второклассника, Синюхин не заметил, что за его действиями внимательно наблюдает какой-то незнакомый верзила-парень. Довольный, что за «Отличника текстильной промышленности» ему удалось выторговать три значка с изображением диких зверей, Гарька пошел к выходу, но тут его окликнули.

— Ты хоть понимаешь, что делаешь? — спросил верзила.

— Что? Все меняются и я...

— Все-то все... Но ты меняешь значок «Отличника текстильной промышленности», это — государственный знак! Наградной! И такие знаки не подлежат реализации, то есть продаже, равно как и обмену. Подобные действия караются законом. —

Парень говорил уверенно, и Гарька струхнул. Первая мысль была — бежать, но он не успел привести ее в исполнение.

— А ну покажи, что у тебя еще есть? — потребовал парень.

Они отошли в сторонку, и Синюхин раскрыл перед незнакомцем свои коробки. Тот быстро перебирал, словно просеивал, значки между пальцами, что-то мычал при этом и вдруг предложил:

— Пятерку за все хочешь?

— Какую пятерку? — не сразу сообразив, что речь идет о деньгах, удивился Гарька. До сих пор ему просто не приходило в голову продавать значки. Но он быстро сориентировался в обстановке и начал торговаться: — Так если даже по гривеннику за штуку считать, тут и то больше будет, а есть значки и дороже...

— Дороже?! Сколько ты за них отдал? Налапошил маленьких, я не первый день за тобой наблюдаю! И еще торгуешься?

— Я вообще продавать не собирался, ты же предложил.

— Ладно, Босс мелочиться не привык — хватай семь рублей и слушай дальше...

Гарьке ужасно понравилось, что верзила назвал себя Боссом — это было как в заграничном кино; получить с такой легкостью семь рублей он не рассчитывал, и это тоже понравилось.

— Такой мурой — значочками, пуговками — для блезиру только заниматься можно. Несерьезная работа. Люди понимающие вот на чем дела делают, — и парень показал Гарьке, не выпуская из руки, орден Красной Звезды. — Видал? Четвертачок штука! Дело рискованное, кому попало не предлагают... Но ты соображаешь, как с пацанвы тянуть, а тут у половины собирателей дедушки и папаша кавалеры! Понял, что выменивать надо? Сумеешь, я приму, половина — твоя, половина — моя...

Чем дольше продолжался разговор, тем более увлекательные перспективы разворачивались перед мысленным взором склонного к авантюризму Гарьки. И голова заработала в новом направлении.

— Слушай, Босс, — предложил он, — возьми семь рублей назад и отдай значки...

— Как назад? Что заматано, то заматано...

— Тебе же выгоднее. Как я без значков к пацанам сунусь? С этими дурачками надо обязательно меняться... Конечно, я могу новые значки наменять, но сколько времени уйдет — недели две или три...

— А ты хват, — сказал Босс, — соображаешь. Гони деньги.

Гарька отдал только что полученные семь рублей и стал обладателем половины своих богатств. Другую половину он не потребовал. Чутьем понял: чтобы войти в доверие, не надо.

— Чего ж ты свое имущество до конца не спрашиваешь? — удивился парень.

И, сам того не подозревая, Гарька ответил афоризмом, достойным ума куда более искушенного, чем его верткий, но еще не окрепший умишко.

— За науку платить надо!

Следующую встречу назначили на будущее воскресенье.

В этот день Синюхин притащил Боссу первые трофеи: медаль «За победу над фашистской Германией», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и юбилейную медаль в честь восьмисотлетия Москвы.

Босс побренчал блестящими дисками, ухмыльнулся и сказал:

— Медалист! Ну что ж... с чего-то надо начинать. Товар массовый — трояк.

Если не считать беспокойных мыслей о хитроумных меновых операциях, которые должны были сделать его обладателем кучи орденов и медалей, жизнь шла своим чередом — Синюхин ходил в школу, с трудом высиживал на уроках, сдувал контрольные, хватал двойки, время от времени получал нагоняи от матери и мечтал о том дне, когда внезапно разбогатеет.

Богатство представлялось Гарьке довольно туманно. Как ни странно, но он не планировал никаких экстраординарных растрат — приобретения, скажем, проигрывателя «Сонья» или настоящих американских джинсов с фабричными кожаными заплатками. Ему рисовались толстые пачки денег. И мысленно он говорил кому-то невидимому — матери, Белле Борисовне или Игорю:

— Ну так как, может или не может Синюхин делать дело?

Пачки обыкновенных замусоленных трехрублевок, спрессованных в плотные брусочки, таинственно превращались в средство самоутверждения. Сказывалась в этом его личная ущербность или результат домашнего воспитания — мать не стеснялась считать при нем не только свои, но и чужие доходы — сказать трудно. Очевидно одно — он хотел этих пачек и как можно скорее...

В перерыве между уроками Гарька полез в ящик Игоря и обнаружил там среди тетрадок, учебников и прочего школьного имущества письмо. Не будучи человеком шепетильным, он, разумеется, сунул нос в чужое послание и установил бездну интереснейших вещей: во-первых, писала девица; во-вторых, ее звали Людмилой; в-третьих, она сообщала Игорю, что на некоторое время вынуждена исчезнуть; в-четвертых, намекала на возможность хорошо устроиться в жизни; в-пятых, просила Игоря сильно не расстраиваться...

И сразу Гарькина голова, занятая единственной заботой, заработала в определенном направлении.

Недели за две до этого он встречал Игоря с какой-то девчонкой... Мать говорила, Игорь закрутил... И возмущалась: с таких лет... куда родители смотрят...

Последнее время Игорь ходит невеселый... Тут что-то светит! Гарька даже вспотел от напряжения.

После уроков, подождав Игоря на улице, он пошел с ним рядом и как бы между делом спросил:

— Что-то давно не видел тебя с Людкой? Мировая девчонка!

— Ты-то откуда знаешь — мировая или не мировая? — подозрительно спросил Игорь.

— Чего не знать, когда все говорят: во, Петелин, девочку закадрил! Или я глухой, или я слепой?

— Все ты слышишь и все видишь. — И, совсем не собираюсь откровенничать с Гарькой, Игорь все-таки сказал: — Все мировые, пока их в кино там или в кафе водят... и вообще...

— Наблюдается финзатруд?

— А ты что — выпишешь чек на тысячу долларов?

— Если тебе на самом деле нужны деньги, можем поговорить серьезно, — сказал Гарька и повторил: серьезно!

— И что ты мне предложишь?

— Можно выгодно забодать марки... У тебя же целый вагон этих марок.

Игорь даже остановился. Такая идея никогда не приходила ему в голову. Они расстались на лестничной клетке. Ничего еще не было решено, но у каждого созрел свой план.

План Игоря был прост и предельно ясен: если Гарька действительно поможет продать марки — марки, конечно, жалко, но что делать — он явится к Люське и потащит ее куда-нибудь... Куда? Впрочем, она, наверное, лучше знает, куда пойти, и они там посидят, поговорят, все выяснится.

«Посидят», «поговорят» — расшифровывалось в представлении Игоря по киноленте зарубежного происхождения — небольшой зальчик, музыка, непринужденный смех, рукопожатия, намеки... дальше воображение его не заносило, но и этого было вполне достаточно, чтобы настроение его заметно улучшилось.

План Гарьки был несравнимо хитрее и коварней, но, чтобы приступить к его выполнению, надо было прежде всего разыскать, и поскорее, Босса...

Стоило Боссу только увидеть Гарьку, он понял: Медалист с чем-то пришел! И это не значок мастера парашютного спорта и не еще одна юбилейная медаль. Что-то было в Гарьке на этот раз особенное — или самоуверенная походка, или нагло вато прищуренные глаза, или усмешечка на губах...

— Привет, Босс! — сказал Гарька. — Есть разговор.

— Ты надыбал орден Победы? — усмехнулся Босс. — Или у тебя в заднем кармане лежит большой Железный крест с золотыми мечами?

— Есть подход к Золотой Звезде и куче орденов, — сказал Гарька и, выдержав паузу, добавил: — Говорю без трепя.

— Выкладывай.

— Так не пойдет. Задаток.

Босс даже опешил. Он с первого знакомства готов был признать некоторые способности за этим долговязым мальчишкой с рыскающими глазами, но таких — не предполагал.

— Ну, Медалист, ты меня поражаешь! Подо что ты хочешь получить задаток?

— Трусы в карты не играют, Босс. Я не торговался и не обиделся, когда ты мне поставил легкую клизму и отрубил половину значков? Признал: за науку надо платить...

— Сколько же ты хочешь с меня вытряхнуть?

— Косую.

— Ты ошалел, Медалист!

Босс не был психологом, он не был даже настоящим аферистом, так — мелкая сошка, суетившаяся по темным уголкам, полууголовник, полушпана, падкая на легкие деньги. Уверенность Гарьки его озадачила. «А вдруг? Может, и не покупает?» — он расстегнул ремешок часов, сунул их Гарьке.

— Держи, наличных нет.

— Без наличных ничего не выйдет. Наличные обязательно нужны. — И, небрежно опустив часы в карман, объяснил: — Сначала придется за наличные взять марки.

— Какие марки?

— Слушай и вникай, — увлекаясь и играя роль босса, говорил Гарька. — Был на свете летчик, Герой Советского Союза. Накрылся. Ясно? Остался сын. Сыну нужны деньги — четвертак, полсотни. Он хочет толкнуть марки. Берем. Скоро ему понадобятся еще деньги...

— Откуда ты знаешь?

— Женщина! А он папан, нигде не работает, истратит и придет... тут мы и выйдем на отцовские награды. Приволочет как дважды два...

— Кто он?

— Сначала задаток...

— Так я же тебе часы отдал!

— А я что — отказываюсь? Отдал. Теперь гони четвертак.

— Ну ладно. Если завтра вечером я сынка увижу, он получит за марки, а ты — комиссионные. Фамилия и адрес?

— Петелин.

— Того Петелина сын? — и Босс показал рукой в направлении памятника. — Откуда ты его знаешь?

— В одном классе учимся, на одной парте сидим, в одном подъезде живем.

— Так-так-так. Очень интересно. А ты хват, Медалист, и настоящий сукин сын. Ну ладно, рискнем...

Пока Гарька занимался своими делами, Игорь рассматривал марки, которые собирал давно и упрямо. И странное дело, сегодня пестрые бумажные квадратики с затейливыми изображениями зверей, диковинных растений, машин, с портретами выдающихся деятелей разных эпох и разных народов вос-

принимались им совсем по-другому, чем прежде. Вот эта серия авиапочты осталась от отца. Отец вообще-то не был коллекционером, но эти марки берег... Удивительно красивые монгольские марки Игорю подарила Ирина в день рождения... Эти — с портретами полярных исследователей, он выменял, когда учился еще в шестом классе... Все марки были как-то связаны с людьми, временем, событиями, но ни разу не приходило Игорю в голову связывать марки с деньгами.

В конце концов он отобрал два десятка картонов, на которых была выклеена почти вся коллекция, отложил в сторону авиапочту и конверты со спецгашением Северного полюса.

«Марки мои, — думал Игорь, — и никто не имеет права запретить мне делать с ними, что хочу». И хотя с точки зрения формальной логики рассуждение было безупречным, он все-таки испытывал неприятное чувство. «Хоть бы уж скорее, — думал Игорь, — и тогда...» А что тогда... Толком представить не мог.

Наконец Гарька сообщил: можно идти. Никем не замеченные, они выбрались со двора и направились к автобусной остановке. Там их ждал Босс. Протянув Игорю руку, верзила назвался, но имени его Игорь не разобрал. Они проехали остановки три или четыре, сошли, поплутали по развороченным улочкам квартала-новостройки, поднялись на третий этаж полузаселенного дома и позвонили в дверь стандартной, малогабаритной квартиры.

Хозяин оказался приветливым старичком, маленьким и чистым. Седые легкие волосы негустым венчиком обрамляли детски-розовую круглую лысину. И прозрачно-голубые глаза смотрели на окружающих с младенческой непорочностью.

— Попрошу, молодые люди, разуться, а то в нынешних домах полы не дай бог — умри — не отмоешь... Проходите...

Ступая друг за другом, посетители прошли в меньшую комнату, видимо, личный апартамент старичка, и тесно расселись вокруг небольшого, заставленного книгами, столика.

Игорь огляделся: на старомодной тумбе стоял подсвеченный изнутри аквариум; в зеленоватой воде тихо вальсировали золотые хвостатые рыбки; по обеим сторонам окна, одна над другой, висели шесть клеток с канарейками; на шкафу, загроможденном чемоданами, теснились птички чучела. Игорь узнал дятла по длинному клюву, сову по большущим, янтарным глазам и сороку по белым перьям, остальные птицы были ему неизвестны.

— Попрошу, — сказал старичок, достав очки, — показывайте...

Игорь развязал шпагат и выложил картоны на стол.

Старичок мельком взглянул на первый лист, на второй, одобрительно закивал головой и заметил:

— Очень-очень добросовестное и, я бы сказал, даже оригинальное оформление. Где делали?

— Что делали? — не понял Игорь.

— Расклейку, окантовку, так сказать, выставочный вид?

— Сам.

— Вполне индустриально, вполне. На старости — кусок хлеба, — засмеялся старичок. — В клиентуре не нуждаетесь?

Тут Игорь перехватил явно недовольный взгляд долговязого парня, но не придал этому особого значения.

— Может, приступим? — не стараясь быть любезным и явно подгоняя старичка, сказал Босс.

— Приступим, приступим... Отчего не приступить, когда пришли. — И старичок стал рассматривать лист за листом, выписывая в тетрадку ровную колонку карандашных цифр.

Игорь не заглядывал в цифры, не прислушивался к словам.

— Так... юбилейная серия... с гашением, сорок копеек... эти по гривенничку — раз, два, три, виноват, тут брачок!.. четыре, пять, шесть, стало быть, пятьдесят пять копеечек... дальше...

Это продолжалось довольно долго, а Игорю и вовсе показалось, что прошла целая вечность, прежде чем старичок сказал:

— Ну-с, молодые люди, марок здесь на сорок шесть рублей, а как оплачивать оформление, признаться, не знаю, впервые встречаюсь... Думаю, по полтора рубля за лист будет не дорого и не дешево. Так что окончательная цена — пятьдесят два рубля.

— Дорого, — сказал Босс.

— Брат, не брат — дело ваше, а мне, извольте по обычаю, десять процентов за оценку, — сказал старичок и улыбнулся.

Босс протянул старичку мятую пятерку и велел Игорю:

— Заворачивай и пойдем.

Не очень соображая, куда надо идти еще, испытывая отвратительное чувство унижения и мечтая лишь об одном — скорее бы все кончилось, Игорь поспешно забрал коллекцию и, позабыв обуться, выскочил на площадку. Только ощутив холод грязного кафеля, проникший сквозь носки, он спохватился и вернулся за ботинками.

Они спустились во двор: впереди — Босс, следом — Гарька и последним — Игорь. Присели в беседке. Босс закурил, поплевал и хмуро изрек:

— Живоглот. Что ты хочешь получить, — обратился он к Игорю, — только без запроса?

— Не знаю. Ваш специалист сказал...

— Сказал, сказал! Он и пять тысяч может сказать. Ему что?

— А ты сколько предлагаешь? — спросил Игорь, по-прежнему думая — хоть бы уже все кончилось.

— Любую половину.

— Значит, двадцать пять?

— Хорошо считаешь. По арифметике пятерка? Двадцать пять минус пять, — и пояснил: — Пять с тебя, пять с меня — твоему дружку, комиссионные. Идет?

— Ладно, — сказал Игорь и, хотя он понимал, что отдает марки за бесценок, отказаться уже не мог...

И, только получив две сложенные пополам десятки и оставшись один на улице, он вдруг совершенно отчетливо понял: не нужны ему эти деньги и никуда он не пойдет, и Люська не нужна, раз написала такое письмо... И вообще ничего не нужно...

С чувством полной отрешенности от окружающего мира он тащился через весь город пешком, едва соображая, что же происходит.

Раньше больше всех он злился на Ирку. Для чего она пишет эти дурацкие записки? Подумаешь, какой-то Лабрюйер изрек: «Кто терпеливо готовился в путь, тот непременно приходит к цели». Вот пусть, раз такой умный, и идет куда надо.

Потом он стал злиться на мать. Как ей только не надоест каждый день спрашивать: «Когда, скажи на милость, ты наконец возьмешься за ум?»

И в школе ему все время начитывали, начитывали и не верили — ни когда он врал, ни когда говорил чистую правду...

Тут он вспомнил о Қариче, готов был и его мысленно расчехловости, но вдруг, совершенно для себя неожиданно, понял — вот единственный человек, к которому у него нет претензий.

Вавасич заставил Алешку с ним заниматься, Белле Борисовне выдал, будь здоров как, перед матерью заступался, позволил машину водить...

Это открытие неприятно поразило Игоря. Он стал старательно припоминать, а в чем все-таки можно было бы упрекнуть Қарича... Тогда, после суворовского, чуть по шее не врезал? Но ведь и стоило. Со двора вытолкал, когда из-за машины крик поднялся... и тоже стоило.

Рассуждая таким образом, Игорь дошел до главного универмага и остановился перед яркой витриной. Он долго разглядывал большую, глупо улыбающуюся куклу, обернутую в полосатую матерью. И подумал: «А марки накрылись, надо скорее истратить деньги, чтобы больше не вспоминать».

За двадцать рублей можно было купить: клетчатый шарф, шапку из искусственного меха, альпинистский рюкзак, дамскую комбинацию с кружевами, полуботинки, духи, рубашку с галстуком... Но ни один из этих предметов даже на минуту не привлек Игореве внимания.

Почему-то все в этот день Игорь делал совершенно импульсивно, без заранее обдуманного намерения, и сейчас он вдруг подошел к прилавку, где продавались вино и сигареты, и спросил:

— А коньяк за двадцать рублей у вас есть?

— За шестнадцать восемьдесят есть, — сказала пожилая продавщица и откровенно осуждающе поглядела на Игоря.

Он вполне оценил ее взгляд, подумал: «Не продаст», но его тут же осенило:

— Вы ничего такого не думайте, пожалуйста. У отца день рождения, — сказал Игорь, — хочу подарить. Он, знаете, любит, но только дорогой, иногда, по праздникам...

И продавщица улыбнулась ему и завернула бутылку лучшего, что был в магазине, коньяка в розовую мягкую бумагу.

Игорь вежливо поблагодарил (это он умел — быть вежливым, когда чего-нибудь добивался!) и пошел дальше.

Он не заметил повстречавшейся ему на пути Беллы Борисовны, не оценил ее красноречивого взгляда, протянувшегося к розовой, аккуратно обернутой бутылке...

Дома были Галина Михайловна и Ирина.

Получив телефонное предупреждение Беллы Борисовны: «Я только что встретила, как мне кажется, покачивающегося Игоря с бутылкой в руке...» — обе растерялись. Такого еще не случалось.

— Господи, — только и смогла сказать Галина Михайловна, — и Валерия нет. Что мы с ним с пьяным делать станем?

— И хорошо, даже очень хорошо, что Валерия Васильевича нет, — сказала Ирина, — не волнуйся, я сама с этим типом объяснюсь, только прошу — не вмешивайся... Сколько перед ним плясать? Давно уже пора налупить — и точка.

И только Ирина успела закончить свою обвинительную речь, на пороге появился Игорь:

— Здравствуйте... а что случилось?

— Пока ничего, но сейчас случится, — угрожающе сказала Ирина, — где был и что делал?

Ко времени, когда Валерий Васильевич вернулся домой, Галина Михайловна и Ирина без особого труда и к своему огромному облегчению успели установить: Игорь был трезв, заподозрили его напрасно. Завернутую в розовую бумагу бутылку, как объяснил Игорь, он купил в подарок Валерию Васильевичу...

(С чего? У Валерия Васильевича не день рождения, и вообще никакого праздника нету...)

— Почему вдруг подарок?

— А так, захотелось!

Деньги — за марки. Продал какому-то проходимцу...

— Чем тебе помешали марки?

— Столько лет собирал... какая нужда?

— А так, пособирал — и хватит!

Бутылка коньяка вещественным доказательством стояла посреди обеденного стола. Галина Михайловна и Ирина шеп-

тались на кухне. Игорь занимался в своей комнате. Карич выслушал женщин, наперебой вводивших его в курс последних событий, внимательно изучил этикетку, усмехнулся: «Я бы такой коньяк не купил», поставил бутылку на место и постучал к Игорю.

Ответивший уже на двадцать вопросов матери и сестры, Игорь ожидал, что сейчас последуют новые — для чего? где? почему? зачем? — но Валерий Васильевич сказал только:

— Спасибо. Воспринимаю твой подарок символически и ставлю на долгосрочное хранение — закончишь образование, выпьем вместе. Не возражаешь?

Игорь улыбнулся:

— Как считаешь нужным.

— Договорились. Мешать не буду, один совет: если намечаются новые неприятности, лучше обсудить, пока не поздно.

— Спасибо. Пока все в порядке.

— Ну-ну, тебе виднее. — И Карич ушел, а Игорь никак не мог сосредоточиться на учебнике истории — мысли его, путаясь и спотыкаясь, возвращались к оценщику-старичку, к парню, которого Гарька называл Боссом, к самому Гарьке.

«Ну хватит, — приказал себе Игорь, — все в порядке и больше нечего об этом думать!..»

Игорь слышал, как вошла в комнату Ирина, как возилась около постели, шуршала платьем, как дробно простучали пуговицы о спинку стула и скрипнула сетка кровати, но не обернулся.

Всем своим видом показывал: учусь!

Он не был в обиде на Ирину, но легкий налет неудовольствия еще не слетел: зачем, так с ходу, не разобравшись, обвинять человека?

— Игаш, ты еще злишься?

— Я читаю историю.

— Злишься, — вздохнула Ирина. — Я неумышленно ошиблась. Мне беспокойно, и кажется, если ничего плохого с тобой не случилось, то может случиться. Лицо у тебя тревожное, глаза нехорошие. Может, ты в какую-нибудь историю впутался? Поделись. Лучше знать даже плохое, чем ничего не знать... Я не пристаю, я беспокоюсь...

Игорь слушал Ирину, испытывая смешанное чувство удовольствия и раздражения — кому не приятно знать, что за него дрожит другое сердце? — это с одной стороны, а с другой — ее беспокойство, хотел он того или нет, передавалось Игорю и подтачивало ту стройную систему оправданий, которую он успел построить...

— Зря накручиваешь, Ирка, ничего особенного не случилось. В банду я не вступил, **никого** не ограбил, ну, продал марки, так чего тут такого? А настроение... у меня, правда, переломилось. Из-за Люськи. **Только** говорить про это неохота. Может, я дурак, а может, так и должно быть... если бы я сам написал, в том смысле, значит, **довольно, хватит...** поиграли

в любовь, и — привет!.. я бы не злился, а то она накатала... обидно.

— Коварный ты мужчина! Сам женщин бросать — с удовольствием, а как они тебя — недоволен? — Ирина думала, что это шутливое замечание разрядит обстановку, снимет напряжение и вызовет ответную улыбку Игоря, но ничего такого не произошло.

— Разве только я, а не все так? — задумчиво спросил Игорь.

— Может быть, и все... А больше тебя ничего не гложет?

— Ничего...

Отделенные от ребят тремя внутренними стенками, Галина Михайловна и Валерий Васильевич вели свой разговор:

— И все-таки я уверена, не так все просто. Подумай, ну, почему человек ни с того ни с сего продает марки и бежит покупать коньяк? Это ведь в голову должно прийти! Кому продает, где? С какой стати? Тут или какая-то необдуманность, или тайная цель...

— Какая может быть тайная цель, Галя? Дать мне взятку? За что? Не надо о нем думать хуже, чем он того стоит.

— Мне бы приятнее думать о нем лучше, чем он того стоит. Но...

— Марки, мне кажется, Игорь продал стихийно. Не собирався, а, как он любит говорить, — так вышло... Гарька мог подбить, кто-нибудь из ребят... Все в его возрасте чем-то меняются, все стремятся проявить самостоятельность... А потом, когда в руках у него оказались деньги, в сравнении с теми, что он имеет обычно, большие, он растерялся — куда девать? Действительно, на что ему деньги — одет, обут, сыт...

— Мог бы, раз уж продал марки, просто положить...

— Куда? Теоретически он мог открыть текущий счет и потом прибавлять на него по рублю, по полтинничку... Только это на него непохоже...

Да, это на него действительно непохоже, — согласилась Галина Михайловна и сразу вспомнила, как ворвался в дом Пепе с первыми заработанными на испытательной работе летными.

«Собирайся, едем! — скомандовал с порога. — Только не канителься, а то опоздаем». Ничего не понявшая Галина Михайловна спросила: «Куда опоздаем? Что случилось?» — «Магазины могут закрыться! Ну, чего ты смотришь на меня? Я летные получил — двадцать семь тысяч шестьсот сорок с чем-то... Надо истратить, купить...» — «Что купить, и почему сейчас, разве нельзя завтра или послезавтра?» — спросила Галина Михайловна и почувствовала, что спросила напрасно. Пепе помрачнел, странно прикусил губу и совсем другим голосом произнес: «Можно, конечно. Я понимаю. Жаль, зря торопился. Думал, обрадуешься. Столько денег сразу я лично никогда еще в руках не держал. И все можно истратить. Если не

хочешь сегодня, тем лучше». И он вывалил на стол увесистые пачки старых крупных купюр...

— Ты спишь? — спросил Карич.

— Нет, думаю. Пожалуй, ты прав, Игорю, видно, очень хотелось истратить эти деньги.

— Но неужели я дал Игорю основание считать, что лучшее приобретение — коньяк? — спросил Валерий Васильевич.

— Что ты! Просто Игорь заметно к тебе переменялся. «Ты» стал говорить, тянется. Захотелось парню выразить свою мужскую солидарность, что ли. А что мужчины дарят мужчинам? Не белье, не подтяжки... Коньяк в его представлении — это шикарно...

— Может быть.

Людам свойственно надеяться на лучшее, даже когда оснований для добрых надежд немного. А тут концы как будто сошлись с концами, и никакой явной причины для тревоги не осталось...

Заканчивая дежурство, Фунтовой решил заехать к Каричу. Не виделись довольно давно и, хотя никаких особых дел у Олега Павловича к Валерию Васильевичу не было, подумал: «Надо заглянуть».

Мягко покачиваясь на волнистом покрытии, желто-синяя «Волга», с проблесковым маячком на крыше, двумя удлиненными антеннами и дополнительными фарами, катила по приоткрытому городку.

Профессионально натренированным взглядом Фунтовой отметил — на обочине, слишком близко к проезжей части поставлен «Москвич-412», серый, в экспортном исполнении, подфарники включены; из-за поворота вывернулась «Волга» с дальним светом, но водитель тут же переключился на ближний, проехал, явно превышая скорость, мотоциклист на красной «Яве»... Миновав знак «обгон запрещен», Фунтовой въехал в городок. Улица, по которой пролегал его путь, была наполовину перегорожена щитом: «Идут дорожные работы».

Фунтовой включил дальний свет и осторожно притормозил. Свет мощных фар косо пересек тротуар и захватил краем пространство открытого к улице двора. В дрожащих лучах мелькнули темные, словно вырезанные из черной бумаги фигуры. За шумом двигателя и попискиванием включенной рации Фунтовой не слышал звуков с улицы, но суматошное движение черных силуэтов подсказало — во дворе драка. На всякий случай он включил сирену. Вообще-то дворовая драка была, так сказать, не по его автоинспекторскому ведению, но, увидев, что одна из фигурок упала, а три других кинулись наутек, он не раздумывая свернул с дороги и подогнал машину к неподвижно лежавшему человеку.

Человек оказался мальчишкой. Судя по неестественному

повороту, левая рука у него была повреждена. Фунтовой окликнул лежавшего, тот не ответил. Видимо, потерял сознание. Нагнувшись, капитан взгляделся в лицо пострадавшего, и оно показалось ему знакомым. Но припоминать и раздумывать, где он мог его видеть, было некогда, следовало действовать. И он, втащив парня в машину, поехал в больницу.

Дежурный врач травматологического отделения установил: перелом левого предплечья. По всей вероятности, пострадавшему нанесли удар каким-то тупым, тяжелым предметом, похоже, железным арматурным прутот. Мелкие кровоподтеки и ссадины на лице.

Вскоре мальчишку привели в чувство, он назвалсч:

— Петелин Игорь.

— Кто тебч?

— Темно было...

— А чего они хотели?

— Не знаю.

Фунтовой не стал ни на чем настаивать и решил первым делом сообщить о случившемся родителям. Он это и сделал со всеми возможными предосторожностями, но никакие маневры не помогли, и Галина Михайловна, услышав, что Игорь в больнице, едва не лишилась сознания, а Ирина моментально собралась бежать к брату. И Карич, тяжело вздохнув, сказал:

— Неспроста это все. Надо разбираться, Олег.

Когда Карич, Галина Михайловна, Ирина и Фунтовой приехали в больницу, дежурный врач с уверенностью сказал:

— Ничего угрожающего. Перелом, к сожалению, имеется, надрезали гипс, нужны покой и время.

Пустить к Игорю всех доктор решительно отказался. И тут странную настойчивость проявил Карич:

— Пойду я. Завтра с утра и ты, Галя, сможешь, и Ирочка.

Фунтового допустили в палату, так сказать, по долгу службы, а точнее, «под мундир и погоны»...

Игорь лежал бледный, с открытыми глазами, увидел Валерия Васильевича и попытался улыбнуться.

— Кто тебч? — спросил Карич.

— Темно было...

— Не делай глупости, Игорь. Все равно их найдут. Ты в чем-нибудь замешан? Тебч подобрал Олег Павлович, он на службе и должен написать рапорт, понимаешь? Но Олег мой старый друг, и будет гораздо лучше, если ты скажешь...

— Я сам, Вавасич, их передущу... Поправлюсь и передущу.

— Кого? С огнем играешь, Игорь. Себе хуже делаешь. А если милиция найдет их раньше, чем ты выпишешься, и они оговорят тебч?..

— Никто меня оговорить не может. Я нч в чем не виноват. Честное слово! Пусть ищут, находят, все равно я их передущу... Раньше я только лаял, а теперь... теперь я знаю, что делать...

Пришла медсестра, сделала укол и знаком попросила Кари-ча выйти.

Успокоив насколько было возможно Галину Михайловну, Кари-ч спросил Фунтового:

— Что будем делать?

— Расскажи все, что ты замечал за ним в последнее время, припомни подробности.

И Кари-ч, стараясь быть кратким, изложил все, что вызывало у него тревогу, что казалось если не подозрительным, то не совсем обычным...

— Настораживает, но... ничего определенного, — резюмировал Фунтовой.

— Вот именно. Чтобы появилась хоть какая-то определенность, мне кажется, надо потряхнуть Синюхина. Уверен, он причастен. Доказать не могу, но не сомневаюсь — без него не обошлось.

— Так или иначе делу придется давать законный ход, больница происшествие зарегистрировала и по своей линии сообщит органам правопорядка... Начинать дознание мне не положено, но с другой стороны... по горячему следу... Была не была, едем!

В квартиру Синюхиных Фунтовой пошел один. Дверь ему открыла Варвара Филипповна. Вид милицейской тужурки и капитанских погон насторожил ее, но тем не менее Варвара Филипповна любезно улыбнулась:

— Вы, наверное, ошиблись, товарищ капитан? Вам кто нужен?

— Синюхин, ученик восьмого класса...

— Гарик вам нужен? Он уже лег... а что, простите, случилось? Я — мать... и мне, как вы понимаете, хотелось бы...

— Нам тоже... Поэтому я попрошу разбудить Гарика.

Гарька появился подозрительно быстро. У него были растрепанные волосы. Мглистые зрачки его светлых глаз мелко мелко дрожали.

«Хорош, — подумал Фунтовой, — трясется, как заяц».

— Вы-ы ме-е-ня? — спросил Гарька.

— Вас, Синюхин, — выдержав паузу, ответил Фунтовой. — А чего вы так дрожите?

— Что-о-то х-холодно.

— Оденьтесь потеплее, и спустимся на минуту вниз.

— Как? Вы забираете моего сына? Но за что? Разве я не имею права, товарищ капитан...

— Не волнуйтесь, никто никуда его не забирает, внизу машина, нам надо съездить всего за каких-нибудь сто — сто пятьдесят метров на место одного недавнего происшествия.

— Но при чем мой сын?

— Возможно, и ни при чем, но мы надеемся на его помощь — нужно кое-кого опознать и кое-что распутать. Я думаю, через полчаса вы получите его обратно.

Успокоилась ли мать после этих слов Фунтового, сказать

трудно. Но приумолкла и только нервно терла руку об руку и поминутно прикладывала ладони к щекам.

Фунтовой и Гарька спустились к подъезду. Гарька увидел милицескую машину, и его заколотило, как в малярном при-ступе. Фунтовой открыл правую переднюю дверку и сказал:

— Прошу.

— Куда вы-ы ме-еня повезете?

— Туда, — сказал Фунтовой. И, не спеша обойдя машину, сел за руль.

— А зачем ту-уда?

— Чтобы вам легче было вспомнить, как было дело.

— А он жив? Босс ударил его по голове прутот...

— Может быть, вам лучше рассказать все по порядку, все что известно? — тихо спросил Фунтовой.

Гарька и не пытался записать.

После того как Босс купил марки, он, Синюхин, несколько раз пытался завести разговор с Игорем по поводу Люськи и отнотсительно денег. Но Игорь отмалчивался и на заигрывания Синюхина не реагировал. А Босс наседа, ему нужны были обещанные ордена. Раза два Босс грозился избить Гарьку, вытряхнуть из него душу и в конце концов потребовал устроить свидание с Игорем. Гарька крутился и так и этак, но разговора с Игорем не получалось, и тогда он решился на отчаянный шаг — сказал, что в марках были поддельные, и теперь Босс грозит убить Гарьку, если он не устроит ему свидания с Игорем и они как-то не договорятся о перерасчете...

Сначала Игорь послал Синюхина к черту и сказал, что пусть Босс спрашивает с того старика, который оценивал коллекцию, но потом передумал и согласился пойти на свидание с Боссом.

Они встретились в одном из соседних дворов. Босс пришел с приятелем. Приятеля Гарька видел впервые, ни имени, ни фамилии его не знал. Оба были выпивши, но не сильно. С Игорем Босс разговаривал хорошо. Объявил, что про марки Гарька все наврал. А позвал он его потому, что есть дело, совсем другое, не марочное. Тут Босс предложил всем выпить. Бутылку какого-то вина, какого именно, Гарька не разглядел в темноте, они принесли с собой. Игорь пить не стал. Они сами выпили. После этого Босс вывалил все напрямую: де, мол, он занимается посредничеством между коллекционерами, достает редкие марки, помогает людям приобретать старинные монеты, ордена. Дело это небезопасное, но доходное. И вот у него предложение к Игорю: продать ордена и геройскую Звезду отца. Сейчас эти предметы лежат без пользы, а могут украсить чью-то коллекцию, ну, и само собой, Игорь не останется в убытке.

Игорь выслушал Босса и, когда тот замолчал, спросил:

— У тебя все?

— Пока все.

— Не выйдет, — сказал Игорь и хотел уйти.

Босс начал горячиться, схватил Игоря за рукав и стал объяснять, какое выгодное дело он предлагает, что Игорь решительно ничем не рискует, так как весь риск Босс принимает на себя.

— Что ж, тебе лишние деньги не нужны? Такого не бывает. Всем нужны деньги...

— Не выйдет, — снова сказал Игорь, — не хочу.

— Но почему?

— Ты мне не нравишься. Ты падаль. Ты вонючая падаль!

— Да за такие слова знаешь что бывает? — побелел и затрясся Босс.

— Знаю. Ударь меня, падаль. Ударь...

И тогда Босс велел Гарьке:

— А ну двинь его в рыло, Медалист! Не хочу малолетнего трогать...

В этом месте рассказа Гарька начал всхлипывать и долго бормотал что-то совершенно нечленораздельное. Даже выдавший виды Фунтовой растерялся и, забыв об официальном тоне разговора, спросил:

— И ты ударил Игоря?

— А что я мог сделать? Что? Я его не сильно, так, для вида.

Игорь и бровью не повел, даже головы в сторону Синюхина не повернул. Сказал Боссу:

— Я не боюсь тебя, вонючая падаль. Ударь меня. Сам ударь, чтобы мне не переступить предела необходимой обороны. Ударь, падаль, и я буду бить тебя до смерти. За ордена люди умирали, а ты, падаль, хочешь легко жить!.. Ну чего смотришь, ударь...

В конце концов Босс ударил Игоря, и тогда тот кинулся на него как бешеный. Но их было трое, а он один... И Босс подобрал валявшийся на земле железный прут, и... тут их осветили фары...

Фунтовой достал блокнот, шариковую ручку, включил освещение и сказал:

— Все, что вы сейчас рассказали, Синюхин, напишите.

— Понятно, товарищ капитан. Я напишу и тогда?

— И тогда ты пойдешь домой спать...

— А потом?

— Суд решит...

Была уже поздняя ночь, когда Фунтовой, съездив к дежурному по городу, передав свой рапорт и показания Синюхина, вернулся на квартиру Карича.

Никто не спал. Все слонялись из угла в угол как неприкаянные. Комнаты, обычно блестявшие чистотой и обращавшие внимание каждого переступившего порог квартиры Галины Михайловны подчеркнутой аккуратностью, выглядели будто нежилые.

— Ну что головы повесили? — спросил Фунтовой, появляясь

в дверях. — Малый жив и будет здоров. Подлости не совершил. Чего переживать?

— Все эти дни я как чувствовала, что-то должно случиться... — сказала Галина Михайловна.

— А я даже спрашивала Игашку: все у тебя в порядке? А он говорит — все в порядке, — сказала Ирина.

— Теперь-то чего переживать? — сказал Карич. — Что случилось, то случилось. Могло быть хуже.

— Слушаю и поражаюсь! — сказал Фунтовой. — Живой и будет здоровым ваш парень. Может, сегодня в нем человек родился? Вот бы о чем подумали. Не предал, не продал, не струсил!..

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

В воскресенье мы уговорились с Грачевым поехать за щенком.

Случайно от Гоги Цхакая я узнал, что знакомые его близких друзей раздают щенков карликового пуделя. Не продают, а именно раздают! Но, чтобы получить собачку, надо им понравиться. Как сказал Гоги, ссылаясь на слова своих друзей: «Люди они хорошие, но совершенно психические собачатники. И пудель у них какой-то особенный, весь в медалях...»

Еще до этого Грачев говорил, что хочет приобрести собачку.

— Оля растет одна, плохо это; надо, чтобы рядом живая душа была. Пусть девчонка о ком-то заботится.

Ни о какой особо породистой собаке Грачев не мечтал, собирался взять первую попавшуюся, лишь бы не очень большую.

И вот сошлось — Гогоны друзья сказали Гоги, он передал мне, я вспомнил о намерении Анатолия Михайловича... В воскресное утро было назначена встреча. Мы уже приближались к дому, когда Грачев сказал:

— Знаете, что мне интереснее всего? Ей-ей, не собачонок! А как откажут хозяева, если я им не понравлюсь? Ну неужели так и скажут: «Вы для нашего щенка не подходите!» А?

— Старайтесь понравиться... Что еще тут посоветовать?

— Попробую. Только не знаю, в какую сторону стараться, не приходилось... а вот вы бы мне собаку доверили?

Квартира, в которую мы попали, оказалась просторной, капитально перестроенной в старом, дореволюционном еще доме. На пороге нас встретила пышная, восточного обличия женщина, по-видимому, хозяйка. Карина Амазасповна спросила:

— Курите?

Грачев сказал, что не курит, и я, сам не знаю почему, видимо, тоже стараясь понравиться хозяйке и не предполагая, что разговор будет слишком продолжительным, вежливо отказался от предложенной пепельницы.

— Очень хорошо. Кто из вас хочет получить щеночка?

Анатолий Михайлович сдержанно поклонился.

«Ну, черт возьми, — подумал я, — как в опере! Откуда только такие манеры? Граф!»

— У вас семья? — обращаясь с этой минуты только к Анатолию Михайловичу, поинтересовалась Карина Амазасповна.

— С вашего позволения, жена и дочь.

— Прекрасно. Вы живете в отдельной квартире?

— В отдельной двухкомнатной квартире на третьем этаже. У нас большой двор при доме. Зеленый, аккуратный...

— Прежде вы держали животных?

— К сожалению, мы долгое время жили в таких условиях, что было не до животных, но мы всегда мечтали...

— Жена работает?

— Работает.

— Девочка учится?

— Дочка еще маленькая, ходит в садик.

— Это хуже...

— Простите, что именно хуже? — осведомился Анатолий Михайлович.

— Вы уйдете утром на работу, жена уйдет, дочка, собачка останется. А пудели очень общительные и плохо переносят одиночество. Они скукают совершенно как люди...

— Но у жены сменная работа, потом я весь день нахожусь буквально в двух шагах от дома и могу заглядывать...

— Кем вы работаете?

— Мастером.

— Мастером, извините, чего?

— По слесарной части.

— Кого же вы учите?

— Мальчишек.

— Чему, простите?

— Главным образом, слесарному делу и чтобы они были людьми.

Казалось, вопросам Карины Амазасповны не будет конца. Она уже успела выяснить, не пьет ли Грачев, какой у него заработок, хорошо ли готовит его жена, не часто ли болеет дочка, есть ли у него родственники за городом... уж и не помню, чего только она не узнала.

Как обрабатывался поток информации в голове дотошной хозяйки, не знаю, но настал какой-то момент, возможно, это была всего лишь крошечная пауза, когда я почувствовал — сейчас разговор переломится. И действительно Карина Амазасповна сказала:

— Ну что ж, вы мне нравитесь, Анатолий Михайлович. Во-первых, вы терпеливый и выдержанный человек, это очень важно; во-вторых, вы человек естественный — у вас на лице написано: а не пошла бы ты к черту, сумасшедшая барынька, но ни к одному вашему слову не придерешься... Как вы думаете, чем я занимаюсь?

— До последнего момента я думал, что состоите при обеспеченном муже, а сейчас засомневался. Скорее всего вы кого-то чему-то учите, въедливость у вас учительская...

— Великолепно! И точно. Я доктор психологии, преподаю в университете... Сейчас... — и она снова вышла.

Мы переглянулись. Грачев был доволен и успел шепнуть:

— Вырвали пса!

И Карина Амазасповна вернулась с черным шерстяным шариком на ладони.

— Вот, пожалуйста, знакомьтесь. Нравится?

Грачев разулыбался и ничего вразумительного сказать не мог. Щенок был действительно прелестный — теплая, живая игрушка...

Примерно еще час Карина Амазасповна инструктировала Анатолия Михайловича, чем можно, нужно и чем нельзя кормить щенка, как купать, выгуливать, укладывать спать... Потом записала адрес и телефон Грачевых, предупредив, что, хотя бы они или нет, придет в гости.

— И если он пожалуется, — она погладила щенка, — так и знайте: наживете в моем лице смертельного врага!

В конце концов мы с Анатолием Михайловичем выбрались на улицу.

— Ну, вы довольны? — спросил я Грачева.

— Никогда не думал, что бывают такие человекообразные собачата. Посмотрите, какое осмысленное выражение лица!

— Все, — сказал я, — погиб рыбак! Если вы уже говорите о выражении лица, то нетрудно представить, что будет дальше...

Мы погрузились в троллейбус и поехали к Грачевым.

По дороге разговаривали обо всем понемногу. В частности, я рассказал Анатолию Михайловичу об истории, происшедшей с Игорем. Как мне показалось, слушал он не очень внимательно, так что я даже пожалел — не стоило так на ходу и говорить об этом. Судьба Игоря была для меня далеко не безразлична.

Анатолий Михайлович все заглядывал себе за пазуху, поглаживал щенка и спустя какое-то время совершенно неожиданно спросил:

— Кем он был раньше?

— Кто? — не понял я.

— Петелин.

— Как — раньше? Игорь учится в восьмом классе.

— Я про отца спрашиваю.

— Летчик, Герой Советского Союза...

— Но он же не родился ни летчиком, ни тем более героем?

— ФЗУ окончил, слесарил на заводе. Кстати сказать, здорово у него это получалось. Потом пошел в аэроклуб, потом — в летную школу.

Для чего Грачеву понадобилось знать, кем был Пепе до начала летной службы, я не понял. В моем представлении он был прежде всего Летчиком, всегда Летчиком! Но разговор до-

вести до конца не удалось, он был внезапно оборван самым бесцеремонным вторжением со стороны:

— А почему вы, гражданин, живность в троллейбусе перевозите? — противно въедливым голосом спросила Анатолия Михайловича неизвестно откуда появившаяся женщина.

— Кому помешала моя живность? Щеночек, месяц ему...

— Не полагайтесь. От собак зараза. И что будет, когда каждый начнет с собакой раскатываться? Зоопарк. Цирк! — Голос ее становился громче и возбужденнее, какие-то пассажиры начали уже оборачиваться в нашу сторону.

— Безобраззие! И вы только посмотрите, — женщина искала единомышленников и обращалась к пассажирам, — он еще улыбается! Нахал такой. С животной в троллейбусе, и смеется...

— Простите великодушно, — спросил Грачев, перестав улыбаться, — вы случайно не из Сухуми?

Такого вопроса женщина не ожидала и клюнула:

— Нет, а почему вы решили, — вполне миролюбиво спросила она, — что именно из Сухуми?

— А там в обезьяннике таких допозна.

У склочной бабы от возмущения даже челюсть отвисла, но прежде чем она нашлась ответить, десятка два пассажиров покатились со смеху.

Убедившись, что массы на нашей стороне, Грачев вытащил щеночка, показал всем и задорно, на весь салон выкрикнул:

— Товарищи, решаем открытым голосованием — ехать нам или идти пешком? Кто за то, чтобы ехать, прошу поднять руки! Спасибо, товарищи!

Никого не ожидая в этот день, я тихонечко стучал на пишущей машинке, заглядывая в свои старые путевые записи.

И снова, в какой уже раз, в устойчивую тишину московской квартиры заглядывали зеленые, отороченные нарядной белой пеной волны Индийского океана, и в памяти ревел непрекращавшийся шестые сутки шторм экваториальных широт.

Но тут, обрывая сладостную горечь тропических воспоминаний, позвонили в дверь. Неохотно оторвавшись от гипнотизирующих видений океана и мгновенно возвратившись в наши средние широты, я пошел открывать.

На лестничной площадке переминались с ноги на ногу четверо незнакомых мальчишек. Увидев меня, разом, словно по команде, сдернули они форменные фуражки, и, должно быть, старший очень вежливо извинился за беспокойство.

— Входите, — сказал я и, признаюсь откровенно, безо всякого энтузиазма повел ребят в комнату.

— Мы узнали, — начал один из мальчишек, — что во время войны вы были летчиком и летали вместе с Петром Максимовичем Петелиным.

Все четверо смотрели на меня выжидательно.

— Да, во время войны я летал с Петром Максимовичем.

— У нас просьба: мы хотим собраться и поговорить о жизни и его подвигах и пришли пригласить вас в училище.

Приглядевшись к неожиданным посетителям, я вдруг понял — это же грачевские мальчишки!

— Вы сами пришли или Анатолий Михайлович вас подослал?

Они переглянулись. Один ткнул в бок старшего и сказал:

— Понимаете, это собрание... или встречу мы организуем сами... секретно. И ничего не можем сейчас сказать...

— Ну раз секрет, пусть будет секрет. А что я должен буду делать на этой встрече?

— Отвечать на вопросы — и все. Доклада не надо.

Прежде, чем распрощаться, один из ребят открыл портфель и вытащил большой портрет Пепе. Никогда такой фотографии я не видел.

— Похож? — спросил мальчишка.

— Похож. Но это не лучшая фотография Петелина. Самый живой, самый удивительный портрет у Игоря висит над кроватью...

— Мы знаем... — сказал один из мальчишек и осекся.

— Ну ладно, ребята, ничего не рассказывайте и делайте все, как договорились — секретно. Мой совет, с Галиной Михайловной, женой Петра Максимовича, повидайтесь... — и тут же понял — у Гали они были.

На том и расстались.

До дня встречи оставалась неделя. Разумеется, я не стал предпринимать никаких усилий, чтобы проникнуть в мальчишеские секреты, — и времени не было, да и не хотелось разрушать очарование тайны, которому подвержены все — и мальчишки, и взрослые...

За эту неделю мне два раза два звонил Грачев, сообщил, что щенка они окрестили Керном, что Оля в полном восторге. О встрече и предстоящем разговоре Грачев не обмолвился. Я тоже не стал спрашивать. Говорил и с Галиной Михайловной. Она сказала, что дела Игоря идут на лад, кость срастается хорошо, пальцы двигаются почти нормально.

О предстоящей встрече в училище Галя тоже не сказала.

Дня за два до назначенного срока я заехал к Балыкову. Тема разговора была намечена давно, да все не находилось времени — то у меня, то у него. Застал Николая Михайловича в кабинете одного, в довольно мрачном состоянии духа и за странным занятием. На столе перед ним были разложены десятка два самодельных ножей-финок. Одни, выпиленные кое-как, выглядели скорее жалко, чем устрашающе, другие, отполированные, тщательно отделанные, с затейливыми наборными ручками, напротив, напоминали собой произведения искусства. Кстати, я обратил внимание, что ко всем ручкам приклеены маленькие бумажные ярлычки.

Мы поздоровались, и Николай Михайлович сказал угрюмо:

— Такой коллекции небось не видели?

— Что за ножи? — поинтересовался я, невольно любуясь одним, особенно тщательно отделанным, с резной черной ручкой.

— А вот одиннадцать лет, что я работаю в училище, отбираю у ребят. Просто патология! Не успевает пацан научиться пилу в руках держать, только-только услышит, что такое закалка, и на тебе — нож... Спрашиваешь, для чего тебе нож? Кого резать? Молчит. Потом это проходит, но на первых порах они как помешанные на оружии.

— По какому же поводу вы вытащили весь арсенал? Будет выставка? — спросил я.

— Нет, выставки не будет, и достал я ножи по грустному поводу... Видите, на ручках бирки? На них записано, чья работа, год изъятия... Некоторые из ножей я вернул тем, кто их сотворил... Например, не так давно чествовали одного молодого инженера; после всех речей, в которых его, можно сказать, по самые уши вымазали медом, я встал, протянул ножик и спросил: «Помнишь? Узнаешь?» И когда он признал, между прочим, сильно смутившись, я сказал: «Скажи при всех, Гриша, ты уже дорос до того, чтобы я мог со спокойной совестью отдать тебе эту игрушку?» Только не у каждой сказки хороший конец... — и Николай Михайлович протянул мне самый красивый, с черной резной ручкой нож.

— Превосходная работа, — сказал я, подержав нож в руках.

— Этот ножичек мне уже не вернуть хозяину. Сегодня вызвали на допрос. Лешка Крохалев, прошлогодний выпускник, — убит в пьяной драке. Вот вам и хорошая работа! Вызывали меня как свидетеля. Перед законом — свидетель, а перед совестью — кто?..

Понимая состояние Балыкова, видя его искреннюю, глубоко человеческую растерянность, я попытался как-то утешить, успокоить его. Он выслушал, не перебивая, и угрюмо произнес:

— Все правильно, и будь я на вашем месте, наверное бы, то же самое говорил. Только это — слова... а какая глупость на деле получается — ножик есть, человека нет!..

Мы поговорили еще немного, и я, не задавая вопросов, с которыми пришел, собрался уходить:

— Вот что, возьмите-ка этот ножик, положите на свой рабочий стол. Будете писать о нашем контингенте, поглядывайте на него. И не жалейте — ни учеников, ни нас, воспитателей. Понимаете, о чем я вас прошу, — чтобы без розовой краски, без умиления писали.

За свою жизнь я перебивал на стольких собраниях, заседаниях, встречах, обсуждениях — не сосчитать. А многие ли оставили след в душе?.. Увы... Может быть, потому, что массовые общения удивительно похожи друг на друга, словно поставлены

одним и тем же режиссером — холодным, лишенным фантазии, утратившим способность по-настоящему увлекаться.

Грачевские мальчишки оказались искренними постановщиками. И должно быть, поэтому встреча, посвященная памяти Пепе, прочно отпечаталась в памяти и взволновала.

В обычной учебной аудитории собралось с полсотни человек. Половина, пожалуй, даже чуть больше — ребята. Среди приглашенных я увидел Галю, Ирину, генерала Баракова, нескольких незнакомых офицеров-авиаторов, был и странного вида — рост под два метра, в плечах сажень, лицо молодое, борода разбойничья — человек, как я потом понял, скульптор, работавший памятник Пепе...

Гостей рассадили вперемешку с хозяевами. На видном месте висела та самая фотография Пепе, которую мне показывали ребята. Снимок они получили у лохматого скульптора.

Анатолий Михайлович расположился в последнем ряду и никакого видимого участия в происходившем не принимал.

Первым к собравшимся обратился рыжеватый, длинный, суетливый мальчишка. Он волновался, и начало речи никак не складывалось.

— От нашего мастера... то есть от Анатолия Михайловича мы... это, так сказать, недавно, значит, узнали про летчика-испытателя Петра Максимовича Петелина, Героя Советского Союза и все такое прочее... Но самое важное для нас, что он, когда еще не был летчиком, был слесарем... И тогда мы решили узнать как можно больше о его жизни... — Здесь мальчишка справился с волнением и стал говорить складнее и глаже. Собравшиеся узнали, что ребята разыскивали больше двадцати товарищей, знакомых, сослуживцев Пепе, съездили на завод, где Петр Максимович начинал, побывали в доме, где он жил мальчишкой, собрали кое-какие документы и воспоминания о нем.

— Чего мы хотим? — спросил не то у себя, не то у собравшихся рыжий парнишка и тут же ответил: — Мы хотим объявить соревнование за право называться группой имени Героя Советского Союза Петелина и еще собираемся устроить музей его памяти. Сегодня мы пригласили многих товарищей Петра Максимовича и просим рассказать о нем, ответить на вопросы.

На этом он передал слово Баракову.

Видимо, Федора Ивановича растрогала обстановка, растрогали ребята, он, и вообще-то выступавший мастерски, на этот раз превзошел самого себя: полчаса рассказывал, каким замечательным человеком и необыкновенным летчиком был Пепе.

Закончил Бараков несколько неожиданно:

— Вы, когда приглашали меня на встречу, ребята, столько тумана и секретности напустили, что я малость растерялся и никак не мог решить, что привезти с собой, кроме воспоминаний. Но я тоже хитрый. Так что — держите! — и он передал рыжему парнишке картонную коробку. — Там слайды. Шестьдесят четыре самолета, на которых летал Петр Максимович.

Разглядите слайды повнимательнее, и, я уверен, вы поймете, как далеко вперед шагнула наша авиация за последние годы и сколь велик личный вклад человека, начавшего летать на самолете По-2 — максимальная скорость сто с небольшим километров в час — и закончившего на реактивных истребителях, летающих вдвое быстрее скорости звука...

Потом ребята задавали вопросы.

Первой отвечала Галина Михайловна. Мне запомнилось, как деликатно интересовались ребята подробностями жизни Пепе. Один маленький хилого вида мальчонка спросил:

— А Петр Максимович был очень сильным? Большого роста?

— Роста он был среднего — сто семьдесят восемь сантиметров, — сказала Галя. — Он был очень сильным человеком, но самому Петру Максимовичу казалось, что силы, особенно в руках, не хватает, и он постоянно «накачивал» руки — отжимался раз десять в день, то упираясь в подоконник, то в перила балкона или в спинку стула.

— А он много ел? И что любил?

— Ел немного, особенно перед полетами. Любил соленые огурцы и обыкновенные котлеты...

— Если можно, скажите, пожалуйста, он часто сердился?

— Да, довольно часто... Больше всего из-за плохой работы. Любая плохая работа — плохо вымытые окна или кое-как отремонтированный автомобиль — его бесила... и еще он не переносил вранья.

Вопросы были удивительно непосредственные, совсем детские, и спрашивали ребята с подкупающей заинтересованностью. Галя так славно и так честно отвечала ребятам, что не приходится удивляться атмосфере полнейшего доверия и сердечности, что установилась в аудитории.

— Скажите, почему вы взялись делать памятник Петру Максимовичу, что навело вас на эту мысль? — спросили ребята скульптора.

— Смолоду я мечтал быть летчиком, но мечта эта осталась при мне. Подвел рост, забраковали на медкомиссии, сказали, что самолетов, в которых я бы мог свободно поместиться, не строят. Очень обидно было, но... Летчиком я не стал, но всю жизнь интересовался авиацией и вздыхал, видя самолеты. Сначала я получил заказ на памятник. И тогда начал собирать материал, думать. Вы видели в мастерской разные эскизы и пробы в глине. Постепенно возникала идея соединить образ человека с крыльями птицы... — так рассказывал скульптор.

Заслушавшись, я даже не заметил, как дошла очередь до меня:

— Вы летали с Петром Максимовичем на войне, скажите, пожалуйста, какая черта его характера проявилась тогда заметнее или сильнее всего?

— Честность, — сказал я.

— А храбрость?

— Храбрость тоже. Но честность — прежде всего. Я знал летчиков не менее храбрых и мужественных, чем он, но я не знал и не знаю человека честнее, чем мой командир капитан Петелин.

— Почему он стал испытателем?

— Один его начальник сказал: «Тебе всегда больше всех надо!» Сказал с осуждением. А Петру Максимовичу и на самом деле всегда надо было больше всех, не в плохом, в хорошем смысле слова.

— Как вы думаете, что он любил больше всего в жизни?

— Больше всего в жизни он любил летать.

— А что он делал на фронте, когда была нелетная погода или вообще свободное время?

Вопрос был неожиданным. Что он действительно делал, когда не летал? И я с удивлением вспомнил — Пепе постоянно что-нибудь пилил, полировал, резал. Чаще всего — силуэты самолетов; он их мастерил из медных снарядных гильз, и еще... ножи из лент-расчалок, снятых с разбитых самолетов...

— Чаще всего он слесарил, ребята. Он понимал толк в хорошей работе и за войну понаделал, наверное, сотни три самолетных силуэтов из медных гильз и не меньше сотни ножей из авиационных лент-расчалок. Петелинские ножи ценились не меньше трофейных, золлингеновских...

Казалось, вопросам не будет конца. Под занавес, ребята прочитали обязательства, выполнив которые, они должны были получить право называться группой имени Героя Советского Союза Петелина.

И тут во второй раз поднялась со своего места Галя:

— Дорогие ребята, прежде всего спасибо за тепло и интерес, которые вы проявили к Петру Максимовичу. Спасибо от меня, от нашей дочери Ирины, от сына, Игоря. Он сейчас в больнице и поэтому не присутствует. Только что я услышала ваше обязательство, и мне стало немного страшно — вы беретесь не получить ни одной тройки? Может, лишнего хватило?..

— Ничего...

— Вообще-то трудно!

— С тройками мы не стоим имени Петра Максимовича.

Шум не утихал довольно долго. Были голоса, склонные согласиться с Галей и малость снизить обязательства, но энтузиасты перекричали, и решение осталось: год закончить без троек.

— Если так, обещаю вам, славные мои мальчишки, сдержите слово — передам на вечное хранение в училище Золотую Звезду и все правительственные награды Петра Максимовича. Только держите слово...

Разошлись поздно.

— И все началось с того, — спросил я у Грачева, — что вы спросили в троллейбусе, кем он был раньше?

— Да.

Мне трудно определить, что изменилось в Игоре, но после больницы он определенно стал другим — исчезла настороженность в разговоре, мягче сделалось лицо, и слова утратили прежнюю резкость. О происшествии, что привело его в больницу, он говорить избегал, и на вопрос о самочувствии ответил с незлой иронией:

— Пожалуй, правильно, что за одного битого двух небитых дают...

Как определить мазок, что завершает полотно художника, рождая на мертвой ткани холста загадочную, живую улыбку женщины или зажигая трепещущим светом луч скрытого за лесом солнца, на одинокой вершине, гордой сосны; как узнать каплю, превращающую обыкновенную лужу в маленькое прохладное озерко; можно ли из потока слов выделить единственное, заставляющее вдруг дрогнуть чужое сердце, в миг переворачивающее судьбу человека? Мне не решить, что именно изменило Игоря — перенесенное унижение, где-то, в какую-то крошечную долю времени, достигшее предела? Или физическая боль, которую надо было скрывать — какой настоящий мужчина сдается боли? Или все было проще — человеческая мерзость, с которой он столкнулся лицом к лицу, заставила его отпрянуть и взглянуть на жизнь с новой точки зрения?.. Мне не решить этой задачи, с полной ответственностью я могу только утверждать: после больницы Игорь стал другим, незнакомым мне человеком.

— Домучаю восьмой класс, — сказал Игорь, — и ходу из школы.

— Учиться надоело, полагаешь, образования тебе хватит?

— Надоело. Надо жить.

Признаюсь, ответ мне понравился. И не только слова, прозвучавшие весьма внушительно, но и та жесткая интонация, с которой они были сказаны.

— Недавно мне Люся звонила, интересовалась твоим здоровьем, рассказывала о своей работе...

— По собственной инициативе сообщаете или Люся просила? — осведомился он, и в этих словах проглянул еще старый Игорь, но тут же, не дождавшись ответа, сказал: — Когда я лежал в больнице, газеты читал. Дома, чтобы каждый день, — не получалось. А там делать нечего — чигал. И подумал: взять бы нашу школу — ребят, учителей, всех, включая Беллу Борисовну и директора, и заставить дня три ничего не есть. Пусть бы почувствовали, что такое голод!.. Я пробовал — два дня только воду пил. Очень полезно! Тогда и начинаешь понимать, как живется людям где-нибудь в Анголе или в Танзании.

— О делах в училище слышал? — поинтересовался я.

— Слышал. Ребята приходили, звали в гости... Только как-то неудобно. Они придумали за звание соревноваться, чтобы имени отца быть, а я припрუსь как кто?

— Ты же наследник.

— Наследник чего — заводов, пароходов, капиталов?..

— Напрасно смеешься, ты наследник имени, Игорь.

— Если так рассуждать, не в гости к ребятам надо идти, а поступать в училище и вкалывать. Ребята зовут...

— И что же ты решил?

— Пока ничего. Страшно. А вдруг я не смогу, не будет получаться?

— С мамой говорил?

— Нет. Но она сама про училище рассказывала. Понравилось ей. Ирке — тоже. Я Вавасичу заикнулся, а он говорит: «Думай, это тебе не школа». В том смысле, что в школе к моим фокусам привыкли и вроде бы к имени отца не прикладывают, а там будут...

Мы помолчали. Косой солнечный луч незаметно заполз в окно и перечеркнул комнату ровным золотистым столбом света. Сразу сделались видны пылинки, бестолково толкавшиеся в освещенной полосе, будто хотели куда-то сбежать и не находили дороги.

— А как вы думаете, — спросил Игорь, — отец бы посоветовал в училище поступать?

— Едва ли он позволил бы тебе выкамаривать в школе, а против училища скорее всего не стал бы возражать... Хотя и не о том мечтал для тебя... Он хотел видеть своего сына летчиком, чтобы на аэродромах говорили: «Петелин выруливает, сын старика Петелина!..» Нет, прямого разговора об этом у нас не было, но я знал твоего отца...

В Доме кино я бываю редко. А тут пришел и столкнулся с Гришей Дубровским. Мы едва поздоровались, и он сказал:

— Умоляю! Ни слова о кино! Пойдем в буфет, поговорим за жизнь.

Он решительно затащил меня в глубину темноватого зальчика, проворно организовал все, что требуется в таком случае.

— Так как живешь? — поинтересовался Дубровский и, не дожидаясь ответа, сказал: — Если бы ты только знал, как мне все это надоело! Всю нашу контору надо разогнать! Пусть будет десять-двадцать мастерских, объединений, ателье... как назвать, неважно, важно, чтобы грызлись! Чтобы каждый день вопрос стоял: или ты вылезаете на экран и стрижете купоны славы и радостей, или я... ты напрасно улыбаешься. Посмотри, какие мы все стали толстые? — Он похлопал себя по отменно круглому пузу, хихикнул, что-то вспомнил и спросил: — Ту девочку на длинных ногах еще помнишь?

— Какую девочку?

— Интересно! Протеже свою... Или ты не сосватал мне девочки для массовок?

— Люсю имеешь в виду?

— Вот именно. Сделала карьеру. А как? На съемках произошла авария, и все из-за этого чертова брюха, я стал помогать

ребятам — поднимали какую-то дрянь — и лопнул по шву! Но как! От пояса и... до дальше некуда... Вся группа ржала, как эскадрон Первой Конной... И тут подошла эта на длинных ножках и сказала ангельским голосом: «Раздевайтесь, вы все равно уже вроде бы и без брюк...» И в пять минут сделала такой ремонт! Короче, на нее очередь. Все звездочки второй и третьей величины ее обхаживают и улещивают, а она шьет, перешивает и вообще...

— Ну а сам ты как живешь, если осреднить?..

— Делаем картину века — боевик, с погоней, стрельбой и черт знает чем еще. Публика должна визжать от восторга! Забот сверх головы... Есть одна болячка — нужен сверхводитель, гонщик суперлюкс класса для натуральных трюковых съемок. Девять человек предлагали свои услуги, одиннадцать приглашали мы... и все — не то!

— А что именно не подходит?

— Или не ездят, как нужно, или не смотрятся.

— Ваш супердрайвер должен и в кадре быть?

— Это предел мечты.

— А вы Гоги Цхакая пригласите. Красив... обаятелен... За рулем — бог!..

Дубровский заинтересовался Гоги и не давал мне покоя, пока я не снабдил его координатами Цхакая. На том мы и расстались, а через некоторое время Дубровский разыскал меня и объявил брюзгливо:

— Так вот, мы приняли твоё предложение, встретились с Цхакая. Ты прав — он отличный парень! Он пересмотрел все наши трюки и напридумывал кучу новых, но когда дошло до дела, стоп! Завод не отпускает. Он, видите ли, незаменимый... Словом, ты нас ужасно подвел. И теперь морально в ответе за создавшееся положение. Выручай!

— Ты хочешь, чтобы я снимался вместо Гоги?

— Гоги сказал, ты хорошо знаешь Карича. Это соответствует?

— Соответствует, но...

— Гоги сказал: «Все, что могу сделать на машине я, Карич может сделать в два раза лучше». Это соответствует?

— Цхакая лучше знает возможности Валерия Васильевича...

— Гоги сказал, что в силу причин, не подлежащих обсуждению, он обратиться к Каричу не может... Улавливаешь? Поэтому прибуксировать Карича к нам должен ты.

— Карич далеко не молод, он участник войны...

— Так мы не покажем его в кадре.

— Карич отошел от спорта...

— С каких пор работа в кино классифицируется как спорт? Никакого спорта. Честное трудовое соглашение! Хорошая оплата. Имя в титрах...

— Хорошо, я с ним поговорю, — чувствуя себя загнанным в угол, сказал я.

Карич выслушал меня без каких-либо заметных эмоций.

— А что за машина, на которой надо ездить? — спросил он, когда я изложил суть дела.

— Директор картины говорил, гоночная, но подробностей я не знаю.

— Интересно. Настоящей гоночной у них не должно быть. Все, что у нас создаются, проходят перед моими глазами. Я бы знал...

И тут мы как-то незаметно перескочили на другую тему: Валерий Васильевич стал рассказывать о делах Игоря. Насколько я понял, Карич незаметно, но настойчиво склонял его идти в училище. Валерий Васильевич свел знакомство с Грачевым, и тот произвел на него наилучшее впечатление.

— Основательный мужчина, — сказал Валерий Васильевич, — и что мне особенно по душе: прямой человек, со своим мнением.

Поговорили и о Галиных делах. Доктора настоятельно рекомендуют курорт, а она забрала в голову: пока Игоря к месту не определит, никуда не поедет.

— Можно подумать, Игорю пять лет. Ну, скажите — неужели его до самой пенсии опекать надо?

— Матери плохо понимают, что самостоятельность тоже воспитывает. Чем самостоятельность подлиннее, тем толку больше, — сказал я.

— Вот видите, мы не сговаривались, но я говорю точно то же самое.

Так мы и толковали о том, о сем еще с полчаса, наконец, когда подошло время расставаться, Валерий Васильевич сказал, будто только что вспомнил:

— Давайте-ка телефон и имя-отчество вашего кинопродюсера, позвоню, узнаю.

— Зацепило? — спросил я.

— Считайте, что зацепило... Только уговор: Гале вы раньше времени ничего не говорите, чтобы не волновать зря, вообще — раньше времени не наводить панику.

ЭКЗАМЕНЫ ОКОНЧЕНЫ И... ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сначала Галина Михайловна пропылесосила квартиру, потом долго и старательно натирала паркет. Взглянула на часы — времени было еще мало, ждать оставалось не меньше двух часов. Она присела на диван, отдышалась и стала думать, на что бы употребить эти два часа? «Самое разумное сходить в магазин, а вдруг все кончится раньше, и он вернется, а меня нет?!» — подумала она и сразу отказалась от мысли идти в магазин. Можно бы посидеть с книгой. Но она знала: до нее не дойдет сейчас ни одна связная мысль...

Вся жизнь Гали с далекой фронтовой поры была перепол-

нена ожиданием — она ждала на краю лесного аэродрома, вглядываясь в белесое северное небо, вслушиваясь в гуденье комаров, пока над горизонтом не появлялись тоненькие черточки и кто-то не кричал: «Летят!», и сразу доносился едва уловимый шум моторов, и она, вся сжавшись, считала: один, два, три... и не сразу до нее доходило — кого-то не хватает, и замарало, едва не останавливалось сердце — кого? Машины увеличивались в размерах, выпускали шасси, садились, и различимыми делались бортовые номера... И какое было счастье — дожидаться голубой семерки...

Потом не стало аэродрома перед глазами, утром он уходил на работу, вечером — возвращался... И никогда не было известно, летает он сегодня или не летает, вернется рано или задержится... В диспетчерскую она не звонила, не справлялась — он этого не терпел. И ждать стало труднее, чем на войне...

Когда он начал пилотировать тяжелые корабли и, случалось, по двое суток не появлялся дома, она думала: не выдержит... Однако выдержала... Только не уходила из дому, пока его не было. Случалось, он ругал ее:

— Ну а если я неделю проболтаюсь? Ты тоже будешь, как наседка на гнезде сидеть? Сходила бы с ребятами в кино, в гости...

Но она все равно оставалась дома до его возвращения.

Сегодня Галина Михайловна ждала Игоря и, хотя он был не в боевом и не в испытательном полетах, а всего лишь на школьном экзамене — волновалась. Экзамен был последним. От его исхода не зависела ни жизнь, ни здоровье сына, и все-таки... как это было нужно, чтобы все закончилось благополучно и он убедился — свидетельство дадут.

Зазвонил телефон:

— Ну что там, мама? Не приходил еще?

— Рано еще, Ирочка. Чего, я не понимаю, ты волнуешься? Сдаст.

— Интересно, а кто будет волноваться за этого чертова идиота, болвана набитого, если не я? Ты ж у нас железобетон...

— Ириша, ты из клиники говоришь, а ругаешься нехорошо.

— Но так положено — ругать, пока экзамен не кончится. И не я одна его ругаю, все стараются и все переживают.

Не успела Галина Михайловна отойти от телефона, раздался новый звонок.

— Ну как там ваш дурачок? Есть сведения?

— Кто это?

— Таня, вы меня не узнали, Галина Михайловна? Не волнуйтесь, пожалуйста. Вадька говорит, что Игорь знает все, как бог! Можно, я через часок еще позвоню?

Телефон на время успокоился, и Галина Михайловна подумала: «Ругаем, ругаем его, все ругаем, а душа болит. Значит, он все-таки ничего человечек. Чем-то привлекает к себе».

И тут появился Игорь.

— Все, ма! Трояк. Штыком и гранатой пробились ребята!

— Доволен?

— Не то слово! Я хожу босиком по седьмому небу...

Позвонила Ирина.

Позвонила Таня.

Позвонил Алексей.

И снова тренькнул аппарат — междугородная — и донесся еле слышный голос Карича: «Ну как?»

— Порядок. Ответил, — сказал Игорь.

— Я не слышу, но догадываюсь... да или нет?

— Да-да-да-да-да! — проорал в трубку Игорь с таким рвением, будто хотел, чтобы его услышали на луне...

Галина Михайловна кормила Игоря завтраком и обедом одновременно. Заглатывая мясо, макароны, хлеб, маринованные помидоры и кружки лука, он говорил возбужденно и бестолково:

— Когда-нибудь, когда я достигну... Например, буду бакалавром... Ма! Что такое бакалавр? Французский кандидат наук? Нет... когда я буду доктором философии, разработаю теорию ожидания. У меня Нинка, вот честное слово, седой волос вырвала. Думаешь, вру? Я убрал его в блокнот, вот сюда, — Игорь похлопал ладонью по карману. — Угадай, что я сделаю с ним?

— Ужас, сколько ты болтаешь, Игорь, подавишься!

— Не, я не подавлюсь. Но не суть. Скажи, что я сделаю с первым седым волосом, который лежит в этом кармане?

— Откуда мне знать, что тебе может взбрести в голову!

— Я наклею этот волос на полоску черной фотографической бумаги под стеклом и торжественно преподнесу, как бесценный сувенир, Белле Борисовне...

— Мне кажется, к Гарику ты был снисходительнее, — как бы вскользь сказала Галина Михайловна.

— Животных надо жалеть. Экология! Есть возражения? Нет. Констатирую: доводы его были неотразимы, логика звенела, как сталь! Здорово я научился высказываться? «Так выпьем за тех, кто командовал ротами и погибал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу...»

— Это не из твоего репертуара.

— Разве репертуар Вавасича охраняется законом?

— Ты уверен, что Валерию нравится, когда ты называешь его так?

— А что делать? Папой не могу. По имени и отчеству — не хочу. Товарищ Карич? Смешно. Между прочим, я у него спрашивал, и он сказал: как хочешь, так и зови.

К вечеру пошел дождь — мелкий и спорый. Ирина вышла из клиники и увидела — асфальт стал черным, блестящим, словно отлакированным, вокруг фонарей радужные круги; она почувствовала одуряющий, негородской запах молодой травы.

Постояла на крыльце, подумала: «Туфли новые. Жалко».

И тут же шагнула под дождь. Она не прошла и пяти шагов, как столкнулась с закутанной в плащ фигурой.

— Добрый вечер, — сказала фигура и щелкнула зонтом: — Прощу!

— Алешка? Что ты здесь делаешь? — обрадовалась Ирина.

— Встречаю.

— Кого?

— Главным образом тебя. Держи, — и он вытащил из-под накинутого на плечи, но не надетого в рукава плаща гвоздики.

— Ты с ума сошел.

— Почему? Классическая ситуация — репетитор младшего брата влюбляется в старшую сестру, делает предложение и оказывается отвергнутым по причинам: бедственного материального положения и сословных предрассудков — литература девятнадцатого века!..

— Алеша, я же старушка по нормам девятнадцатого века!

— Один мой приятель сказал бы: «Она бешено любила комплименты и умела подставлять себя под их сокрушительные удары», но я не такой галантерейный, опускаю двадцать четыре такта и приступаю к сути: в «Новый Арбат» хочешь? Сегодня я богат и независим!

— Ты серьезно решил за мной ухаживать?

— Это очень безнравственно?

— Нет. Но за мной надо не так ухаживать. Во-первых, перед тем, как звать в «заведение», надо предупредить: я же с работы — голова, как метелка, одета в расчете на халат... Во-вторых, сегодня день неподходящий...

— Что за день?

— Игорь закончил. Надо домой. Мама хотела отметить.

— Можно подумать, он защитил докторскую!.. Носитесь вы с ним... Подумаешь, событие — восемь классов одолел. Памятник ему! Ты не спеши мне глаза выцарапывать, я к твоему братику, то есть к нашему братику, совсем неплохо отношусь, и ты это знаешь. Зря вы вокруг него выплясываете. По опыту говорю — с тринадцати лет отец таскал меня в гараж, и я там будь здоров вкалывал... И никто не умилялся: такой шкет, а в карбюраторе разбирается... Только покрикивали: «Давай, Алеха!» И дома картошку чистил, полы мыл, по хозяйству с первого класса занимался... И что?

— Действительно, и что? — не без вредности спросила Ирина.

— И получился отличный, трудолюбивый, уравновешенный, выдержанный... прелесть, что за товарищ. И только крайне ограниченные эгоцентристы могут не оценить достоинств. Я кончил и передаю слово...

— Предлагаю: покупаем торт или что-нибудь в этом роде, берем такси и катим к нам. По дороге ты рассказываешь все, что не успел рассказать... Проводим тихий семейный вечер... Для начала...

— А целоваться будем?

— Целоваться? Валяй.

Ирина захлопнула зонтик, остановилась посреди Большой Пироговской и с вызовом уставилась на Алешу.

Редкие прохожие по-разному реагировали на странную пару, застывшую на мгновение под дождем — кто-то отвернулся, кто-то улыбнулся, кто-то прошипел злобно, а какая-то суевливая старушка громко, чтобы все слышали, хихикнула:

— Дождик к счастью.

— Однако! — переведя дух, тихо сказала Ирина. — Ты специалист! Теперь без глупостей! Едем к нам?

— Едем, — согласился Алеша, хотя ехать на семейное торжество ему совсем не хотелось.

В магазине, где они купили торт, конфеты, апельсинов, Алешу окликнул пожилой полковник в авиационных погонах:

— Простите, молодой человек, можно вас на минутку?

— Да, пожалуйста, — удивился Алеша.

— Конечно, это не мое дело, еще раз прошу прощения, но тут — зеркало, загляните. — Полковник сделал странное движение и пояснил: — Мужчине больше пристали шрамы, чем такая роспись...

И тут старый авиатор увидел Ирину. На какое-то мгновение лицо его сделалось напряженным, глаза сосредоточенными, взгляд изучающим, будто он что-то припоминал и не мог вспомнить.

— Слушайте, или я сошел с ума, или вы дочка Петелина?

— Петелина, — сказала Ирина, не слышавшая слов, сказанных перед этим.

— Такого поразительного сходства невозможно вообразить. — И, обернувшись к Алеше, старательно стиравшему помаду с лица, полковник сказал весело и громко: — Не мучайтесь! Если ваша девушка в отца, не ототрете! Поздравляю.

— Кого? — с вызовом спросила Ирина.

— Молодого человека, естественно, — сказал полковник.

— С чем? — спросил Алеша.

— С такой девушкой.

— Вы думаете, я подарок? — смеясь, спросила Ирина.

— Хочу верить. Я очень уважал и любил вашего отца...

Странно, когда мужчина говорит о другом мужчине — я его очень любил, еще удивительнее, когда это говорит незнакомый полковник. Ирина растерялась, и Алеша, бойкий, находчивый, что называется, палец в рот не клади, Алеша тоже растерялся.

— Желаю счастья! — полковник козырнул и пошел своей дорогой.

Они постояли немного, потом Ирина сказала:

— Неловко получилось, и фамилии не спросили... Может, мама знает?

— А может, так даже лучше? — сказал Алеша.

— Чем же лучше?

- Приговорил меня к тебе и ушел. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит?..
- Шальной ты, Алешка, с завихрением.
- Может быть, я последний романтик на этой грешной земле... Упустишь, другого не найдешь...

Дома никого не было, Игорь слонялся из угла в угол, впервые за много дней можно было ничего не делать.

Он притащил высокую табуретку в коридор, подставил ее под антресолями, примерился, убедился, что с табуретки до антреселей ему не добраться, притащил вторую — и возвел целое сооружение: табуретка плюс табуретка. Осторожно балансируя, поднялся на сотворенную высоту, открыл дверки и стал копать в имуществе, сложенном на антресолях. Чтобы добраться до нужного чемодана, пришлось спустить на пол две картонные коробки, рюкзак и кое-какую мелочь. Когда эта работа была исполнена и чемодан обнаружился, Игорь понял, что даже с двух табуреток до него не дотянуться. Примерился, попытался достать чемодан щеткой, не добился толку, вцепился в край антреселей, подпрыгнул и отжался на руках. Табуретки с грохотом полетели на пол, а сам он повис на краю антреселей: руки, голова, плечи — внутри, остальное — наружи...

Вернувшаяся в это время Галина Михайловна с трудом отворила дверь, припертую коробками, рюкзаком, двумя табуретками, и увидела болтающиеся ноги Игоря.

- Что такое? — почти вскрикнула она.
- Ничего. Вишу... — глухо отозвался Игорь.
- А что ты там делаешь?
- Лучше подпихни меня, поговорим потом...

Галина Михайловна поспешно опустила сумку на пол, и стоило ей только прикоснуться к ноге Игоря, как он стал уползать вверх и исчез в антресолях. Какое-то время он пыхтел и тяжело ворочался, в конце концов из дверок выполз сначала чемодан, аккуратно обвязанный парашютным стропом, потом появилась голова Игоря. Он был красный, перепачканный пылью. Галина Михайловна хотела подхватить чемодан, но Игорь рывкнул страшным голосом.

- Отойди! Тяжелый! — и грохнул чемодан вниз.

Когда он и сам оказался на полу, Галина Михайловна спросила:

- Теперь ты можешь объяснить, чего тебе там надо?
- Куртку.
- Она же тебе велика и такая ободранная, что ее невозможно надеть. Новая была на отце...

Он аккуратно прибрал в коридоре, протер влажной тряпкой пыльный чемодан и унес его к себе в комнату.

Куртка лежала сверху, на планшетах, на кобуре, на летном, вылинявшем комбинезоне и каком-то еще потрепанном тряпье.

Куртка была вытертая на плечах и на груди. Игорь надел ее и обнаружил — рукава в самый раз, плечи, правда, широковаты... Он пошел в коридор поглядеться в зеркало и столкнулся с матерью.

— Нормально, в плечах я маловат... А так — вполне...

Галина Михайловна смотрела на сына и не могла слова выговорить. Конечно, она и раньше знала и ей постоянно напоминали об этом, что дети похожи на отца, но сейчас в слабо освещенном коридоре она вдруг увидела не Игоря, а Пепе, таким или почти таким он был на фронте — худой, долговязый, все летные куртки были ему широковаты.

— Так как, мам?

— Ты собираешься ходить в таком виде по улице?

— Самое то! Кожанка должна быть обтертая. Ребята по джинсам кирпичом шаркают... кожаные заплатки нашивают.

— Я понимаю, Игорек, у каждого времени свои моды. И воевать против широких или узких штанов мне кажется нелепым. Мне только неприятно, когда длинные волосы бывают невымытыми, когда люди щеголяют неряшливостью. Пусть будет любая мода, но не отменяйте мыло и зубную щетку!

— Усёк категорически: да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, как дальше я забыл, но, наверное, что-нибудь в таком роде: плюс зубной порошок, голубой гребешок и красивый, пузатый, трехлитровый горшок!..

— Балбес ты все-таки, Игорь, с тобой совершенно невозможно серьезно разговаривать.

— Почему? Можно. Ты говори и не обращай на меня внимания. Сегодня я просто глупею от радости, но я запоминаю все. Мне больше не надо ходить в эту школу! Ты говори, говори, мама.

— Собственно, я уже все сказала, основное.

— Значит, ты не возражаешь, чтобы я принял на вооружение эту робу?

— Носи. Только все-таки не забывай — не кирпичом кожа стерта, парашютными лямками, о кабины изодрана.

Было тепло и солнечно. Сам того не замечая, Игорь прошел сквозь всю улицу Жуковского, свернул в проезд Талалихина и оказался на улице Петелина. Отсюда до сквера и памятника отцу оставалось два шага.

Игорь не был здесь со дня торжественного открытия, когда сам перерезал ленту. Сегодня сквер выглядел совсем буднично. Какие-то незнакомые старушки гуляли с малышами, женщина вела на тоненьком поводке собаку.

Игорь присел на свободной лавочке, поглядел на памятник. И странно ему показалось, будто камень этот, и застывшие в неровном изломе крылья птицы, и такой знакомый профиль отца — все это было здесь всегда, еще до того, как родился он,

Игорь. Ощущение нелепое, он понимал это и не мог от него отделаться.

На скамейку рядом с Игорем опустилась старая женщина в поношенном темно-синем костюме, когда-то именовавшемся костюмом английского покроя. Этого Игорь не знал и обратил внимание на другое: к широкому лацкану жакета был привернут значок мастера парашютного спорта, с потемневшей от времени подвеской — «500». Подумал: «Oго! 500 прыжков. Сильна бабуса...»

Женщина закурила дешевую сигарету. Поглядела на памятник, на Игоря. Ему показалось, что сейчас старушка заговорит с ним. Говорить не хотелось. Он встал и пошел к выходу.

В конце пешеходной дорожки обернулся. Женщина смотрела ему вслед. Сам не зная зачем, он помахал старушке рукой. И та помахала в ответ, а потом сжала в кулачок правую руку и оттопырила большой палец вверх. Игорь не был авиатором, но понял: все в порядке, — означает на языке всех старых летчиков мира торчащий вверх большой палец правой руки.

Когда в группе что-нибудь затевалось, Грачев, нет, не знал — знать он не мог — но чувствовал это заранее. Анатолий Михайлович и сам не умел объяснить, по каким внешним признакам, оттенкам поведения, интонациям ребят он ощущал приближение этого «чего-нибудь», но так было.

В это утро, стоило ему войти в мастерскую, поздороваться, дать указания на день, мельком взглянуть в мальчишеские глаза, как он ощутил знакомое ожидание.

Надо заметить особо: ощущение это бывало разным — в одних случаях беспокойным, и тогда надо было особенно тщательно следить за соблюдением техники безопасности, остерегаться какой-нибудь рискованной выходки; в других случаях приподнятым, и тогда можно было особо не волноваться. На этот раз ничего плохого он не ожидал.

До перерыва все шло обычно, все делали свое дело, он подходил то к одним тискам, то к другим, тихим ровным голосом делал замечания, которые почти всегда звучали в форме вопроса:

— А не лучше будет, Леша, сначала засверлить все отверстия?

— Может, не надо так глубоко опиливать? Тише едешь...

И все в этих вопросах было значительным — и содержание, и тон, и уважительное обращение...

В перерыв к Грачеву подошли человек пять, и Юсупов спросил:

— Анатолий Михайлович, а что вы думаете, Петелин пойдет к нам в училище?

— Ничего я про это не думаю. Если кому думать, то ему...

— Мы ездили к ним, Галина Михайловна для музея кое-что

дала, с ним говорили: приходи! Он вроде хочет, но как-то... не твердо.

— А чего вы так беспокоитесь? — спросил Грачев.

— Мы не беспокоимся, мы только думали, может, подманить его?..

— Как, как — подманить? — удивился Грачев.

— А ребята предлагают: давайте набор слесарный сделаем, в красивый ящик сложим и сочиним какую-нибудь надпись поинтереснее: сыну летчика-испытателя, Героя Советского Союза и так далее...

«Вот оно», — подумал Анатолий Михайлович и внимательно взглянул в мальчишеские лица, у половины не было отцов или были такие, что ими не загордишься, и понял — разговор надо провести на самой деликатной ноте.

— Чкалова знаете? — спросил Грачев, глядя в синее-синее небо.

Такого вопроса ребята не ожидали и ответили не сразу.

— Был такой знаменитый летчик...

— Герой Советского Союза...

— Челюскинцев спасал...

— Челюскинцев Валерий Павлович, положим, не спасал, — сказал Грачев, — но на Север летал и в Америку трассу проложил первым. Он был замечательным испытателем и очень знаменитым в свое время человеком... И вот какую историю я вам расскажу.

Перед новым, тридцать восьмым годом в квартиру Валерия Павловича пришла особенно большая почта. Он сидел за столом и вскрывал письма. Поздравления были от частных лиц, от предприятий, от школ, от детских садов... Чкалов был тогда, пожалуй, самым популярным человеком в стране, и удивляться тут нечему. Вдруг видит конверт: «товарищу Игорю Чкалову». Открыл — приглашение на елку. Приглашали сына Валерия Павловича, он тогда совсем еще шкетом был... Потом второе приглашение попало, третье и так набралась целая куча. Валерий Павлович позвал сына и говорит:

— Вот тут пригласительные билеты прислали, товарищ Игорь...

— Знаю, — отвечает сын, — у меня вон их сколько! — и вытаскивает из кармана целую пачку.

Чкалов нахмурился, велел положить билеты на стол и сказал:

— Запомни: Чкалов — я, а ты только — И. Поэтому бери один билет, и не очень зазнавайся.

Остальные пригласительные билеты Валерий Павлович раздал соседским ребятам. Вот так. Все. — И Анатолий Михайлович вышел из мастерской.

Ребята переглянулись, и кто-то сказал:

— Кажется, не в дугу...

— Интересно, а он — тоже Игорь.

— А гаечный ключ я бы все-таки подарил!
— И не лично Игорю, а в дом...
— Тогда знаете какой надо ключ: сто двадцать на сто пятьдесят, чтобы на стенку повесить как... сувенир...

Вечером ребята сказали Анатолию Михайловичу, что его предложение они принимают «наполовину», и рассказали о сувенирном, символическом ключе.

— А я при чем? — притворно удивился Грачев. — Разве я вам что-нибудь советовал?

— Хитрый вы человек, мастер, жуткое дело! — сказал Юсупов.

Грачев не обиделся и не стал развивать тему. Умение влиять на ребят исподволь, не навязывая своего мнения, готового решения он вовсе не считал хитростью или каким-либо искусственным педагогическим приемом — для мастера Грачева это было незаметной составляющей профессионального умения управлять людьми. Разве человек замечает, сколько вдохов и выдохов он совершает в минуту?

Галина Михайловна приготовила выходной костюм Игоря — отутюжила брюки, прошлась щеткой по пиджаку, достала свежую рубашку, водрузила все это на плечики и вошла в комнату ребят.

— Вот, держи — весь парад! Если галстук наденешь, давай поглажу, пока утюг теплый.

— Спасибо, — сказал Игорь, — только ты зря... беспокоилась. Не пойду я на этот вечер.

— Почему?

— Неохота торчать и все снова слушать.

— Напрасно, Игорь. Хорошие или плохие у тебя сложились отношения в школе, не так важно, ты перед школой тоже виноват...

— Вот и не хочу выяснять отношений...

— Школа — коллектив, Игорь, и не дело противопоставлять себя коллективу. Неужели ты не понимаешь — уважать коллектив надо. Что ты докажешь, не явившись на вечер? Кому?

— Докажу? А я и не собираюсь ничего доказывать... Ты думаешь, кто-нибудь заметит, что меня нет? А приду — начнут подковыривать: с твоими способностями, да при желании мог бы «хорошистом» стать. Нет, не пойду.

— Дело твое, но я не одобряю.

Позже Галина Михайловна возобновила этот разговор в присутствии Карича. Однако Валерий Васильевич от высказываний воздерживался до тех пор, пока Игорь не спросил напрямую:

— Скажи, Вавасич, а ты бы на моем месте пошел?

— На твоём — не знаю.

— А на своем?

— На своем? Не пошел бы, но это было бы неправильно.

— Вот видишь, мам, Вавасич тоже не пошел бы...

— Но он признает, что это было бы неправильно...

— Ладно — я тоже признаю: неправильно, но не пойду.

Игорь пошел в школу только на другой день, после обеда. И, конечно, не в парадном костюме, а в отцовской кожаной куртке и поношенных брюках, отдаленно напоминавших настоящие джинсы.

В школе было пустынно и непривычно тихо. Только неистребимый запах сырого мела напоминал, что это тихое, просвеченное солнечными лучами здание — школа. Игорь зашел в канцелярию, поздоровался с пожилой женщиной-делопроизводителем и, радуясь, что не встретил никого из педагогов, сказал:

— Мне бы свидетельство получить. — И, встретив недоумевающий взгляд, пояснил: — Петелин я, вчера меня не было...

Наконец женщина поняла, о чем он просит:

— Восьмой закончил? Свидетельство у Беллы Борисовны. Зайди к ней.

Идти к завучу Игорю не хотелось, но, с другой стороны, — он так мечтал навсегда покончить со школой, что решил пойти. Игорь поднялся на второй этаж и постучал в дверь.

— Пришел, — сказала Белла Борисовна, — вчера не выбрал времени, но сегодня изволил?

— Вчера я не хотел портить вам настроение. Сегодня праздник кончился... Хочу получить причитающееся...

— Что именно ты считаешь «причитающимся»?

— Бумажку об окончании.

— И все? А поговорить на прощание тебе не хочется? Бы-сказать что ты думаешь о школе, не хочется?

— Нет.

— Странно, — будто рассуждая вслух, произнесла Белла Борисовна, — почти все выдающиеся люди, вспоминая свою жизнь, находили хотя бы несколько добрых слов в адрес учителей и воспитателей. Толстой, Пушкин, академик Крылов или Юрий Гагарин... Неужели ты не испытываешь никакого чувства благодарности ни к кому из нас?

— Если вы очень хотите, я попробую ответить, но стоит ли?

— Отчего ж. Мы тоже люди и как все живые существа на свете совершаем ошибки, и нам совсем не безразлично, как к нам относятся те, кому мы добровольно отдаем себя на растерзание.

— Может быть, мы относимся к учителям не так хорошо, как великие люди, потому, что мы не великие. Это — один вариант. А другой... Может быть, великим больше везло на учителей, чем нам?

Белла Борисовна сделала усилие, чтобы не вспыхнуть, и, подбирая слово к слову, сказала:

— Хочу верить, Петелин, что наивного простодушия в тебе больше, чем нахальства. Поэтому не обижаюсь. Вот твое сви-

детельство. Желаю, чтобы в дальнейшем все у тебя сложилось лучше, и пусть тебе повезет на учителей...

Какую-то часть речи он пропустил, она это заметила и, повысив голос, сказала:

— Мне все-таки хочется верить, что с годами ты не просто изменишься к лучшему, а станешь жить более глубокой духовной жизнью и научишься отличать не только черное от белого, но и ценить все оттенки богатейшей палитры человеческих отношений.

Игорь принял из рук завуча свидетельство об окончании восьми классов, выдержал ее вопросительный взгляд — а взгляд этот красноречиво говорил: ну, хоть одно слово благодарности, хоть простое спасибо скажи, — молча повернулся и пошел к двери. На пороге, словно споткнувшись, он остановился и, сам не понимая, на что обиделся, сказал:

— Вот вы напоследок объяснили, какой я примитивный — с трудом черное от белого отличаю. Допустим, вы правы. По-вашему, я — нахал. Я нахал — за правду, а не за вранье. Вы от меня спасибо хотите? Я, конечно, могу не хуже Райки Бабуровой толкнуть речь: «Дорогие учителя! Расставаясь со школой, мы хотим от всей души поблагодарить вас за все-все, что вы нам дали... Мы понимаем, как трудно с нами, сколько неприятностей мы вам доставили за минувшие годы... И мы обещаем всю жизнь помнить нашу школу и вас, наши дорогие воспитатели...» Нравится?

— К сожалению, ты умный и нахал и циник, Петелин. Можешь не продолжать, — сказала Белла Борисовна и горестно покачала головой.

Последних слов Беллы Борисовны Игорь не слышал, хлопнув дверью, он выскочил на улицу. Он шел, наступая на причудливые тени деревьев, перечеркнувших тротуар, и, постепенно успокаиваясь, думал: «Наверное, зря я... А вообще-то все равно. Пусты!»

ВЫСОКО — НЕ НИЗКО, ДАЛЕКО — НЕ БЛИЗКО...

В середине августа я очутился в горах, в местах заброшенных, диких, далеких от туристических маршрутов и альпинистских троп. Здесь под самыми облаками жили метеорологи. Год за годом, день за днем вели они наблюдения за погодой и передавали по радию сведения о давлении, влажности воздуха, направлении и силе ветра, состоянии и характере облаков... Это был незаметный и необходимый труд.

Возможность побывать в горах, пожить на высоте и собственными глазами увидеть, как «делается» погода, открылась внезапно, и я, не задумываясь, принял предложение поехать в горы.

Нигде и никогда прежде я не видел таких праздничных восходов, как здесь — на высоте трех с половиной тысяч метров;

нигде и никогда я не дышал таким прозрачным воздухом; нигде и никогда не наблюдал столь дружной, спокойно-деловитой обстановки. Внизу был один мир, здесь — совершенно иной... К новой жизни надо было привыкнуть, и удалось это не сразу. Отправляясь в дорогу, можно ограничить свой багаж, но как избавиться от мыслей, вчера еще владевших тобой? Вот так взять и выскочить из круговорота событий не в твоей власти.

Поэтому, удалившись от земли и приблизясь на три с половиной тысячи метров к солнцу, я все еще как бы участвовал в жизни Игоря Петелина — решится он или не решится поступить под начало Балыкова? Думал об Анатолии Михайловиче — за время нашего знакомства я прикипел душой к этому славному человеку. Пытался представить себе, что делает Белла Борисовна — женщина добрых намерений, не рожденная руководить людьми. Вновь и вновь вспоминал Карича — его жизнь давно уже была мне не безразлична, мне симпатичны люди с твердыми убеждениями. Мне недоставало моей взбалмошной Таньки, дочка не только доставляет своему отцу хлопоты и переживания, но еще заражает меня избытком жизненной энергии...

Словом, на акклиматизацию, и, если можно так сказать, отвлечение от всего земного потребовалось время. И болезнь одного из наблюдателей, эвакуированного на вертолете, заметно ускорила этот процесс — я принял на себя часть забот временно выбывшего из строя товарища: записывал показания приборов, таскал воду из горного ручейка, что был метрах в ста от нашего домика, отважился попробовать свои силы в кулинарном искусстве — на станции не было штатного повара, и эти обязанности по очереди исполняли все.

А потом случилось непредвиденное — разбушевавшийся горный поток, снес единственный мост на единственной связывающей дороге, и возможность спуститься с гор отодвинулась для нас на неопределенное время...

Незаметно минул сентябрь. На вершинах выпал ранний снег. Похолодало. По утрам трава покрывалась льдистым беловатым налетом. Все чаще исчезали в темных клубящихся облаках вершины. Выходя ночью на площадку, где в решетчатых шкафчиках жили наши приборы, приходилось натягивать меховую куртку: ветер пробирал до костей...

В октябре прошел обвальный снегопад. Двое суток мы авралили, откапывая домик, площадку, подсобные помещения. Добывать воду в эти дни стало чистым мучением — до ручья не добраться, а чтобы натаять снега на всю ораву, приходилось трудиться пять часов...

Но сведения о погоде все равно уходили вовремя.

В ноябре на точку прилетел вертолет, привез аварийное питание для рации, баллоны с газом, продукты и почту. А вот замены эвакуированному наблюдателю не было.

Вертолетчики отчаянно торопились: погода портилась.

Выгрузили баллоны, загрузили аккумуляторы, оставались только ящики с продуктами... Взмыленный начальник метеостанции сказал:

— Если летишь, собирайся, ребята ждать не будут. Вертолет улетел. Я остался...

Когда-то, теперь уже черт знает как давно, я спросил у одного человека, какая, на его взгляд, работа может считаться хорошей, а какая — плохой? Мне было тогда лет четырнадцать и я учился в школе, ему — сорок, и он служил механиком.

— Хорошая работа, — сказал он, — должна приносить пользу людям и доставлять тебе удовольствие. А если ты идешь на службу, не испытывая нетерпения и радости, тогда плохо... и тебе и работе.

Я очень уважал этого человека, всегда с удивлением смотрел на его большие, огрубевшие на ветру и морозе руки; эти руки умели все на свете — слесарить, колоть дрова, монтировать электропроводку, перетягивать матрацы, починить примус... словом, решительно все. Мне очень хотелось спросить: вот вы зимой и летом, в мороз и непогоду, готовите в полет самолеты, стараетесь, переживаете, а улетают другие. И в газетах пишут не о вас, а о тех, кто устанавливает мировые рекорды... Неужели не обидно? Мне очень хотелось спросить его об этом, но я не решался.

Он сам помог мне, неожиданно стал рассказывать о Чкалове, чья звезда в те годы только еще восходила. Рассказывал восторженно, не скупясь на похвалы и превосходные степени. Тут я и отважился сказать:

— Чкалов, говорите, замечательнейший испытатель, бог... А вы?

— Что я? Я механик. И не последний. Бриться не стыдно...

— А при чем тут бритве? — не понял я.

— Когда бреешься, глаза свои видишь... Если отвернуться не хочется, если смотреть в них не совестно, значит, все в порядке!

Тогда по молодости лет я не мог понять — никто не приходит в этот мир «обреченным» на славу... Люди живут, трудятся, испытывают радости и огорчения, достигают чего-то, идут дальше... Все остальное — производное от честного труда: сложатся условия, и рядовой строитель достигает потолка Анны Егоровны Пресняковой; мальчонка-слесаришка превращается в нового Петра Максимовича Петелина или в Валерия Павловича Чкалова... Успех запрограммировать невозможно, можно только проложить правильный курс. И эта задача — реальная для любого человека...

Горы имеют замечательное свойство — они вселяют в тебя спокойную уверенность, наводят порядок в мыслях, помогают сосредоточиться. В начале декабря я начал скучать по Москве.

Москва представлялась мне в зимних одеждах. С высоты Ленинских гор сквозь редкий снегопад прорисовались чуть размытые кварталы города, причудливо соединившие в себе аскетическую геометрию новых зданий с кафедральной величиностью высотных домов, затейливые купола церквей и лаконичные очертания мостов... Где-то вдаль, едва различимый сквозь снежный занавес, видится Кремль.

Скоро Новый год. Успею вернуться к праздникам или не успею? Пока ничего нельзя сказать. Но что мне мешает заранее придумать новогодние пожелания близким? Здоровья желают все всем и всегда желают — так уж повелось. Гале я бы хотел написать такое пожелание самыми большими буквами, не из приличия, ей ведь действительно не хватает здоровья, а ее доброе сердце так устало... Галя не жалуется, спросишь — улыбнется, но я вижу, как припухают у нее глаза, как трудно она дышит, поднявшись на второй этаж, как прикусывает губу, застывает и прислушивается... Здоровья тебе, Галочка, спокойной уверенности за ребят... счастья!

Едва ли Карич ждет от меня каких-нибудь особенно возвышенных слов, не в его характере. Пожалуй, Валерию Васильевичу я пожелаю быть всегда таким, каков он есть, — сильнее обстоятельств и выше всех мелочей жизни.

А вот Игорю надо будет сказать: в стародавние еще времена авнация выработала правило — приняв однажды решение, даже худшее из возможных, не изменяй его. Запомни и без колебаний следуй этой мудрости! Пусть подумает и поймет — как бы путано ни складывалась человеческая жизнь, нет ничего хуже бестолковых метаний, брошенного на полпути дела, незавершенной работы.

Анатолию Михайловичу я пожелаю, чтобы его оглоедики всю дорогу помнили своего мастера и до старости считали и чувствовали себя грачатами!

Ветер ровный и сильный. Холодно, небо такое синее, будто за ночь его заново покрасили, не пожалев ультрамариновой эмали.

Таскаю воду, стряпаю, прибираюсь на складе, составляю заявку на продукты, которые нам должен подбросить вертолет, и думаю о друзьях, что живут там, внизу. Представляю, как, надев очки, склоняется над столом Анна Егоровна Преснякова и, страдая от того, что слова не хотят складываться в гладкие предложения, пишет новогодние приветствия.

Как-то Анна Егоровна сказала:

— Вот плиточку к плиточке с одного захода уложить, так что самой приятно, могу, а пишу — маюсь, все кажется не так... — И лицо у нее сделалось смущенным, даже растерянным.

Могу вообразить, как озабочен в эти предпраздничные дни Балыков, как он аккуратно записывает на длинном узком листке: Самодеятельность. Итоги соревнования. Стенд отличников. Приветствие шефам. Вечер. Экскурсия на МЗМА. Потом зво-

нит, договаривается, согласовывает и педантично вычеркивает из своего талмуда исполненное.

Видно, я все-таки здорово соскучился по Москве, если так откровенно, так зримо представляю себе друзей...

Подходит начальник метеостанции, потирает красные, будто ошпаренные руки, говорит:

— Собирайся! Радиogramма пришла — вертолет идет к нам. Полетит обратно, заберет тебя. Жалко, но надо совесть знать...

И вот я дома. Первое общение — с Таней. Рассказываю о горах, о работе с метеорологами, о путевых впечатлениях. Слушаю Таню. Спрашиваю:

— Что у Петелиных слышно?

— Никаких особенных новостей. Игорь без конца рассказывает об училище, о ребятах и мастерах. Он вроде повыше ростом стал. Самоутверждается!

— Как Галина Михайловна себя чувствует?

— Хорошо. Вернулась в свою лабораторию и объясняет: с тех пор как я при деле, сердце не болит.

— А Карич?

— Был момент — кот пробежал, но сейчас вроде порядок.

— Не понимаю, что значит кот?

— Да месяца три он пропадал ночами...

— Кто пропадал?

— Ну и бестолковый ты! Карич твой любимый пропадал. Говорил, что испытывает какую-то технику, являлся в три утра, измочаленный и еле живой. Какую жену обрадуют такие «испытания»? Ну и пробежала между ним и Галиной Михайловной кошечка.

— Кот и кошечка — не одно и то же. И откуда ты все это знаешь?

— Ирина рассказывала и Игорь. Не слепые они. Странно, что Игорь горой за Карича!..

На другой день я позвонил Анне Егоровне. Помня о ее сувенире — гусином пере с шариковой вставкой, я привез в подарок Анне Егоровне шикарные фотографии горных вершин... Разговор, однако, получился невеселый. После первого обмена приветствиями я почувствовал что-то не в порядке и спросил:

— Не нравится мне ваш голос, Анна Егоровна, что случилось?

— Пока не случилось, но случится.

— О чем вы?

— Говорят, пора на пенсию... Только не надо утешительных слов. Все идет, как должно идти. Подошло время — гуляй! Да вот беда — работать умею, а отдыхать не научилась. Приезжайте, поговорим...

В тот же вечер заехал ко мне Грачев и с ходу окунул в дела училища. По его словам выходило, все течет и ничего не меняется: Балыков вздрагивает при каждом телефонном звонке, Гриша Андреади скандалит с завучем, только оглоедики не портят кровь...

— Вот, честное слово, другой раз думаю — уйду...

— Куда? — спрашиваю я.

— Да что, в Москве одно училище металлистов?

— А ты уверен, что с другим Балыковым поладишь лучше?

— То-то и оно — не уверен. Ты не улыбайся: я намек понял — Балыков хорош, и я не сахар! Так?

— Но ведь правда — не сахар...

— А если я стану тихим-тихим и обтекаемым, как огурец, кому будет польза?

— Не надо тебе быть другим и уходить не надо. Воюешь — воюй. Да Балыков тебя и не отпустит.

— Это точно, хотя он и не может слышать, когда моих оглоедиков называют грачатами.

— Думаешь, завидует? Или жалеет, что балычата — не звучит!

Анатолий Михайлович улыбается. «Балычата» ему понравились. И мы еще долго толкуем о делах, о рыбалке, о жизни; спрашиваю, как Игорь?

— Притерся. Руки хорошие. Раньше говорили — божьей милостью мастер. Дурь помаленьку выпаривается. Повезло ему. Коновницын кого хочешь человеком сделает!

Постепенно московская жизнь входит в обычную колею — работа, встречи, вечный дефицит времени. И только недели через две удастся повидать Игоря. Он рассказывает:

— Тут недавно по телевизору чудака одного показывали, даже не чудака — изобретателя. Берет детские воздушные шарики, вставляет оболочку в оболочку — пять штук. Представляет? Накачивает — и получается поплавок. Прочность — жуткая! Толстый дядька на этой штуке, задрал ноги, сидел и хоть бы что! Вот на этих поплавках он спускается по горным рекам. Не верхом, ясно, а собирает плот — и пошел! Я подсчитал, если взять двадцать шариков диаметром в полметра, получится четыре поплавок и каждый поднимет шестьдесят два с половиной килограмма. По формуле одна шестая «пи» «дэ» куб получается. А плот потянет четверть тонны. Здорово?

— Здорово, только не улавливаю, для чего тебе плот?

— Как для чего? Ставим палатку и поехали! Можно по Оке, по Волге — до Сталинграда или до Астрахани.

— Это мечта или план?

— Мы с ребятами решили на каникулах махнуть...

Игорь еще долго и увлеченно рассказывает о будущем походе, и я замечаю — все обдуманно, подсчитано, поставлено

на деловую ногу. Так в разговоре проходит с полчаса. Спрашиваю:

— В училище какие дела? Нравится? Не жалеешь?

— Нет, не жалею.

— Чего так сдержанно, без восторга?

— Работать — не болтать, — говорит Игорь, и я понимаю — слова не его, скорее — мастера Коновницына.

И о домашних делах Игорь рассказывает сдержанно. Все, мол, в порядке. Вавасич работает, мать — тоже очень довольна, Ирина морочит голову Алешке, так что ему, Игорю, даже непонятно, «чего она тянет, или шла бы замуж, или не держала бы Алешку на строгом ошейнике».

— А как твой друг Гарька? — спрашиваю я.

— Постигает науку! Мамаша на весь двор объявила: «Мы готовимся в МИМО!»

Игорь поворачивается ко мне в профиль и, как всегда, — стоит ему задуматься, наморщить лоб — делается невозможно похож на отца. И я вспоминаю эпизод тридцатилетней давности.

Последние дни войны. Аэродром Штаргардт. Развороченные окрестности небольшого городка. Получен приказ — отправиться в тыл и перегнать с завода партию новых истребителей. Странное раздвоение: не хочется улетать от последних боев и до смерти охота получить новые машины.

Ранним утром собираемся у потрепанного Ли-2. Нас двенадцать летчиков — штатная эскадрилья. Залезаем в гулкий фюзеляж, рассаживаемся на жестких дюралевых лавочках, ждем.

Проходит пятнадцать, двадцать минут, экипаж не запускает двигателей. Пепе идет к командиру корабля.

— Чего сидим?

— По радио приказали обождать пассажира.

Наконец он появляется, этот пассажир. Тучный, немолодой, в кожаном реглане без погон, в форменной авиационной фуражке. Грузно поднимается по лесенке, по-хозяйски оглядывает самолет. Два солдата вносят объемистые чемоданы — штук шесть и небрежно упакованный сверток — ковер. Это — трофей.

— Здравствуйте, товарищи! — говорит пассажир.

Мы нестройно отвечаем. Пауза. И на весь самолет голос Пепе:

— Гусь свинье не товарищ.

— Кто вы такой? — багровеет затянутый в кожу мужчина.

— По отношению к вам? Гусь.

— Вы еще пожалеете и горько раскаетесь, капитан...

Экипаж запускает двигатели, гулкая кабина наполняется грохотом... Взлетаем и летим шесть часов подряд. Пепе смотрит в иллюминатор и молчит. На него это непохоже.

Оглохшие и измочаленные, приземляемся на заводском аэродроме. Летчику-истребителю нет хуже испытания, чем полет

пассажиrom. Раздраженные сходим на зеленую травку, закуриваем...

Наш попутчик, не обращаясь ни к кому, просит:

— Помогите, ребята, вещички забрать.

— Не смей! — говорит Пепе. — Если кто дотронется, выгоно из эскадрильи...

Не знаю в точности, кем был тот пассажир, знаю, Пепе вызывали на Военный совет, требовали ответа. Потом Пепе рассказывал:

— Ну, я церемониться не стал и рубанул, как думал: если солдат, у которого сожгли дом, разорили семью, который настрадался, топая от Сталинграда до Берлина, хватает трофейное барахлишко, и понять и извинить могу, но когда такой...

Выручил Пепе Главный маршал:

— Молодец, капитан, с принципами...

А скорее выручила Петьку победа. На радостях дело замяли.

Валерий Васильевич приглашает всех, как он выражается, посмотреть гранд-кино. Я догадываюсь, что это неспроста.

Картина называется «Обгоняющий календарь», и смотреть ее предстоит в клубе какого-то научно-исследовательского института, на широкий экран фильм выйдет только месяца через три-четыре.

Еще в вестибюле просторного очень современного здания я начинаю встречать знакомых: Галю, Ирину и Алешу... Они говорят, что Валерий Васильевич уже здесь, только на минуточку отошел. Потом появляется Игорь с оравой приятелей. Чуть позже — Грачев.

— Петелин пригласил, — говорит Анатолий Михайлович. — И так уговаривал, будто он главную роль играет...

Мимо проходит стройная девушка в модных расклешенных брюках, в замшевой курточке-коротышке. Протягивая руку, говорит:

— Не узнали? Здравствуйте.

— Люся? — удивляюсь я.

— Удовольствие получите, но страху натерпите, приготовьтесь...

— Ты уже видела фильм?

— Конечно. Но такую картину можно десять раз смотреть...

Мы еще немного толкуем о пустяках, я интересуюсь, что делает Люся, и она с удовольствием объясняет:

— Закрепилась на студии. В штате. Любовь Орлова из меня не получилась, но я довольна. В костюмерном — работа не для каждого...

Мне не удастся выяснить подробности «работы не для каждого», к нам подлетают Таня и Вадим.

И тут же звонят звонки.

Фильм начинается сразу, без журнала. По черному экрану пробегают рубиновые, темно-зеленые, потом соломенно-желтые всполохи, и тревожная музыка тихо сочится в зал. Черт возьми, еще ничего не случилось, а ты уже в ожидании.

Экран словно разрывается, и по головокружительной горной дороге, залитой медово-ярким солнечным светом, на сумасшедшей скорости несется автомобиль-сигара. Красавица гоночная машина приближается к полуразрушенному мосту...

В зале раздается единый выдох-стон, и на глазах совершенно обалдевшей публики происходит чудо: в реве сверхмощного двигателя, в облаке мгновенно взметнувшейся из-под колес пыли автомобиль проскакивает мост по двум жиденьким бревнышкам...

И сразу остатки моста рушатся в глубокое мрачное ущелье.

Пересказать фильм «Обгоняющий календарь» заманчиво, но я не стану этого делать, ибо древняя мудрость гласит: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Скажу только: волею режиссера, а может быть и вопреки его замыслу, автомобиль-сигара вытеснил самых превосходных актеров. Машина как бы перестала быть машиной, она превратилась в динамичный, трагический и мажорный символ времени. Гоночная машина прыгала через препятствия, взлетала на почти вертикальную стену, вкатывалась на стремительно мчавшийся грузовик, проносилась под носом курьерского поезда. Вперед! Через все препятствия! Быстрее, и дальше! Машине не хватало только человеческого лица и человеческого голоса.

Полтора часа сладкого волнения подошли к концу.

Последний эпизод был снят столь же мастерски, как и первые кадры фильма. Громадный зеленый луг. Над лугом тихое небо в легкой облачной поволоке. Сумасшедшей силой цветения наполнен клевер — густой, высокий, в капельках росы, блистающей, словно алмазные брызги. В отдалении стадо пестрых коров, по лугу медленно передвигается чудо-машина: будто шагнет, остановится и снова шагнет... И так она приближается, приближается, пока не выходит из кадра в зал. И тогда идут титры. Одного за другим зрителю представляют всех участников и создателей фильма. Каждый снят без грима, в повседневном обличье, за занятием, никакого отношения к его роли не имеющем.

Автор, толстый лысый мужчина, схвачен у пивного киоска; режиссер почему-то мылся ледяной водой из проруби; красивая, избалованная вниманием героиня фильма прозаически поднимала петлю на чулке; каждое появление очередного участника картины сопровождалось одной-двумя шутливыми фразами. Кажется, впервые в жизни я видел — картина кончилась, а никто не поднялся с места, не хлопнуло ни одно сиденье.

Фильм завершился, и фильм продолжается... Наконец, появилась она — чудо-машина. Из-под оранжевого, изрядно поцара-

панного кузова торчали ноги. Приятный низкий голос произнес:

— Извините, их нам придется представить вместе...

Ноги стали выползать из-под машины. Сначала появился широкий мужской торс, потом могучие, обтянутые кожей плечи...

— Наша Ляля, так в группе называли умницу-машину, слушалась и подчинялась только заслуженному мастеру спорта Валерию Васильевичу Каричу.

И весь экран заняло его лицо — усталое, немолодое...

Загорелся свет в зале. Сколько-то времени было тихо, а потом обвалом грохнули аплодисменты.

И сразу без перерыва началось новое, немое кино.

Запалаканное и смеющееся лицо Гали...

Иронически поглядывающие на нее глаза Карича...

Победно осматривающийся по сторонам Игорь...

Ирина, обнявшая за плечи Алешу.

Глупо улыбающаяся Таня и нахмуренный Вадим.

Задумчивый Грачев в окружении своих ребятишек.

Мелькнувший у дверей, может показалось, Гоги Цхакая...

Сменяющиеся кадры живых лиц стали отодвигаться, и я услышал тихий прибой голосов, мерно бившийся в высоком нарядном зале. Народ расходился не спеша. И у всех были славы, одухотворенные лица.

— Ну как? — услышал я голос Игоря.

— Нет слов, — сказал я.

— У меня тоже нет слов, чтобы... чтобы... чтобы высказать, как я вас ненавижу! Зачем ты полез, Валерий?

— Так это же кино, Галочка! Все понарошку...

Медленно спускаясь со ступеньки на ступеньку, мы потянулись к выходу. За время, что шел фильм, в город пробрались гуманные сумерки.

Деревья, дома, троллейбусы утратили привычные очертания. Освещение еще не включили, и окружающий мир виделся в чуть размытом цвете. Только что наполнявшие зал люди струйками растекались по площади. Пять минут назад были вместе и растаяли, растворились...

Вот и все, как любят говорить докладчики — «по состоянию на сегодняшний день».

А жизнь, естественно, продолжается и хочется верить: Игорь найдет себя, свой путь, свое счастье; Галина Михайловна проживет долгую радостную жизнь с нестареющим Каричем; Ирина отважится сказать Алешке решительное «да»; Грачев поставит на ноги еще не одну сотню ребят; и вообще будет много-много хорошего, доброго, светлого.

*Москва — Чернигов — Сухуми — Москва,
1974—1978*

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Через годы, через расстояния...	7
В школе и дома	21
Человеку человек	34
Внимание — поворот!	46

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Нужен хороший мастер	63
Грачев и грачата	78
Дела текущие и еще милнция	94
Практическая педагогика	107

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Неприятности продолжаютя	121
Дороги, что нас роднят	135
Шаг за шагом	150
«Игорь+Людмила=?»	162

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Человек родился	175
Большие перемены	191
Экзамены окончены и... продолжаютя	203
Высоко — не низко, далеко — не близко...	214

ИБ № 1259

Анатолий Маркович Маркуша
ЩИТ ГЕРОЯ

Редактор **Г. Кострова**
Художник **В. Алесеев**
Художественный редактор **Н. Коробейников**
Технический редактор **Р. Сиголаева**
Корректор **Е. Самолетова**

Сдано в набор 26.06.79. Подписано в печать 12.12.79. А04808.
Формат 60×90¹/₁₆. Вумага типографская № 2. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 14. Учетно-
изд. л. 15,5. Тираж 50 000 экз. Цена 60 коп. Заказ 1141.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.